

**НОВЫЙ
Журнал**

144

**THE NEW
REVIEW**

THE
NEW REVIEW
Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 до 1975 редактор Роман Гуль

С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Г. Андреев, Л. Ржевский

Сороковой год издания

РЕДАКЦИЯ: РОМАН ГУЛЬ И Е. Л. МАГЕРОВСКИЙ
СЕКРЕТАРЬ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, SEPTEMBER 1981

Quarterly No 144

2700 Broadway, New York, N. Y. 10025

Subscription Price \$24 — for one year

Publisher New Review Inc

Second Class Mail postage paid

at New York, NY

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Р. Гуль</i> — Я унес Россию	5
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	47
<i>А. Величковский</i> — Дар победы	49
<i>А. Тулунова</i> — Стихи	55
<i>И. Одоевцева</i> — Стихи	56
<i>Ю. Кротков</i> — Игра в бильярд	58
<i>Л. Владимирова</i> — Стихи	67
<i>М. Крепс</i> — Анализ стихотворения Иннокентия Анненского "Моя тоска"	68

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Ю. Карцов</i> — Хроника распада	95
Записи В. М. Зензинова (Беседы с И. А. Буниным)	133

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

<i>В. Перелешин</i> — Анатолий Величковский	140
<i>Ю. Иваск</i> — Юрий Терапиано	142

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>А. Авторханов</i> — Последний съезд Брежнева	146
<i>А. Солженицын</i> — Иметь мужество видеть — Не опыт раздора, но опыт единства. — Конференции народов, порабощенных коммунизмом	174
<i>Б. Сегал</i> — Американский либерал и советский диссидент	200
<i>Н. Моравский</i> — "Вся власть Советам, а не партиям"	209
<i>Игумен Г. Эйкалович</i> — Ф. М. Достоевский (1821 - 1881)	232
<i>И. Яхот</i> — Из истории советской философии и физики	254
<i>В. Шапиль</i> — К вопросу возникновения экслибриса в России	268

БИБЛИОГРАФИЯ:

- I. Г.* - Jozef Mackewicz. Nie trzeba -ojno mowi. *Б. Бровцын* -
Анатолий Федосеев: "О новой России. Альтернатива" 282

Я УНЕС РОССИЮ

Т. П. "РОССИЯ ВО ФРАНЦИИ"

Въезд в Париж

В Германии у нас было мало вещей. Это тут, в Америке, сами собой появились 15 пиджаков, 15 штанов, множество рубаш, ботинок и никчемных (в сущности) разнообразных галстуков. В Германии у меня был один костюм (и в коле и в мяле и в добрые люди), две рубашки — одна на мне, другая — на смену, одни ботинки. Олечка была не богаче. Так что перед отъездом из Фридрихсталя во Францию укладываться было легко. Разумеется, — рукописи, книги, фотографии, письма. И тут у нас с Олечкой произошло "недоразумение". Я увидел, что она берет с собой мои письма к ней из концлагеря.

— Олечка, ты хочешь взять их?

— А ты думаешь, я их брошу? — спокойно, но твердо (я эту "тихую твердость" знал) ответила Олечка.

— Но это же безумие, это же ни к чему! Эти открытки со штампом концлагеря нас могут на границе подвести! Ведь вещи же наверняка будут осматривать. И если гитлеровцы наткнутся на концлагерные письма, может произойти черт знает что, нас могут задержать для выяснения. Неужели ты этого не понимаешь?

Увы. Уговоры и доводы напрасны. Я знал, что есть случаи, когда Олечку не "переубедишь".

— Не волнуйся, пожалуйста, — ответила она, — никто их у меня не найдет.

— Куда ж ты их спрячешь?

— Куда? Да я их и не спрячу. Я просто положу их в свою сумку.

Я шумел. Убеждал. Ни к чему. И пришлось покориться. Мои концлагерные открытки были связаны и положены в ручную сумку (в т. н. "ридикюль").

На германской границе наши вещи, конечно, осматривали, открывали чемоданы. Но Олечкина сумка так и осталась у нее в руке без осмотра. И концлагерные открытки поехали с Олечкой дальше — в Нишу.

Денег у нас никаких не было. Только — доехать. В Париже остановиться вдвоем было не на что. Да и одному мне — не на что. Поэтому Олечка ехала в Нишу к её тётё — Ольге Львовне Азаревич ("Бог дал — Бог и взял"). А я с двадцатью франками в кармане — в полную неизвестность — в Париж. Я, разумеется, понимал, что моё — *свободное!* — французское будущее будет очень трудным. Но ехал — на свободу! Единственный адрес, куда я мог ткнуться, был — Б. И. Николаевский. Всё должно было начаться с него.

И вот серый рассвет, мелкосеющий дождь, и пустоватый поезд несет меня к Парижу. Каруселью отбегают сиреневые домики, плещущие розами палисадники, как картонные вертятся сероствольные платаны, кудрявые девушки в пестрых платьях пролетают мимо, их застлали рекламные щиты коньяков, пудры, прованского масла. Неясным беспокойством ощущается близость Парижа.

Прикусив опухшую усиками верхнюю губу, черноглазая француженка пудрит плохо вымытое в вагонной уборной лицо, сурьмит выщипанные кукольные брови и толстым карандашом делает свой бледный рот похожим на красный рот слепого котенка. Париж уже близок. В это туманное утро, заволоченное дождливой мглой, кто-то встретит ее на вокзале и под локоть подсадит в дешевый автомобиль. Француз с подвитыми усами и молодо блещущими беззрачковыми глазами, в веселеньком галстуке, что-то напевает, укладывая чемодан. Он улыбается тоже, вероятно, парижской встрече. Даже лукавый, седорозовый аббат в ожидании Парижа закрыл молитвенник и сунул его в глубокий карман вороной сутаны.

Париж ждет их всех. А ведь всего несколько часов назад я не

видел ни этих беспечных глаз, ни беззаботных движений, ни беспричинно выходящих на губы улыбок. Ведь всего этого я не видел уже лет двадцать; с того самого дня, как из родного дома ушел на войну. А после войны — из окопов — возвращаться было почти некуда. А там — две гражданских войны и невольный вывоз в побежденную Германию. Но и в Германии я ничего подобного не видел.

Я совсем забыл даже, что где-то существует еще вот такая беспечная жизнь, с множеством дешевеньких колец на пальцах, с лакированными женскими ногтями, веселенькими галстуками, с затопляющей рекламной пестротой алкоголей. От этого отдохновенного, легковейного воздуха я отвык. А тут и от лукавого аббата и от темноглазой девушки, и от напевающего старичка, и от дамы с расфранченными куклятами-детьми, от всех французов, от всей Франции веет наслаждением жизнью (*joie de vivre*).

Вспотевший паровоз, отплевываясь белым паром, пробегает по мостам, насыпям, откосам, с приятным разговором перепрыгивает с рельс на рельсы и наконец, шипя, всплывает под стеклянный дымный колпак парижского вокзала.

Я себе так и представлял Париж. С низко опустившегося неба, как с потрепанной декорации, несет липкая сквозная мгла; тускло блестит грязнота асфальта. В этой сырости, кажется, не может быть солнца. Перед вокзалом я останавливаю, по воде с брызгами шуршащий, красножелтый, попугайный автомобиль и в этой мокрети, в общем потоке машин, я уже двигаюсь по улицам, "входя в жизнь Парижа". На него я гляжу с приготовленной русской любовью. Но, Боже мой, как заброшены эти седые улочки, как грязны тупички, как нечистоплотен, салеен великий город, какими дряхлыми проулками везет меня неизвестный француз, зарабатывающий на жизнь искусством шофера. На тротуарах из железных коробок вывален вонючий мусор, в стоках мостовой, как живые, распластались грязные тряпки, волнующие водой; какая-то ребрастая, подыхающая сука обнюхивает выставленные у молочной бидоны, и из-под открытых общественных уборных по мостовой текут ручьи. О, Париж! Вот он, дряхлый чаровник мира! Как же ты грязен, старичек, пока тебя еще не побрили и не сделали утреннего туалета.

Но вот вместе с потоком машин мы влетаем в широкую светлость улиц и Париж словно поворачивается другим боком. Это — Лувр, Тюильери, "батюшка Палэ-Руаяль", места "великих" французских волнений, священных безумий, убийств и смертей. Вот когда-то глотавшая головы гильотиной Площадь Согласия, как она хороша в это синее утро и как тиха через полтора года лет! От нее потянувшиеся утренние Елисейские Поля дышат прелестью французской деревни, на их каштанах поют птицы и за ночь взмокшую гладь мостовой, позевывая, подметают какие-то старички в смешных картузиках.

Резко мелькнула зеленоватая, мутнолистая Сена с белыми горбами ее мостов. И вдруг блеском ослепляет перспектива Площади Инвалидов, а за ней зеленые деревья и кусты Марсова Поля с поднявшейся воздушным кружевом состарившейся знаменитостью, старушкой Эйфелевой. И опять кварталы открытых базаров, шумливых лавченков, подозрительных кабачков, это опять тот же Париж, повернувшийся ко мне уж не знаю каким боком.

Наконец я приезжаю на улицу, где в ошеломительном Париже поселился Борис Иванович. Расплатившись с шофером новыми для меня монетами с изображением Марианны, поднимаюсь по лестнице. Знаю, что живет он у русских. Вот, думаю, сейчас мы с Б. И. и обговорим, куда же мне определиться в столице Франции.

На мой звонок дверь отворяет русская хозяйка квартиры и неприветливо-безразлично говорит, что Бориса Ивановича нет, он болен — в госпитале. Это был подлинный душ Шарко большой силы. Я даже не спросил неприветливую даму, чем Б. И. болен и надолго ли в госпитале? С чемоданом в руке я вышел на улицу. Что же мне делать? В портмоне чуть побольше десяти франков. Я был, как говорят, "на границе отчаяния". Но отчаиваться никому не советую, это худший "выход из положения". Я стоял на улице. Первое, что пришло мне в голову: может быть позвонить Владимиру Пименовичу Крымову — они переехали из Целлендорфа — в Шату, под Парижем. Я знал, что нацисты довольно нелюбезно налетели к Крымову ночью с обыском, вломились в виллу, все обыскали, искали что-то даже в саду какими-то приборами. Встретив его тогда, после обыска, я спро-

сил, что же они у вас в саду-то искали? В. П. улыбаясь, говорит: "Не знаю, наверное, 'царские бриллианты' ". После такого налета-обыска оставаться Крымовым в Третьем Рейхе было не совсем подходяще. И они перекочевали в Париж, где В. П. тут же купил виллу в Шату, на берегу Сены, совсем под Парижем.

На мой звонок трубку берет Владимир Пименович. Я говорю, — Владимир Пименович, так и так, я приехал в Париж... Хотел рассказать, что Б. И. болен и мне некуда деться, но В. П. сразу же удивленно перебивает: — "Вы в Париже?! Прямо из концлагеря?! Чудесно! Приезжайте сейчас же к нам. У меня к завтраку будут интересные люди — Александр Иванович Гучков и Казембек, нам всем будет интересно вас послушать — о Германии, о концлагере..."

Я забыл, это было как раз воскресенье, а по воскресеньям у В. П. всегда завтракают "интересные люди". В. П. объяснил, как доехать поездом с Гар Сан-Лазар (кажется). Я его спросил, сколько стоит дорога? Он сказал. Вижу, на проезд хватит. — Хорошо, еду! — говорю. И тут же решил, что попрошу у В. П. разрешения на первое время у них остановиться, пока Б. И. выйдет из больницы.

Приехал в Шату, разыскал жилище Крымовых (3, авеню д'Эпремениль). Вилла чудесная. На самом берегу Сены, к реке спускается сад. В саду — розы, всякие цветы. Крымовы встретили меня радушно. Я рассказал им, что Б. И. болен и я попал в бездомное положение, и попросил разрешения на несколько дней остановиться у Крымовых. И Б. В. и В. П. сказали: — "Конечно, конечно, мы вас устроим в садовом домике". Крошечный садовый домик был мне очень кстати: один, никого не стесню. Домиков таких было два — у высокой стены — по углам сада. Вот я и расположился в одном из них. Умылся, привел себя, как мог, в порядок. С дороги, конечно, устал и хотелось мне, по правде сказать, только спать, но я понимал, что за завтраком для В. П. буду неким "аттракционом": ведь я сейчас наверняка единственный человек в Европе, побывавший в гитлеровском кацете и, разумеется, меня будут расспрашивать о концлагере, о Германии. Мне есть, что рассказать. К завтраку я был готов "быть аттракционом".

Встреча с Казембеком мне была безразлична. Но встре-

титься с А. И. Гучковым — имя которого знала вся Россия — и по Государственной Думе и по Временному Правительству — я, разумеется, хотел. И не потому, что А. И. Гучков — всероссийская знаменитость. А потому, что это был политический деятель и человек, которому я сочувствовал. Меня притягивало, что Гучков был человек воли, действия, сторонник сильной власти и в то же время *народный* человек в хорошем понимании народности. Это председатель Третьей Государственной Думы А. И. Гучков, губя себя в мнении о нем царя и царицы, мужественно боролся с тупой, бескультурной дворцовой камарильей, неосмысленно толкавшей Россию к неминуемой гибели. Это Александр Иванович с Думской трибуны осмелился назвать Распутина "проходимцем, хлыстом, эротоманом, шарлатаном" и высказать негодование, что газетам в Петербурге и Москве запрещено что бы то ни было писать о Распутине. После этой его речи царица сказала: "Гучкова мало повесить!" Но, увы, монархисту Гучкову (и Шульгину) было суждено привезти государю проект отречения. И всей России суждено было рухнуть. Я очень хотел встретиться с эмигрантом А. И. Гучковым.

Завтрак с А. И. Гучковым

В. П. Крымов был человек не обычный. Умный, сухой, к людям совершенно безразличный, без всяких сантиментов, только деловой, а целью "дел" были — деньги. Он рассказывал сам, как добивался в жизни богатства. И — добился. Впервые я встретил его в Берлине, в 1920 году, в редакции журнала "Жизнь". Разумеется, направление "Жизни" его никак не интересовало. Но, как старый журналист ("Новое Время", "Столица и Усадьба"), он приехал познакомиться в редакцию единственного русского журнала в Берлине. Тогда В. П. только-только вернулся из кругосветного путешествия. Почему он попал — в кругосветное? Да потому, что в феврале 1917 года *во всей России* Крымов оказался единственным провидцем. Правда, по его рассказу, был еще кто-то второй (но, к сожалению, я забыл фамилию).

Провидчество В. П. Крымова состояло в том, что *в первый же день февральской революции*, когда во всей России царил

всенародное ликование ("Пойдем на весенние улицы! Пойдем в золотую метель!", писала Зинаида Гиппиус; Конст. Бальмонт вприсест создал гимн Свободной России, а Александр Тихонович Гречанинов положил его на музыку; даже идеолог русской контрреволюции в Зарубежье, Петр Струве в феврале был среди "приявших"), а Владимир Пименович (как он рассказывал) понял сразу, что *"всему конец!"* и *"все обрушится!"* И тут же сделал практические выводы: весь свой капитал быстро перевел в Швецию, а сам (с женой) выехал из России. Так как покинуть Россию можно было лишь в восточном направлении, В. П. в 1-м классе сибирского экспресса пересек всю Сибирь и через Японию, не торопясь, отправился в кругосветное путешествие. Где он только ни побывал, каких только стран ни повидал в то время, как в России всё "углублялась" и "углублялась" революция. В книге "Барбадосы и Каракасы" В. П. рассказал о своем кругосветном путешествии. Он останавливался на многих экзотических островах, объехал всю Центральную Америку, пересек Атлантический океан, приплыл в Марокко в Казабланку и, наконец, в 1920 году прибыл в Европу. Приехал в Берлин. Война была давно кончена, в России шел ленинский развал.

В Германию В. П. въехал богатым, ни от кого независимым человеком. Будучи дальновидным и ловким дельцом, В. П. и здесь приумножил свой капитал. В Берлине он мне как-то рассказывал о "человеческой глупости". — "Многие, казалось бы, деловые люди, — говорил он, — боятся советских векселей, им всё кажется, что это "не настоящее", я же понимал, что советское правительство никогда не допустит опротестования ни одного своего самого ничтожного векселя. И стал скупать советские векселя". Этой скупкой В. П. приумножил свой капитал. В 1921 году он, было, купил у А. Гольдберга эмигрантскую газету "Голос России", но, вероятно, поняв, что это не "дело", вскоре с ней развязался. А потом — уж не знаю как — В. П. стал директором какого-то полусоветского общества "Промо", по закупке мелких предметов, не требующих лицензии Торгпредства. С приходом же Гитлера к власти (после ночного обыска гестаповцами его виллы) В. П. покинул Германию, поселившись под Парижем.

За всё это время "скрипкой Энгра" большого дельца В. П. Крымова была журналистика и литература. Свое писательство он очень любил. И как-то говорил, что "литература — это яд, и кто его попробовал, никогда не в состоянии бросить". За рубежом В. П. издал много книг: "Монте Карло", "Барбадосы и Каракасы", "В царстве дураков", "Богомолы в коробочке", "Бог и деньги", "Сидорово ученье", "Миллион", "Похождения графа Азара", "Фенька", "Детство Аристархова", "Хорошо жили в Петербурге", "Город Сфинкс". В. П. происходил из старообрядцев Прибалтики. Всего, я думаю, В. П. издал больше двадцати книг. И некоторые у читателей имели успех.

Помню, как однажды в Целлендорфе меня и Бориса Ивановича В. П. поставил в тупик. За обедом я сказал В. П. о том, какие разношерстные люди разделяют за его столом трапезу: и монархисты — С. А. Соколов-Кречетов, Ф. К. фон Шлиппе, сен. Бельгард, и меньшевики — Б. И. Николаевский, Ю. П. Денике, и А. Н. Толстой и К. Федин и мн. другие. — "Да, я люблю разных людей, — ответил В. П., — у меня даже товарищ Мефодий обедал". — "А кто это товарищ Мефодий?" — "А, Роман Борисович, много будете знать, скоро состаритесь".

Я, конечно, позабыл об этом "товарище Мефодии", но Борис Иванович был великий следопыт, и через несколько дней звонит мне по телефону. — "А знаете, Р. Б., ведь я установил, кто 'товарищ Мефодий' ". — "Кто же?" — "Товарищ Мефодий, это Дмитрий Захарович Мануильский". — Я обомлел. — "Как, говорю, этот коминтернщик?" — "Не только коминтернщик, но и секретарь ИККИ", говорит Б. И. — "Ну, слушайте, Б. И., это же невозможно. Что ж вы думаете, что Мануильский мог обедать у Крымова?" — "Я ничего не думаю, я только знаю, что 'товарищ Мефодий' — одна из партийных кличек Мануильского. Вот и всё". — "Ну, знаете, я в следующий раз обязательно спрошу Крымова". — "Спросите...", засмеялся Б. И. И вот, когда мы опять сидели на той же веранде, я как бы невзначай говорю: — "В. П., а ведь я узнал, кто такой товарищ Мефодий". — И вдруг В. П. уставился на меня с выражением полного недоумения и непонимания. — "Какой такой товарищ Мефодий?" — "Да вы же нам в прошлый раз говорили, что у вас обедал товарищ Мефодий". — "Я? Говорил? Да что вы, Р. Б., вы на

меня, как на мертвого! Никогда в жизни я вам не говорил ни про какого товарища Мефодия и такого не знаю. Вот Кирилла и Мефодия знаю, но, к сожалению, они у меня не обедали". — Я понял, что тему эту надо оставить. И оставил. Так и остался для меня загадкой "товарищ Мефодий".

Часов в одиннадцать из своего садового домика я пошел по дорожке в виллу. Пока Берта Владимировна хлопотала с завтраком, Владимир Пименович показал мне оба этажа. Очень хорошие были комнаты, выходявшие окнами в сад — окна широкие, высокие — сквозь них — сад, видна и река, на реке какие-то баркасы, баржи. Тишина. Своей виллой В. П. был явно доволен.

— А знаете, кому она раньше принадлежала? Мата Хари!

— Этой знаменитой шпионке, расстрелянной французами?

— Ну да. А потом — Максу Линдеру, Сесиль Сорель...

Но мне показалось, что знаменитые актеры-владельцы — не так "импонировали" В. П., как трагически кончившая жизнь авантюристка. Полагаю, что и у Мата Хари, и у Макса Линдера эта вилла была соответственно обставлена. Не то было у В. П. Конечно, диваны, кресла, стулья, столы, лампы — всё как надо, на месте, но всё это — с бору с сосенки — никакой приятной глазу, стильной и красивой мебели не было. Думаю, на это В. П. скупился. Так у него было и в Целлендорфе.

Первым из гостей пришел Александр Львович Казембек, "глава" партии младороссов. Когда он выступал с публичными докладами, десятка два младороссов выстраивались на эстраде шеренгой и при его появлении, подняв правую руку римским приветствием, скандировали: — "Глава! Глава! Глава!". По-моему, это было не очень умно. Но Казембеку должно быть нравилось. До его прихода В. П. спросил: — "Вы ничего не имеете против встречи с Казембеком?" — "Нет, говорю, решительно ничего. Я жаден до людей. Это только интересно".

Казембек был среднего роста, хорошего сложения, приятного облика, в лице — что-то отдаленно-восточное. Поздоровавшись, я спросил его, не родственник ли он пензенским Казембекам (со мной учились в гимназии два брата Казембека, сыновья прокурора). А. Л. сказал, что это его двоюродные братья, а сам он — казанский. Разговор пошел о том, о сем.

“Глава” был человек хорошо воспитанный, явно неглупый, несмотря на все эти нелепые младоросские лозунги — “царь и советы!”. Но, разумеется, ни о “царе”, ни о “советах” мы тут не говорили.

Позже пришел Александр Иванович Гучков. Я на него глядел во все глаза. Пожилой, невысокий, с коротко подстриженной седоватой бородой, в очках, очень скромно одетый, чуть прихрамывал (от английской пули в бурскую войну), голос негромкий, приятного тембра. И это — не гипноз имени. Когда А. И. за столом заговорил, почувствовалось: и умен, и бывалый, большой человек.

Гучков сразу обратился ко мне с вопросами о Германии, о настроении немцев, об отношении их к Гитлеру, о концлагере. Расспрашивал с живым интересом. В сущности, он один и расспрашивал так настойчиво: Германия Гитлера видимо его интересовала. Крымов и Казембек задавали мелкие вопросы. Я рассказывал много, подробно. Александр Иванович, подтверждая кивая головой, сказал: — “Да, да, у меня те же сведения, полученные по частным каналам”. Я видел, мои рассказы Гучкову *нужны*. После завтрака он спросил: — “Вы, Р. Б., остаетесь в Париже? Я хотел бы, чтоб вы как-нибудь зашли ко мне. Вот мой телефон и адрес”, — и дал адрес и телефон. Я поблагодарил, сказал, что непременно приду.

Тут политические разговоры кончились, ибо шумно и буйно вошел, приехавший Николай Николаевич Евреинов со своей эффектной женой Анной Александровной. “Все кто знал Евреинова согласятся со мной, что для него самый подходящий эпитет — блистательный. Приходя в гости, он охотно брал на себя роль развлекателя. Для этой роли он был вооружен превосходно: фокусы, куплеты, каламбуры, анекдоты так и сыпались из него без конца. Он всегда чувствовал себя на эстраде... Без игры он не мог прожить ни одного дня”, — так — совершенно правильно — характеризует Евреинова в своей “Чукокола” Корней Чуковский. И тут, с места в карьер Николай Николаевич поднес Крымову свою новую книгу с дарственной надписью, прочтя которую Крымов засмеялся, и огласил гостям: — “Я хотел бы быть Владимиром Крымовым, если бы я не был Николаем Евреиновым”.

Знакомя меня с Евреиновым, Крымов, разумеется, не преминул сказать, что я "только что из гитлеровского концлагеря", но для Н. Н. политика, видимо, была мало интересна. В ответ он театрально пустил какой-то каламбур. И всё. По правде сказать, после дороги и "въезда в Париж" я хотел только спать в садовом домике. А тут надо сидеть и "поддерживать разговор".

Первым поднялся уходить А. И. Гучков. Прощаясь, он повторил, чтоб я обязательно позвонил и пришел поговорить. После его ухода, улучив удобную минуту, когда Н. Н. Евреинов рассказывал что-то "блистательное", я шепнул Берте Владимировне, что хочу уйти, и незаметно ("по-английски") вышел в садовый домик и заснул там как мертвый.

В Шату

За утренним завтраком В. П. меня поразил, неожиданно спросив: — "У вас, Р. Б., денег ведь нет? А вам нужны на поездки в Париж. Вот я вам даю 30 франков", — и протянул мне деньги. Зная скупость В. П., я удивился, поблагодарил, говорю: — "Большое спасибо. При первой возможности я вам отдам..." — "Нет, нет, — встрепенулся В. П., — пожалуйста не отдавайте!" Я удивился еще больше. — "Как, не отдавать? Почему?" — "Да потому, что если вы отдадите, то можете потом попросить ббльшую сумму, а мне будет трудно и неловко вам отказать, лучше так... не отдавайте...". Самостраховка была оригинальна, но напрасна: не такие у меня были отношения с В. П., чтоб я мог попросить у него денег. Но 30 франков были кстати.

В Шату В. П. рассказывал мне много интересного. Так он рассказал, кто у него бывает. В. П. особенно любил сводить "полярных" людей. У него, например, завтракали вел. кн. Андрей Владимирович и известный лидер эс-эров Николай Дмитриевич Авксентьев. За этими завтраками они очень сошлись. — "Если б мы раньше знали вас, если бы знали, ведь тогда бы ничего рокового и не произошло", говорил великий князь Авксентьеву, — "но ведь мы вас не знали..." Андрей Владимирович был прав: горе было в том, что придворная знать *не знала* толком ни интеллигенцию, ни народ, а жила псовыми охотами, кафешантанами, приемами, карьерами, балами в своем

замкнутом кругу "великосветья".

Авксентьев был прекрасный рассказчик, — говорил В. П. За завтраком он как-то рассказал эпизод из времен, когда он был министром внутренних дел Временного Правительства. Однажды заседание было назначено в нижнем этаже Зимнего дворца. Авксентьев пришел первым, и как только раздавался звонок, спешил открыть пришедшему дверь. Отворил раз, отворил два, а на третий старик дворецкий, прослуживший всю жизнь в Зимнем дворце, сердито отстранил его, наставительно сказав: — "Не на то вы сюда посажены, чтобы двери отворять..." Больше Авксентьев, конечно, на звонки уж не вскакивал.

Бывали в Шату Бунин, Ходасевич, Цветаева, многие писатели. О Цветаевой Крымов сказал: — "Ну, теперь Марина Ивановна совсем ведь другое пишет! Вы читали ее "Хвала богатым"?"

"И засим, с колокольной крыши
Объявляю, люблю богатых!"

Я читал "Хвалу" и теперь понял, что М. И. наверное читала ее в Шату, у Крымова. Но "совсем другого" в "Хвале" не было, ибо "богатым" там поэтически наговорено довольно много не комплиментарного. И написана "Хвала" в двадцатых годах.

О Ходасевиче В. П. рассказал хороший эпизод. Я знал, что В. П. всегда хотелось (очень хотелось) войти в "настоящую литературу". В Париже таковой были "Современные Записки". Но туда его не пускали, и как "нововременца", и как не писателя *par excellence*, а — дельца. Как-то сам В. П. говорил мне, что его приятель Аркадий Руманов (в свое время представитель "Русского Слова" в Петербурге), которого Зинаида Гиппиус прозвала "тротуарная орхидея", сказал старому знакомцу Крымову: — "Нет, В. П., нас с вами туда (в "Сов. Зап.") никогда не пустят, мы ведь *меченые*", — и В. П., рассказывая это, улыбался. Но все же он как-то попросил Ходасевича написать в "Современных Записках" отзыв о его книге "Сидорово ученье". Вскоре кто-то В. П. передал, будто Ходасевич говорил: — "За три тысячи франков — напишу". В. П. решил поймать на этом Ходасевича. И встретив его на русском литературном балу, здороваясь, сказал: — "Владислав Фелицианович, мне передали, что за рецензию обо мне вы хотите три тысячи франков?" На что Ходасевич спо-

койно ответил: — "Вам сказали неправду. Я хочу пять". Крымов весьма оценил это остроумие Ходасевича и, рассказывая, смеялся. Рецензии в "Совр. Зап." так и не было.

О Бунине В. П. рассказал, что этого высокого гостя он угощал в Шату каким-то дорогим шампанским. В ведерке на стол подали две бутылки. Одну выпили, а другую Бунин сказал, что возьмет с собой, домой. И увез. Это было до Нобелевской премии, И. А. был тогда бедноват.

Как-то в эти дни в Шату В. П. спросил меня: — "А как же вся ваша семья, останется в Германии?" — "Нет, — сказал я, — я сделаю всё, чтобы их вытащить сюда". — "Сюда? — удивленно произнес В. П. — Роман Борисович, бросьте говорить детские вещи. Вот приехали вы один (даже жену не могли привезти с собой) и очутились, в сущности, на улице (это "на улице" богатый В. П. подчеркнул, что мне не понравилось). А семья в четыре человека?! Да вы знаете, что *богачи* (В. П. опять это подчеркнул) не могут сейчас достать визы из Германии..." — "И тем не менее, — сказал я, — я сделаю все, чтобы семью вытащить во Францию". Я видел, что моя бедняцкая категоричность раздражает богатого В. П. — "Ну, если вы, в вашем положении, достанете визы, тогда вам надо поставить памятник на Пляс де ля Конкорд!" (буквальные слова Крымова, Р. Г.), — с усмешкой сказал Крымов.

Через два года, когда с отчаянным напряжением я эти визы достал и вытащил всю семью во Францию, я был у Крымова и напомнил ему о памятнике. "Побежденный" В. П. признал, что я "совершил чудо". Это и было, если хотите, чудо, потому, что я встретил прекрасного, добрейшего, замечательного человека, французского адвоката, мэтра Александра Тимофеевича Руденко, который чудодейственно (без копейки денег, конечно!), после моих тщетных двухлетних мытарств-хлопот *в один день* достал мне визы. Но об этом — рассказ особый.

Я был благодарен (и до сих пор благодарен) Б. В. и В. П. Крымовым, что при "въезде в Париж" они дали мне пристанище в садовом домике.* Но характер мой оставался моим характе-

*Я рад, что судьба дала мне возможность отплатить Б. В. и В. П. Крымовым за "садовый домик". Во время войны, когда начался чудовищный "исход"

ром. И когда однажды за утренним завтраком *мне показалось*, что В. П. как-то "элегантно", но все же хочет ткнуть меня мордой в мою бедность и в его богатство (а это было в его характере), я мгновенно решил покинуть Шату. В тот же день я сказал Б. В. и В. П., что переезжаю в Париж. Они удивились, удерживали, но я твердо решил уехать. И уехал в бедняцкий отель, в комнату незнакомого (рекомендованного мне письмом Олечки) шофера Жоржа Леонтьева.

"Золотая лилия"

Отель, где жил Жорж Леонтьев, жестоко-иронически назывался "Золотая лилия". Улица, где цвела эта "лилия" — как кишка узкая, вонючая, грязная арабская толкучка: здесь жили уличные торговцы-арабы (алжирцы) и русские эмигранты-шоферы.

Когда я вошел в "Золотую лилию" меня охватило зловоние уборных, небруанных постелей, лука, чеснока. По узкой, как штопор, винтовой лестнице я вштопорился на второй этаж, постучал, услышал: "Войдите!" И вошел в грязноватую комнату с окном в веселеньких занавесочках, с двумя постелями и зеркалом между ними. Это, конечно, не Шату и никакая Мата Хари в таких "лилиях" не цвела. Но ничего. Это — вторая станция моей парижской бездомности.

Жорж Леонтьев оказался добрым малым, сильно заливавшим "пинаром" (красным вином) свою шоферскую жизнь. Он принял меня "с распростертыми объятиями", сказал, — очень рад познакомиться, читал мои книги и гостеприимно предложил "чувствовать себя, как дома": его целый день нет и пустая постель и комната в моем распоряжении.

из Парижа, я жил на юге Франции, в Гаскони с семьей на ферме. Чтобы выехать из Парижа во время "исхода" властями требовалось "приглашение-вызов" из свободной зоны Франции. И Крымов прислал мне просьбу возможно скорее выслать им "приглашение-вызов". Я поехал в Нерак (городок Генриха IV-го), около которого мы жили, полиция удостоверила мое "приглашение-вызов" и я его выслал Крымовым. "Приглашением" моим они не воспользовались — перешли: остались под немцами. Но после войны, когда я был у них в Шату, В. П. меня поблагодарил, сказав: — "Это был настоящий дружеский жест".

Утром Жорж ушел в гараж за своей машиной. А я пошел по Парижу. С утра Париж одет в голубоватую дымку. Я иду в подвижной парижской толпе, стучащей миллионами женских высоких каблуков, мелькающей женскими икрами в шелковых чулках. Париж отовсюду кричит ртом уличных торговцев; мясники в белоснежных, но чуть-чуть закровавленных передниках зазывают за мясом, арабы предлагают орешки, хрипят лотошники, продавая фрукты, овощи, запыленные конфеты, небритые газетчики выкликают клички газет, а у туннеля подземной дороги уличный певец с лицом бандита поет под гармонью песенку о любви, о Париже; и тут же неподалеку на улице стоят три козы, пастух и овчарка; слушая песню, пастух всё же не забывает предлагать прохожим козий сыр и козье молоко.

Мимо книжных лавок букинистов, где приколоты раскрашенные портреты каких-то генералов, великих людей, куртизанок, я выхожу к закопченным скалам Notre Dame. По зеленоватой Сене медленно плывут груженные диким камнем баржи, какие-то белые парходики, баркасы и на оковавших реку гранитах полудреmlют парижские лентяи-рыболовы, закинувшие удочки в муть Сены.

В голубой дымке под золотым солнцем, потоком, как будто беспечной и веселой, но страшной и напряженной жизни течет беспощадный Париж. Он дробится во мне картиной кубиста. Я не привык к этой греческой свободе уличной жизни. И в шуме чужого языка, на чужих улицах, среди чужих жестов, в движении чужой стихии, тяжело быть инородным и совершенно свободным. Я это ощущаю, стоя у фонтана на площади Saint-Michel. Я гляжу на весь этот движущийся вокруг меня Париж и думаю: "да, какая это тягость, жить без своего неба, своего дома, своего крыльца". Это, конечно, слабая минута, это пройдет. Но сейчас никто не знает, как вблизи желто-черноватых стен Notre Dame, я в первый раз за всю свою бездомную жизнь завидую и этому неспешному старичку-французу в какой-то старомодной разлетайке, с седой бородкой Наполеона III-го, и седокам сгрудившихся у моста разноцветных автомобилей и пассажирам трясущихся зеленых автобусов, всем им, французам, только потому, что они у себя дома и у них дома, в Париже, очень хорошо.

Я иду к Люксембургскому саду. Все французы кажутся мне неживыми, ускользающими, движущимися сквозь затуманенный бинокль. Они весело обедают на открытых верандах ресторанов и кабачков, они смеются; едят со вкусом устрицы, сыр, виноград, пьют вино. Я давно отвык и от этого обилия яств и от этого пиршественного веселья, для которого, вероятно, нужнее всего душевное спокойствие. О, у них его, до зависти, сколько угодно! Правда, мне чудится и иное, но это за мной, вероятно, идет тревожная тень Германии: а не опасно ли так уж ублажаться устрицами, вином, мясом, салатами и время ли так уж подолгу сидеть на этих чудесных, располагающих к лени и разговорам верандах кофеен? Ведь рядом, в Германии, встали беспощадные мифы XX-го века, там сейчас презирают и отдохновение, и свободу, и праздность, и изнеживающее обилие яств. Там едят грубо, работают без роздыха, создавая выносливых новых людей, которые будут безжалостны, если им придется разрушить с воздуха этот хрупкий Париж и всю эту наслаждающуюся Францию, немогущую оторваться от хорошо приснившегося сна.

Вот он, Люксембургский сад, памятник Верлэну, памятник Бодлэру. На фоне зелени застыли в движении темные бегущие скульптуры. Над цветами, бассейнами, газонами, детьми играющими в мяч, и буржуа, стучащими молотками довоенной игры крокет, над всем чудесным садом, где в вакхической бесплановости разметаны желтые железные стулья, на которые многие положили ноги и, греясь на солнце, полудремлют, над всем изяществом этого нежного Люксембурга летит размягчающая душу и волю песенка гармониста о том, что мимо него проплыла любовь на речной шаланде и он тоскует об этой уплывшей любви. Конечно, может быть, вывезенное из Германии мое чувство тревоги и ложно; вероятно, я ничего не понимаю в этой светло-люющей латинской стихии. Может быть, в последнюю минуту, в смертельном страхе за свой очаг, хромоногий гармонист, забыв уплывшую любовь, и бросится храбрым солдатом к границам Франции. Я, беглец из двух тоталитарных стран, просто гуляю в Люксембургском саду и думаю. Я думаю даже о том, что бездомность иногда становится достоинством, давая и опыт, и облегченность пути, в котором ничего уж

не остается для потерь. Так я хожу среди французов в музыкальном сумбуре Люксембургского сада, как в пустыне. Но начинается смеркаться, сторожа звонят, сад запирают и надо уходить. И я ухожу в "Золотую лилию".

Я был благодарен Жоржу Леонтьеву не только "за приют", но и за то, что он открыл мне мир русского шоферского Парижа. Когда поздно вечером мы шли обедать, моим Вергилием был Жорж. Вокруг Ля Мотт Пикэ в дешевых русских ресторанах и в грязноватых "бистро" сходилась русско-шоферская братия. Тут больше пили, чем ели. Пили много потому, что "занесло тебя снегом, Россия..." И эту трагедию "заливали пинаром". Конечно, не все русские шоферы пили вмертвую. Многие жили семейной жизнью. Многие выбились из шоферства, войдя во французскую жизнь, многие скопили деньги, купили свои машины. Из шоферов, например, вышел талантливый писатель Георгий Газданов, автор — "Вечер у Клэр", "Ночные дороги" и др. Многие, как следует, встали на ноги. Но Жорж-то показал мне тот русско-шоферский мир, который пия, шел ко дну, не хотя никуда "выбиваться". "Хорошо, что никого/ Хорошо, что ничего / Так черно и так мертво/ Что мертвее быть не может/ И чернее не бывает/ Что никто нам не поможет/ И не надо помогать". Эти строки Георгия Иванова как списаны с Жоржа и его собутыльников.

Жорж был из хорошей, военной семьи. Отец — кадровый офицер, близкий родственник генерала Ставки Ю. Данилова. По молодости лет в гражданскую войну Жорж попал с гимназической скамьи — вольнопером. А в Париже перед собой ничего кроме шоферства не видел. Собутыльниками Жоржа были и кадровые офицеры, и военного времени, все, кто, потеряв родную почву, не могли и не хотели "в этой растреклятой Франции" куда-то "выбиваться". Вот и "пили". Колоритной фигурой в этом мире пьяного паденья был ротмистр Бухарин. Жорж мне его показал. Ротмистр Бухарин — кадровый офицер из очень хорошей семьи, заслуженный боевой кавалерист, как говорили — незаменимый товарищ и безупречный джентльмен. Но, как парижский шофер, он пил и пил ("И никто нам не поможет, и не надо помогать!"). Жорж говорил, что Бухарин дошел уже до невменяемого состояния. В этих ресторанчиках он мог сказать только одну фразу и

неизменно ее произносил: — "Господину офицеру стакан красного вина!" Этот стакан ему подавали. И больше ротмистру Бухарину — не требовалось. Он был в таком градусе алкоголизма, что от одного стакана, поданного "господину офицеру", пьянел. И кто-нибудь из друзей помогал ротмистру выйти на ночную парижскую улицу, чтоб добраться домой. Говорили, что умер ротмистр Бухарин страшно.

Жизнь из "слагаемых"

Не без труда, но из "Золотой лилии" я вырвался. И вскоре Олечка на драндулете (грузовичок времен царя Гороха) приехала из Нишцы. Мы вселились в пустовавшую меблированную квартиру (в одну комнату), ее подруги еще по России, К. В. Леонтьевой (двоюродной сестры Жоржа) на рю Олье, в 15-м аррондисмане, оккупированном русскими эмигрантами. Переход из берлоги к нормальной (хотя бы по виду) жизни построился из многих слагаемых.

Б. И. Николаевский поправился. Мы встречались. Он меня слегка поддержал. Из "Союза русских писателей и журналистов" я получил некую допомогу. Вместе с Б. И. бывали у Алексея Грановского в роскошной квартире на Авеню Анри Мартэн. В сущности, у Грановского было две роскошных, ибо из своей роскошной он приказал пробить стену в соседнюю роскошную квартиру очень богатой женщины, г-жи Гудман, ставшей его женой.

Алексей Михайлович Грановский, бывший режиссер советского Государственного Еврейского Театра (ГОСЕТ), где он с успехом ставил "Три еврейских изюминки", "Вечер Шолом Алейхема", "200 тысяч" (и многое другое), в 1928 году, во время зарубежной гастрольной поездки — остался на Западе ("выбрал свободу"). Я встречался с ним еще в Берлине. Прочтя моего "Азефа", Грановский попросил Б. И. Николаевского как-нибудь привести меня. И мы с Б. И. не раз у него бывали, причем в первый приход Грановский уверял, что я "вылитый Савинков". Думаю, это было так, "от нечего говорить", а м. б. — "режиссерское вдохновение". Грановский был приятный, барственный человек. Но в Берлине его театральные замыслы не удавались и в

"некой тоске" он всё говорил: "Мне нужны *миллионы! миллионы!* Вот тогда бы я показал..." И миллионы не замедлили прийти в виде г-жи Гудман, красивой миллионерши.

В первую же парижскую встречу Грановский заказал мне "синопсис" для фильма "Тарас Бульба", который он готовил. И я тут же получил хороший аванс. Грановский был широк, а теперь в особенности. Такие "синопсисы" он заказал нескольким писателям — М. Алданову, М. Осоргину, кому-то еще. И когда получил все, говорил: "Удивительное дело, писатели совершенно не чувствуют кино, вот у меня шесть "синопсисов" и ни в одном ни одной фразы, которую можно было бы использовать для фильма". По-моему, имея миллионы Гудман, Грановский просто хотел дать подработать писателям. Это было в его духе.

Широту и барственность (пренебрежение к расходам) Грановский проявлял и при съемках фильма. На роль Тараса Бульбы пригласил за какой-то несметный гонорар знаменитого французского актера Гари Бора, статистами казаками взял русских эмигрантов казаков-джигитов. Вообще, русские эмигранты у него на "Тарасе Бульбе" подработали. Всё ставилось — на широкую ногу, чтоб "поразить мир злодейством". Но говорили, что бывало и так: — когда всё уже было готово к началу съёмок, и актеры, и статисты, и джигиты, и фотографы, и камермены, ждали только режиссера Грановского, он приезжал и говорил своему помощнику: "Распустите всех, я сегодня не в настроении..." И платили, и отпускали.

Фильм "Тарас Бульба" был художественным и финансовым провалом. За ним — провалом был и второй "грандиозный" фильм "Король Позоль". Почему? По-моему, потому, что Грановский был уже болен. Он мне часто казался чрезмерно усталым, больным человеком. После своих двух фильмов он прожил недолго и умер от рака крови. А потерявшая на его фильмах свои миллионы г-жа Гудман покончила жизнь самоубийством. Я вспоминаю Алексея Грановского с самым добрым чувством. Он был одним из солидных "слагаемых" моего становления на ноги в Париже.

Поместил я в Париже кой-какие статьи в "Иллюстрированной жизни", вскоре закрывшейся, в "Иллюстрированной России". Из "Золотой лилии" я разыскивал друзей и знакомых парижан.

Нашел Варю Левитову, сестру милосердия нашей 2-й роты Корниловского полка, с которой дружили еще по Ледяному походу. Варя (Васильева) и Таня (Кунделекова, убиита под Орлом), молодые девушки, курсистки, в 1917 году пошли сестрами милосердия в Добровольческую армию. Обе были с нами в боях на Таганрогском фронте (под Чалтырем, под Хопрами). И обе ушли с нами в степи, в Ледяной поход, когда туча красной армии плотным кольцом окружила Ростов и у нас остался единственный узкий выход отступления из Ростова — в неизвестность, в степи. Возьму цитату из "Ледяного похода", написанного мной 62 года тому назад:

"Я подошел к нашим сестрам: Тане и Варе. Они стоят печальные, задумчивые. 'Вот, посоветуйте, Рома, итти нам с вами или оставаться', — говорит Варя, — 'мама умоляет не итти, а я не могу, и Таня тоже'. — 'Советую вам остаться: ну, куда мы идем? — неизвестно. Может быть нас на первом переулке пулеметом встретят? За что вы погибнете? За что принесете такую боль маме?' — 'А вы?' — 'Ну, что же мы? Мы пошли на это'. Варя и Таня задумались.

Совсем стемнело. Утихла стрельба. Мы строимся. Все тревожно молчат. На левом фланге второй роты в солдатских шинелях, папахах, с медицинскими сумками за плечами Таня и Варя.

— 'Сестры, а вы куда?', подходит к ним полковник Симановский. — 'Мы с вами'. — 'А взвесили ли вы всё? Знаете ли, что нас ждет? Не раскаетесь?' — 'Нет, нет, мы всё обдумали и решили. Я уже послала письмо маме', — взволнованно-тихо отвечает Варя.

Толпимся, выходим во двор. В дверях, прислуживавшие на кухне женщины плачут в голос: 'Миленькие, да куда ж вы идёте, побьют вас всех! Господи!' "

В Париже, в один мой приход к Варе произошло нечто забываемое. Пришел часа в четыре. Варя: — "Рома, вы обедали?" — "Конечно". Сели чай пить, разговоры о прошлом, о Ледяном походе — "бойцы вспоминают минувшие дни" — об убитых близких друзьях (Свиридов, Вашенко, князь Чичуа, мн. др.). Но удивляюсь, Варя смотрит на меня как-то странно: упорно-пытливо. И вдруг — категорически: — "Рома, вы голодный!" —

“Да что вы, Варя!” — “Да не притворяйтесь, я вижу! И сейчас сделаю вам котлеты!” Скоро котлеты действительно появились передо мной. Но что это были за котлеты! Самые вкусные в мире! Прошло полвека, а их вкус я всё помню. Даже недавно в письме к Варе из Нью Йорка в Париж о них вспоминал.

Нашел я родную двоюродную сестру Лялю Гуль (дочь дяди Анатолия). Всё это были в том или ином виде “слагаемые”. Но кто оказался очень существенным “слагаемым”, так это берлинский друг, художник Лазарь Меерсон, превратившийся в Париже в фильмовую известность.

В Берлине Меерсон особенно дружил с Юрием Офросимовым, с которым одно время они вместе снимали комнату, превращая ее в какой-то “вертеп Венеры погребальной”, ибо оба были неряхи-богемьены. В Париж Меерсон приехал года за четыре до меня. И попал не в “Золотую лилию”, а под мост Александра III-го — ночной приют парижских “клошаров”. Ночевал и на скамейках Булонского леса, пока по счастливой случайности не встретил актера Каминку, и тот его устроил писать декорации в киностудии своего дяди (кажется) Александра Каминка. Тут, уж не знаю как, Лазарь познакомился с тогда только что начинавшим кинорежиссером Ренэ Клэром (позднее — “бессмертным”, академиком). Клэру понравились декорации Меерсона и он предложил ему работать в его фильме, который он как раз ставил — “Под крышами Парижа”. Лазарь сделал декорации. Фильм прогремел на всю Францию, даже, пожалуй, на весь мир. Ренэ Клэр — тоже. И Лазарь Меерсон — стал известным кино-декоратором, продолжая работать с Ренэ Клэром. Спать под мостом Александра III-го, скамейки Булонского леса, всё отошло в биографию. А в жизни появилась превосходная белая студия с громадным (во всю стену) окном на Парк Монсури.

Когда я позвонил Меерсону (мы уже жили на рю Олье), Лазарь пришел в восторг и тут же заявил мне, чтоб я ни о чем не беспокоился: на первое время он оплачивает и нашу квартиру и ежемесячно дает деньги на прожитие, пока я не встану на ноги. Это было великолепно! Но я-то знал, что Лазарь богемьеневропат, что он сказал сегодня, может забыть завтра. И все-таки это было прекрасно!

Нашу встречу Лазарь назначил не где-нибудь на Монпарнасе за стаканом кофе, а в фешенебельном кафэ "Рон Пуан дэ Шан з'Элизе". Ну, хорошо. Я приехал в этот "Рон Пуан". Меерсон — в прекрасном, дорогом костюме с каким-то невыразимым галстуком (хорошего тона), вообще будто никакого голодранства, скамеек Булонского леса и моста Александра III-го не было и в помине. Расспрашивал о том, о сем, о Юрии, о концлагере, пригласил нас с Олечкой к себе на обед. Он был женат на известной всему Монпарнасу, легендарной, эффектной Мэри, тоже русской эмигрантке. Рассказывали, что в кафэ "Дом", где обычно сидела Мэри, к ее столику однажды подошел известный художник Оскар Кокошка, сказав: — "Мне говорили, что у вас самое красивое попо на Монпарнасе, я хочу вас написать". Увы, сеанс не состоялся.

На обеде у Меерсонов в большой белой студии, застланной пушистым белым бобриком, всё было "невыразимо изысканно" — стеклянный стол, стеклянная посуда, еда, вино, всяческие деликатесы, всё — лучшее, всё — дорогое. И все-таки самым сногшибательным номером был лакей: — калмык в черных брюках, белой куртке и белоснежных перчатках. "Лазарь, что это за аттракцион?", спросил я. "Не знаю, это Мэри выдумала, спроси ее". Мэри объяснила, что через русских знакомых нашла этого калмыка и теперь не нарадуется: он научился всяким штукам, чудесно работает, подает, убирает. Думаю, и калмык таким "поворотом" судьбы был доволен.

Насчет "невропатии" Лазаря я, конечно, был прав. Два месяца он давал мне деньги на оплату квартиры, а потом "забыл", а я, разумеется, не напоминал, ибо и это было дружеской помощью. За это время и я кое-что заработал и Олечка нашла работу: брала вязанье у казачки Бударинной — Олечка вязала ей шерстяные и шелковые дамские вещи для какого-то богатого французского "дома мод". Так мы и начали нашу свободную жизнь в Париже. Сделаю примечание: официально мы "права на работу во Франции" не имели. Визы были "без права работы", как у многих русских.

У А. И. Гучкова

С рю Олье я позвонил Александру Ивановичу. Он назначил мне встречу. Жил он неподалеку. Квартира в три комнаты, скромная, эмигрантская. В России А. И. знал настоящее "хлопчатобумажное" богатство, но этим не интересовался, занят был: сначала войнами — в Южной Африке (с бурами) против англичан, на Балканах с македонцами против турок, в Манчжурии против японцев, потом — в войну 1914-17 гг. — председатель Центрального Военно-Промышленного комитета. Параллельно — большая политика: председатель "Союза 17-го Октября", председатель Третьей Государственной Думы. Вперемежку — несколько дуэлей, а под конец войны — заговоры — попытки дворцового переворота.

Принял меня А. И. радушно. Принес из кухни два стакана чая и какое-то печенье. В разговоре спросил, что я пишу. Я сказал, что закончил книгу о терроре — "Дзержинский", и хочу ее здесь издать. А. И. одобрил, заинтересовался, спросил — не могу ли я дать прочесть рукопись? Я сказал — с удовольствием принесу.*

— У меня, Р. Б., к вам есть дело, — проговорил Гучков, — в Париж приехала дама, побывавшая в советских концлагерях. Рассказывает потрясающие факты. Я просил ее все записать, но она не из пишущих. Не взялись ли бы вы записать ее рассказы? Дело — нужное.

Я согласился. С дамой встретился у А. И. Она действительно рассказывала много интересного, но записи так и не вышли: дама куда-то уехала.

Помню, в первый мой приход Гучков сетовал на Петра Струве за его статью о Николае II-м (напечатанную, запомнил где).

— Струве пишет о царе, — говорил Гучков, — как о необыкновенном человеке, как о разумном правителе и т. д., но ведь

*Когда я рассказал Борису Ивановичу, что Гучков попросил рукопись "Дзержинского", великий следопыт Николаевский сказал: — "Это он для Лиги Обера". Для Николаевского Лига Обера была немного "контрой". Для меня нет. Я дал Гучкову рукопись "Дзержинского".

Струве, так же как я, прекрасно знает, что это неправда. И все-таки пишет. Зачем? Такая неправда только вредна...

Я статьи Струве не читал, ничего сказать не мог. Разговор перешел на вопрос о монархии вообще. А. И. сказал, что он монархист. Я ответил, что монархия, по-моему, нужна там, где *в народной толще* есть потребность в ней, вот как в Англии — там народу нужна эта мистико-эстетическая институция, и я бы не хотел, чтоб Англия превратилась в республику. Но в России ведь — к всеобщему нашему остолбенению — революция показала, что *в народе* никаких монархических традиций, никакой этой мистико-эстетической потребности, не было.

— Вы помните, А. И., — говорил я, — как в феврале в полках, в бараках солдаты в каком-то остервенении топтали портреты царя и царицы. И Михаил Александрович был, по-моему, прав, что не принял престол, да и уговаривал-то его принять престол один единственный Павел Николаевич Милюков, даже Родзянко был против. И Родзянко был прав. Ведь если б Михаил Александрович принял престол, в России пошла бы такая поножовщина и пугачевщина, что страшно себе представить.

— Да, я всё это знаю, — как-то уклончиво, нехотя, сказал А. И., — и все-таки я — за монархию.

— Но, А. И., в теперешней России нет уж совершенно никаких корней для восстановления монархии...

— Не знаю, не знаю, всё бывает, — еще более уклончиво проговорил Гучков и добавил: — Я ведь и для Франции хотел бы монархии.

В устах умудренного политика это показалось мне какой-то "навязчивой идеей", ибо представить себе, что во Францию, перепаханную ее революциями, въезжает из Бельгии граф Парижский, становясь королем, — политически немыслимо.

А. И., продолжая разговор, сказал: — "Я ведь в демократической формуле Джефферсона-Линкольна — "всё для народа, всё через народ" — принимаю только первую часть — "всё для народа". Но не — "всё через народ". Я понял, что А. И. сторонник авторитарной власти. Конечно, авторитарная власть бывает неизбежна и нужна (например, генерал Франко, победивший московских чекистов), но быть ее сторонником, как

таковой, навечно, мне казалось неправильным; авторитарные правители неизбежно будут греховнее демократических, ибо — бесконтрольнее. Демократия — никакое не царствие небесное, но все ж лучшее из всего худшего, что у людей есть, все же больше возможностей ограничения греховности людской природы. Это я и высказал Александру Ивановичу. Но так мы и остались — каждый при своём.

В другой раз А. И. пригласил меня к чаю. Чай — в столовой, разливала дочь А. И. — Вера (по мужу, англичанину, кажется, Трэйл). Кроме меня был Кирилл Зайцев, автор книги о Бунине, книгу эту Бунин весьма одобрил. Позже Зайцев стал архимандритом Константином в Америке, в монастыре в Джорданвиле. Зайцев был человек острый, умный, образованный. За столом в общем разговоре он довольно остро "столкнулся" с Верой Гучковой. И неудивительно: Зайцев страстный антибольшевик, а Вера (как ни нелепо) — коммунистка (и ее муж — коммунист). Помню, я как-то удивился, зачем А. И. приглашает гостей-антибольшевиков и Веру. Вера — высокая, некрасивая, в манерах и разговоре резкая. "Коммунизм", "советизм" к ее резкости и манерам шел.

Во время чаепития А. И. пригласил меня и Зайцева (был еще кто-то, но не помню кто) на доклад финна Седерхольма, побывавшего в советских тюрьмах и концлагерях. Воспоминания Седерхольма позже вышли книгой в Риге. Я понял, что у А. И. есть некий небольшой кружок людей, с кем он общается, а иногда и устраивает закрытые собрания (по приглашениям).

На доклад Седерхольма мы пошли вместе с Борисом Ивановичем. Доклад был, по-моему, в Биотерапии (неком предприятии быв. народного социалиста А. А. Титова, богатого человека, химика по специальности). Там был зал, где происходили эмигрантские выступления. В дверях зала, у небольшого столика сидел пожилой господин, перед ним лист приглашенных и по предъявлении приглашения он ставил отметку против фамилии. Господин этот привлек мое внимание своей внешностью. Хоть он и сидел, но явно был очень высокий, волосы не седые, а белые, лицо моложавое, костистое, красивое, крупных черт. Б. И. с ним поздоровался. В зале я спросил Б. И.: — "Кто это?" — "Не знаете? Это Сергей Николаевич Третьяков,

8 Января 1935.

A. I. GOUTCHKOFF

4, Rue de Dantzig, Paris - XV

Tél.: Vaugirard 46-11

Глубокоуважаемый

Романъ Борисовичъ

Семья брата Николая и я очень тронуты Вашимъ теплымъ участіемъ въ нашемъ горѣ. Братъ Николай умиралъ очень трогательно, въ ясномъ сознаниі, съ полнымъ спокойствіемъ, безъ оттѣнка малодушія, вполнѣ отдавая себѣ отчетъ въ неизбежности и близости смерти. Въ ночь, предшествовавшую смерти / онъ умеръ въ 8 ч. утра/, онъ все молилъ: " Пресвятая Богородица, спаси насъ и нашу Родину". Онъ умеръ, какъ жилъ, — не думая о себѣ, а сосредоточивъ свои помыслы на своихъ, на всѣхъ насъ, на нашей Родинѣ.

Искренно преданный



Письмо А. И. Гучкова к Р. Б. Гулю.

товарищ министра торговли и промышленности Коновалова во Временном Правительстве”, — произнес Б. И. с уважением к большому прошлому этого господина.

В зале было 30-40 приглашенных: социалисты Ст. И. Португейс (крайне-правый потресовец), Г. Я. Аронсон, еще кто-то; были кадеты; были правые. Я мало кого знал. Но в первом ряду сразу узнал генерала Скоблина. В Ледяном походе, в Корниловском полку он был штабс-капитан и помощник командира полка полковника Неженцева.

Председательствовал А. И. Гучков. Седерхольм занял место рядом с ним. Доклад был интересен, изобиловал фактами ужасов советских концлагерей. После доклада А. И. спросил: нет ли у кого вопросов к докладчику? И тут же из первого ряда поднялся Скоблин, задав, как мне показалось, совершенно глупый вопрос: — “Скажите, пожалуйста, неужели среди заключенных, когда они стояли в строю перед чекистом, бившим их товарища, никого не нашлось, кто бы бросился на этого мерзавца?” Не помню, что ответил докладчик. Помню, я подумал: “какой дурак Скоблин...” Но после похищения ген. Миллера, когда выяснилось, что бежавший в СССР Скоблин предал его чекистам, я вспомнил вопрос и понял, что вопрос был вовсе не так уж глуп: Скоблину надо было лишний раз *публично подчеркнуть* свою совершенную “непримиримость к коммунизму”. А позднее, во время войны, когда немцы в Смоленском архиве НКВД нашли документы, изобличавшие С. Н. Третьякова, как советского агента (немцы расстреляли его), я понял, что кружок А. И. Гучкова и он сам были под двойным стеклянным колпаком НКВД: Скоблин в первом ряду, Третьяков — у входа. К тому ж — в придачу — дочь и зять коммунисты.

Как-то А. И. позвал меня поговорить о прочтенной им моей рукописи “Дзержинский”. Поговорили. А. И. рукопись весьма одобрил. А когда я собрался уходить, А. И., взглянув на часы, проговорил: — “Подождите, Р. Б., до четырех. В четыре ко мне должен притти Александр Федорович Керенский. Вы не знакомы?” — “Нет”. — “Ну, вот и познакомитесь и тогда пойдете. У меня с ним есть кой-какой разговор”.

Я остался. И разговор, естественно, перешел на А. Ф. Керенского. Я спросил А. И., как он расценивает его? — “Герой не

моего романа, — отмахнувшись, проговорил А. И., — лично, конечно, человек честный, но слабый, совершенно слабый. Всё только — актёрство, жесты, эффекты! А на этом в политике далеко не уедешь... Вот Савинков, — продолжал А. И., — совсем другое дело. Это был человек действия. За Савинкова я бы десять Керенских отдал...”

В это время раздался звонок. Я встал, простился. Мы вышли в переднюю. А. И. открыл дверь и в дверь не вошел, а как-то ворвался Александр Федорович Керенский. Наружность Керенского — всероссийски известна. Но сейчас, перевалив за 50, Керенский был уж не тот. Лицо землистое, в глубоких складках-морщинах, какое-то обвислое. Я стоял, чтоб уйти...

— Александр Федорович, вы не знакомы? Это — писатель Роман Борисович Гуль, приехал из Германии...

И тут произошло нечто меня потрясшее. А. Ф. Керенский круто, словно на каблуках, повернулся ко мне, выхватив из жилета лорнет на широкой черной ленте и, приставив к глазам, стал меня рассматривать. Этим лорнетом на черной ленте я был ошарашен. Керенский, конечно, меня по имени знал, я кое-что писал о нем не очень лестное. Посему, вероятно, и рассматривал. Затем, оторвав лорнет от глаз, Александр Федорович протянул руку, громко, отрывисто сказал:

— Здравствуйте! — голос у А. Ф. — прекрасный баритон.

— Здравствуйте, Александр Федорович, — ответил я.

Поздоровавшись с Керенским, я вышел. “Господи, — спускаясь по лестнице, думал я, — но почему же именно лорнет? Да еще на черной широкой ленте? Почему не очки, не пенснэ, не монокль наконец (вставить при случае). А то ведь это же какая-то графиня из “Пиковой дамы”, а совсем не вождь февральской революции”.

А. Ф. Керенский

Думаю, будет лучше, если я, отступив от хронологии “России во Франции”, расскажу всё об А. Ф. Керенском: о наших встречах, разговорах, о некоторой близости (одно время, в Америке). Многое будет — из “России в Америке”, но зато тема — А. Ф. Керенский — будет дана полнее.

Вторично я увидел Керенского на улице, на Авеню де Версай. Он меня не заметил. Думаю, он никого заметить не мог. Во-первых, — сильно близорук, ходил с палочкой. Во-вторых, Керенский не шел, как обычно ходят люди по улице, а почти бежал, и на согнутых в коленях ногах, что было необычно и некрасиво. На голове никакого головного убора. Керенский по улице ходил с непокрытой головой, как молодые. Волосы — седоватый бобрик, без всякого намека на ленинскую лысину.

И вот, когда Керенский однажды так "бѣг" по парижской улице (он любил моцион, гулять), какая-то русская дама, шедшая с девочкой, остановилась и громко сказала девочке, показывая пальцем на Керенского, — "Вот, вот, Таня, смотри, смотри, этот человек погубил Россию!"

Мне об этом рассказывал Владимир Михайлович Зензинов, ближайший друг Керенского, и добавлял, что на Александра Федоровича "слова этой дамы подействовали ужасно, он несколько дней был сам не свой".

Когда я ближе узнал А. Ф., я, конечно, никогда о "загублении" им России не говорил, но не раз чувствовал, что эту тему он воспринимает болезненно. Вероятно, потому, что наедине с собой чувствовал, что в чем-то, где-то (несмотря на всеобщий всероссийский развал, на всеобщее российское окаянство) он все-таки как-то перед Россией виноват своей слабостью. Ведь необычайно любившая его Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская (известная бабушка русской революции), называвшая Керенского не иначе, как "Саша", подавала ему *истинно-государственный совет* спасения России. Она говорила Саше, что он должен арестовать головку большевиков, как предателей, посадить их на баржи и *потопить*. "Я говорила ему: 'возьми Ленина!' А он не хотел, все хотел по закону. Разве это было возможно тогда? И разве можно так управлять людьми?... Посадить бы их на баржи с пробками, вывезти в море — и пробки открыть. Иначе ничего не сделаешь. Это как звери дикие, как змеи — их можно и должно уничтожить. Страшное это дело, но необходимое и неизбежное".

Но Саша о такой *действительно государственной мере* (я говорю это всерьез) и слышать не хотел: перед ним "сияла звезда социализма". Эта фраза о "звезде социализма" была в воспомин-

нениях Е. К. Брешковской, которые мы напечатали в "Новом журнале" (кн. 38). Но близкий друг А. Ф., тогда редактор журнала, Михаил Михайлович Карпович сказал мне, секретарю редакции, обычно правившему рукописи: — "Знаете что, Р. Б., эту "звезду социализма" давайте вычеркнем, она Александру Федоровичу теперь будет очень неприятна!" И вычеркнули. Михаил Михайлович был прав. Заграницей, эмигрант А. Ф. Керенский, по-моему, никаким социалистом не был. Ну, может быть самым крайне-крайне-правым, и то не мировоззренчески, а — в смысле нужности социальных реформ. Помню, как-то, сидя у нас в квартире на 113 улице в Нью Йорке, А. Ф. проговорил: — "Ведь они, они меня погубили!", — и указывал при этом на противоположную сторону улицы, где (прямо напротив) жили лидер меньшевиков и бывший влиятельный член Совета Рабочих Депутатов Р. А. Абрамович (Рейн) и некоторые другие меньшевики. Заграничный Керенский, по-моему, был куда больше националист, чем социалист, поэтому-то его и недолюбливали (весьма!) меньшевики, оставшиеся твердокаменными. А официальные националисты считали его "предателем". Так что политически Керенский заграницей был в некоем "безвоздушном пространстве".

Е. К. Брешковская всю жизнь была верующей христианкой. Был ли в былом А. Ф. Керенский верующим — не знаю. Но заграницей А. Ф. был церковным православным человеком, посещавшим церковь и выстаивающим службы от начала до конца, во время великого поста ни одной службы не пропускавшим, исповедывавшимся и причащавшимся. Это я видел собственными глазами в Нью Йорке в Свято-Серафимовской церкви у о. А. Киселева.

Третий раз в Париже я встретил А. Ф. Керенского (прилетевшего из Нью Йорка) на вокзале на Площади Инвалидов. Б. И. Николаевский известил меня из Америки, прося встретить А. Ф. Дело в том, что А. Ф. был членом создавшейся в Нью Йорке "Лиги Борьбы за Свободу России", председателем которой был избран Б. И. Николаевский, я же был неким представителем этой обще-демократической организации в Париже. Я редактировал тогда журнал "Народная Правда", сбив вокруг него небольшую группу, назвавшуюся "Народное

Движение”, входившую в Лигу.

Александра Федоровича я встретил в конце длинного туннеля на Площади Инвалидов. Он также быстро шел, вид бодрый, улыбающийся. Поздоровались уже, как знакомые (члены же ведь одной организации! Почти что “партийные товарищи”!). А. Ф. сказал, что поедет прямо к своему другу Михаилу Матвеевичу Тер-Погосяну, предложив ехать с ним вместе. Тер-Погосян был эс-эр, верный “оруженосец” Александра Федоровича. Тер-Погосян Керенского просто-таки “обожал”. Я с М. М. был знаком, бывал у него, но знакомство поверхностное. И считая нетактичным мое появление при встрече близких друзей, я сказал, что лучше позвоню А. Ф. завтра и мы условимся, когда встретиться.

А. Ф. Керенскому было небезынтересно встретиться и со мной, ибо я только что вернулся из поездки по Германии (Мюнхен, Гамбург, ГанOVER и опять Мюнхен, я расскажу о поездке отдельно), где от имени Лиги вел переговоры с представителями организаций новой, послевоенной эмиграции. Но, конечно, особенно интересна Александру Федоровичу была встреча с живым представителем этой, советской эмиграции, с одним из лидеров СБОНР’а (власовцев), с Юрием Васильевичем Диковым. Ему я выхлопотал приезд в Париж на неделю. И поселил в отеле неподалеку от нас.

Между первой и второй эмиграциями прошло полвека, и человечески, и политически обеим эмиграциям встреча друг с другом была важна и интересна. Не знаю, прав ли я, но мне казалось, что А. Ф. Керенскому хотелось “примериться”: — поймут ли его — бывшего “главу” Февраля — новые, советские люди? Думаю, что я в этом прав. Первая эмиграция (в большинстве белая армия) к нему относилась враждебно. Ведь даже верховное командование Белой Армии в свое время в приказе упоминало о нем, как о “предателе”, со всеми вытекающими отсюда “последствиями”, в случае его появления в районе армии. В первой эмиграции А. Ф. Керенский был “полуодинок”.

Встреча состоялась на другой же день. А. Ф. Керенский пригласил на обед меня с Олечкой и Ю. В. Дикова в *свой* ресторан на Пляс Пасси (неподалеку от метро), где хозяин и лакеи, многолетне его знавшие, называли А. Ф. не иначе, как

“Monsieur le President”. Перед войной А. Ф. жил тут и был частым посетителем ресторана. За обедом разговор — как всегда при первом знакомстве — перемежался и житейскими и политическими темами. Ю. В. Диков производил приятное, выгодное впечатление: умный, тактичный, демократ по взглядам, прошел через советский концлагерь, работал в штабе ген. А. А. Власова, так что многое из того, что он говорил, было очень интересно. В отношении Керенского Диков держался почтительно-тактично. И встреча с ним А. Ф. Керенскому была явно приятна и интересна. На другой день А. Ф. меня за нее благодарил. В этом же ресторане мы завтракали вдвоем: Керенский, я, Борис Суварин, и — Керенский, я и П. А. Берлин (известный публицист, экономист, раньше работавший в Торгпредстве, но “выбравший свободу”).

Наших встреч — вдвоем — А. Ф., я и Ю. В. Диков было здесь несколько. На последней А. Ф. сказал, что хорошо бы, если б Ю. В. Диков познакомился с В. А. Маклаковым. Я понял, что Керенский с Маклаковым об этом уже говорил. Ю. В. согласился. И в условленный час мы приехали на квартиру В. А. Маклакова. Диков, по-моему, слегка волновался, ибо не знал, как у него, власовца, сложится встреча с Маклаковым, ходившим с группой эмигрантов на прием к советскому послу Богомолу, и, разумеется, вполне далекому от “власовства”.

К Маклакову в кабинет мы вошли последними. У него уже были — А. Ф. Керенский, М. М. Тер-Погосян, А. С. Альперин, А. А. Титов. Для нас обоих это было неожиданностью. Тер-Погосян (эс-эр), Альперин (эн-эс), Титов (эн-эс) были как раз из той эмигрантской группы, которая вместе с Маклаковым путешествовала к совпослу Богомолу и выражала там патриотические чувства. Все они, конечно, были анти-власовцы. Я с ними был знаком. Керенский представил Ю. В. Дикова. Все уселись в просторном кабинете. Маклаков — за письменным столом.

Первыми стали задавать вопросы Дикову — Тер-Погосян, Альперин, Титов. Хоть и были они люди воспитанные, резко-стей не говорили, но в вопросах все же чувствовалось полное “неприятие” власовства. Диков отвечал умно. Без уверток. Маклаков молчал. Керенский сказал какие-то “смягчающие”

слова о "новых людях" и "новой демократии". Последним заговорил Маклаков.

Сразу — с первых же фраз — почувствовалось, насколько В. А. "головой выше" всех присутствовавших. Умнее. Мудрее. Глубже. Речь была простая, ясная, умная, логичная, легко воспринимаемая. То, что сказал Маклаков, по-моему, для всех присутствовавших (в особенности, для компаньонов по путешествию к Богомолу) было неожиданностью. Обращаясь только к Ю. В. Дикову, Маклаков говорил тепло, очень дружески (по-русски душевно). В. А. сказал, что вполне понимает *что* Ю. В. и другие русские люди пережили и перенесли, живя под террором коммунизма, поэтому его несколько не удивляет, что в Германии сложилось анти-советское, власовское движение. — "В своем антисталинизме вы были искренни, у вас была своя правда, и вам и вашим товарищам совершенно не перед кем и не в чем, Юрий Васильевич, извиняться. Вы должны ходить так же как все, с высоко поднятой головой", — так закончил Маклаков.

Патентованные анти-власовцы молчали, но я видел, что таких слов от В. А. Маклакова они "никак не ожидали". Керенский довольно улыбался, глядя, как Маклаков пожимает руку Дикову. Ну, а больше всех поражен был, конечно, "власовец" Диков. Пожимая руку Маклакова, он говорил ему какие-то слова благодарности.

Когда мы с Ю. В. вышли на улицу, чтобы ехать к нам, домой, Диков был вне себя от радости и возбуждения. — "Ну, этого я никак не ожидал!, — говорил он, — И какой блестящий человек! Да я таких просто и не видел никогда! Вот бы нам такого!".

Но "таких" — по блеску, по уму, по дару речи — во всей России было не очень много. Керенский перед Маклаковым казался "маленьким" и косноязычным.

В последний раз в Париже я встретился с А. Ф. Керенским на его докладе в Биотерапии. Доклад устраивала, кажется, наша группа "Народной Правды" (не уверен). В Биотерапии зал, человек на полтора, был, конечно, битком. Имя Керенского всегда "делало сборы". А. Ф. говорил о современном международном положении, о задачах эмиграции, о Лиге, о русских в Америке. Я несколько раз слышал красноречие Керенского. Он,

конечно, был подлинный оратор, но "не моего романа". В противоположность Маклакову красноречие Керенского было крайне эмоционально, даже, я сказал бы, "пифично" (от слова "пифия"). Иногда на большом подъеме Керенский уже не говорил, а как-то отрывочно выкрикивал. Мне это не нравилось. Как-то (уже в Нью Йорке), сидя у нас, А. Ф. рассказал о себе интересный эпизод, характеризующий, по-моему, весь стиль его ораторского дара. А. Ф. рассказал, как, однажды, еще до революции, когда он выступал на каком-то процессе защитником, после заседания, в перерыве, председатель суда попросил его (для удобства председателя), чтобы А. Ф. вкратце набросал ему содержание его речи. — "Этого я сделать не могу", — ответил Керенский. — "Почему?" — удивился председатель. — "Да, потому, что когда я выступаю, я не знаю *что* я скажу. А когда я кончил, я не помню *что* я сказал". Рассказывая это, А. Ф. улыбался своему рассказу. А я не улыбался. Тут-то именно я и подумал: "Что ж, стало быть, ты говоришь, как пифия, не зная сам, что скажешь и не помня, что сказал?"

Но в Биотерапии, помню, был момент, когда Керенский захватил весь зал. Он рассказывал, что как-то ехал по Канаде и как Канада напомнила ему Россию — те ж сосновые леса, те ж широкие реки — и какое он почувствовал вдруг отчаянье, что вот в Канаде люди живут в полной свободе, в полном довольстве, а Россия — почему же Россия?! — полонена этой страшной трагедией неожиданного рабства и хозяйственного развала. Ведь Россия могла быть такой же Канадой! Это А. Ф. говорил искренне и все почувствовали его настоящую любовь к России! Зал проводил Александра Федоровича шумными аплодисментами.

Больше во Франции я Керенского не встречал. Назавтра он улетел в Нью Йорк.

В Нью Йорке, где мы жили с женой с 1950 года, я часто встречался с Керенским на заседаниях Лиги Борьбы за Свободу России. Заседания Лиги обычно были в нашей квартире на 506 Вест 113 стрит. Но ни о Лиге, ни о Керенском в связи с Лигой, я говорить сейчас не буду. Это материал третьего тома — "Россия в Америке". Я скажу только о личных встречах и запомнившихся разговорах.

В Нью Йорке А. Ф. Керенский жил в фешенебельном

районе, в прекрасном особняке г-жи Симсон, на 91 улице Ист. Муж ее, конгрессмен, республиканец, был другом Керенского. И Симсоны предложили Керенскому жить у них. А. Ф. занимал на втором этаже две небольшие комнаты. Но мог пользоваться всем помещением. Особняк был барский. Особенно хорош был просторный кабинет — по стенам в шкафах книги, камин, удобные кресла, стильная мебель. Керенский принимал здесь гостей. Иногда устраивал "парти". Прислуживали в особняке японцы — муж и жена. Мистер Симсон вскоре умер, осталась вдова. Но положение Керенского, в смысле обитания в особняке, не изменилось.

Помню, как-то я был у А. Ф. Сидели мы, как всегда, в большом кабинете. И к Керенскому пришел один новый советский эмигрант, недавно приехавший из Германии. Не буду называть его фамилию, Бог с ним. Несколько позднее, когда он был у меня, я выгнал его из квартиры. Назовем его — господин Х. Его приход показал мне, как Керенский был падок на лесть. Конечно, все мы, более-менее, любим лесть. Но разница, по моему, должна быть в градусе правдоподобия лести, чтобы лесть не переходила в ложь. Керенский этих градусов не чувствовал.

На меня господин Х. сразу произвел ненадежное впечатление. С места в карьер он стал говорить Керенскому стопудовые комплименты, явно не чувствуя пропорций лжи. Он говорил, что в СССР весь народ помнит Керенского, что его имя для народа свято, что весь народ чтит его. Лесть была невыносимо груба, по моему, просто оскорбительна. И я был поражен, что Керенский от рассказов этого господина — расцветал и улыбался. Этой вульгарной лжи он явно хотел верить и (я видел), что верит.

Когда наглый господин Х. наконец ушел, Керенский мне в разговоре бросает: — "Симпатичный человек, правда?" — Я говорю: "По моему, нет". Керенский удивленно: "Почему?". Я говорю: — "По моему он был неискренен во всем, что говорил, и этим на меня произвел неприятное впечатление". Керенский вдруг недовольно оборвал: — "Ну, не будем об этом говорить!". И мы перешли к делу, для которого я пришел.

Мы с Керенским довольно часто завтракали в ресторанах. И часто он рассказывал интересно. Но иногда замыкался, когда

28/12/48

Миле Р. мае добродетели,
 благодарен је подро Маг
 Кендеро... Пред устима Мери и миром; тако, не м
 томе мисли. Стине сажег на се. Фелера и. у!
 Томингска, едина ме пренеми ^{Синте не} ~~ма~~ (109 21st St) ^{от}
 Street, New York 28, U. S. A.) - Там он у своме упути
 да је с истраживачем, в. к. и. Динама. И упути
 мај единама в. У. - Мау 2 томен у сале. Можемо упути
 - Гибралтар на пошту/ко мисли пр. 200 1 Фиссин!
 Крима пр. Мери м. м. и. Динама. И. и. Динама
 Динама. И. и. Динама. И. и. Динама. И. и. Динама.
 Р. А.

Письмо А. Ф. Керенского к Р. Б. Гулю.

тема была не по душе. Как-то раз я заговорил о Николае II-м. Керенский ответил коротко, что Николай II-й, как человек, производил на него положительное впечатление. И, помолчав, добавил, что когда впервые он, со своим окружением, приехал на свидание с бывшим государем, первый момент для него был страшно труден: как поздороваться с арестованным бывшим монархом? Протянуть руку? Не протянуть? И Керенский, "не обращая внимания на свое окружение", в последнюю секунду решил, конечно, протянуть.

— "Я протянул ему руку, государь тоже протянул — мы поздоровались".

Мне хотелось выжать из Керенского побольше рассказов о государе. Но Керенский этому внутренне сопротивлялся. Однажды, будто что-то вспомнив, сказал: — "Об интимной жизни государя мне много рассказывала статс-дама Нарышкина". — "Что же она рассказывала?", спросил я. — "А этого я вам не скажу так же, как не говорил никогда и никому!". И после краткой паузы: — "Это уйдет со мной — туда", — Керенский указал пальцем в пол, — "... в могилу...". Мне это понравилось. Нигде, никогда, ничего неприятного для памяти государя Керенский не писал и не говорил.

Другой разговор в каком-то роскошнейшем ресторане, где нас обслуживала целая вереница лакеев со всех сторон, для Керенского был неприятен. На этот завтрак нас обоих пригласил очень богатый человек Владимир Николаевич Башкиров. Ресторан был "потрясающий": и блюда, и вина, и услуги. И всё шло превосходно: я сидел против А. Ф., Башкиров с краю стола (стол на троих). Башкиров происходил из очень богатой купеческой семьи, он давно знал Керенского еще по России и во времена Временного Правительства играл не последнюю роль. Он, кажется, был товарищем министра, заведующим вопросами продовольствия. Во всяком случае всё продовольствие Петрограда было в ведении Башкирова.

За завтраком Башкиров выпивал, смеялся, предавался воспоминаниям о прошлом. И вдруг говорит: — "А помните, Александр Федорович, как перед корниловскими днями вы мне отдали распоряжение приготовить фураж и продовольствие для идущей на Петроград Дикой дивизии и корниловских отря-

дов...”, и Башкиров в связи с этим хотел что-то рассказать. Но лицо Керенского было передо мной. Оно изменилось почти в гнев и на весь ресторан (Керенский всегда-то говорил громко, а тут), металлически отчеканивая каждое слово, проговорил: — “Ни-ког-да ни-ка-ко-го та-ко-го рас-по-ря-же-ния я вам не отдавал! Я та-ко-го рас-по-ря-же-ния не от-давал”, — повторял он, отчеканивая каждый слог и глядя в упор на Башкирова. Но Башкиров с дружеской улыбкой: — “Да что вы, Александр Федорович, Роман Борисович свой человек, наш друг, при нем можно всё говорить!” — Этот ответ еще больше раздражил Керенского. Лицо всегда землистое, по-моему, даже побледнело. И тем же металлическим голосом, с той же деревянной интонацией он опять отчеканил: — “Я ни-ког-да та-ко-го рас-по-ря-же-ния вам не отдавал!”

Конечно, я понял, что причиной “подавляемого возмущения” Керенского был я. Я не был для Керенского ни “свой человек”, ни “наш друг”. И Башкиров, разумеется, сделал необъяснимый гаф. После трижды “отчеканенной фразы” он это почувствовал. И разговор оборвался, перешли на что-то другое.

Но я видел (понял), что Башкиров говорит сухую правду. И если Керенский отдавал ему, заведующему продовольствием Петрограда, распоряжение приготовить фураж и продовольствие для выступивших против Петрограда корниловцев, то ясно, что Керенский — на первом этапе — с этим политически-безнадежно-нелепым восстанием ген. Корнилова был связан. Впрочем, это уже и было “секретом Полишинеля”, это подтверждали многие, в частности, быв. министр Временного Правительства Ираклий Георгиевич Церетели (о чем я еще скажу; Церетели резко-отрицательно относился к Керенскому, Р. Г.). А Б. И. Николаевский, с которым в Лиге у А. Ф. Керенского были плохие отношения, однажды на заседании бюро Лиги, когда Керенский по какому-то поводу что-то сказал о морали, вдруг резко пробормотал: “После дела Корнилова у вас нет права говорить о морали”. Со стороны Николаевского это было и “верхом бестактности” и грубостью. Я был удивлен, что Керенский никак не реагировал, промолчал.

Помню, как однажды у нас за чаем, оставшись после заседания Лиги, Керенский в разговоре о мировой войне, рассказал,

как его "целовала целая дивизия". Это было в разгар его все-российской славы. Он приехал на фронт не в окопы, конечно, а в расположение дивизии и произнес перед ней речь, стоя в своем автомобиле. После речи вся, "наэлектризованная" им, дивизия, сломав строй, смяв охрану и кордон, окружавший автомобиль военного министра, ринулась к нему и тут-то и началось "целование целой дивизией". Керенский говорил: — "Знаете, это было черт знает что, я был в полной уверенности, что через полчаса окажусь трупом..."

Как-то, прохаживаясь у нас по большой комнате, Керенский вдруг пропел три слова известного романса — "Задремал тихий сад..." Голос приятный, сильный баритон. "Александр Федорович, — говорю, — да у вас чудесный голос!" Он засмеялся. — "Когда-то учился пенью, играл на рояле, потом все бросил..." И после паузы: "И вот, чем все кончилось..." Я понял это так, что Керенский внутренне упрекает кого-то, может быть, "всю Россию", которая "подвела" его, а он ей отдал все таланты. Потом я спросил А. Ф., не имеет ли он отношения к городу Керенску, где я провел свое детство? А. Ф. подтвердил, что имеет. Его дед (м. б. прадед, точно не помню) был протопопом в керенском соборе. — "А вы знаете, что большевики переименовали Керенск? Он же теперь — Вадск", — сказал А. Ф. Да, я знал, что большевики назвали этот старый уездный городок — Вадск, по реке Вад, на которой он стоит. Переименование, конечно, глупое, но большевикам надо же стирать всякое напоминание о Феврале, о Керенском.

Как-то, когда зашел разговор о моем романе "Азеф" и о боевой организации партии эс-эров, Керенский, улыбаясь, сказал, что в молодости хотел стать террористом и войти в Боевую, но на приеме у Азефа — "провалился". Азеф его не принял.

В 1974 году я напечатал в "Новом Журнале" (кн. 114) записку О. Д. Добровольской (жены последнего царского министра юстиции), которая рассказывала об отношении А. Ф. Керенского к арестованному государю, о его положительном отзыве о государе и т. д. Но в рассказе Добровольской меня больше всего заинтересовало, что почти каждый вечер (а иногда и ночью) к совершенно измученному за день Керенскому при-

ходили два близких ему человека, с которыми он вместе ужинал, обсуждая "текущие дела". Два человека были: — граф Орлов-Давыдов, до революции один из богатейших людей России, его я встречал в Париже и об этом еще расскажу; другой друг Керенского был великий князь Николай Михайлович, историк. Их ежевечерние (или еженощные) приходы к А. Ф. меня интриговали: зачем? почему? И как-то за ужином у общих знакомых я спросил А. Ф. о записке Добровольской и действительно ли приходил к нему вел. кн. Николай Михайлович? О записке Керенский отозвался, как о правдивой, сказал, что Добровольская жила в казенной квартире министра юстиции, и въехав в эту квартиру, как министр юстиции Временного Правительства, он, разумеется, ее не выселил, а оставил жить, как жила, заняв только кабинет и одну комнату. О вел. кн. Николае Михайловиче Керенский с доброй улыбкой сказал: — "Да, это верно. Он приходил ко мне как *Никодим*".

Общеизвестно, что вел. кн. Николай Михайлович, политически весьма разумный человек, в дни распутищины и сухомлиновщины подавал царю записки, предупреждавшие о катастрофе. Но его записки (как и других Романовых) на царя никак не действовали. Династия погибла. Россия рухнула. Ленин расстрелял Николая Михайловича вместе с другими великими князьями. О их освобождении тщетно хлопотал М. Горький. Но Ленин, по Нечаеву, хладнокровно уничтожил всю "великую ектенью". В этих убийствах ему помогал "глава Советского Государства и партаппарата" Яков Свердлов, распорядитель убийства царской семьи. Троцкий пишет, когда он узнал от Свердлова о свершении запланированного убийства, у него, якобы, невольно вырвалось: — "Как, всех?" — "Ну, конечно, всех... в чем дело?" — ответил Свердлов. Это свердловское — "в чем дело?" — остается в истории образцом непревзойденного большевицкого зверства.

Однажды, будучи в гостях у Керенского, я спросил, как ему удалось бежать из Гатчинского дворца, окруженного бушевавшей большевицкой матросней и солдатней, когда казаки ген. Краснова "проголосовали" выдать Керенского большевикам в обмен на свободный пропуск их на Дон. Об этом "бегстве" существовали разные "сплетни", будто Керенский переделся в

костюм сестры милосердия и пр. Керенский рассказал, что этот побег для него самого был неожиданностью. В последнюю минуту к нему в комнату дворца внезапно вошел В. Фабрикант (эс-эр) и принес матросскую форму. Не помню, но сам Фабрикант тоже, кажется, был в матросском. Фабрикант торопил Керенского с переодеванием, ибо всякое "промедление" было действительно "смерти подобно". Переодевшись в матросскую форму, Керенский и Фабрикант (с большим риском для жизни) вышли из дворца, сквозь обольшевиченную толпу прошли на улицу, добрались до Китайских ворот и уехали на подготовленном Фабрикантом автомобиле в подготовленное им же "подполье" — дом в лесу. Кстати, думаю, что этот отчаянный (героический) Фабрикант наверное был в эмиграции? Но я о нем никогда ничего не слышал. И жалею, что не спросил Керенского о судьбе его спасителя.

В другой раз я спросил Керенского: — "А. Ф., а где вы были во время открытия Учредительного Собрания?" Керенский помолчал (таинственно), потом сказал: — "в Петрограде, в подполье". Рассказал, что из "подполья" он хотел загримированный по фальшивому пропуску пройти в Таврический дворец на открытие Учредительного Собрания и выступить там открыто с речью против большевиков. "Связным" между ЦК партии эс-эров и Керенским был Владимир Михайлович Зензинов. Он приходил к Керенскому на конспиративную квартиру. И в ответ на настойчивое желание Керенского пройти в Учредительное Собрание, чтоб выступить там — последовало категорическое "нет" ЦК партии. Эта категоричность отвода столь сенсационного выступления Керенского за свободу России — с речью на весь мир — ЦК партии эс-эров мотивировал тем, что большевицкая солдатня и матросня, якобы, "охраняющая" Учредительное Собрание, в таком случае могла просто открыть сплошной огонь и по Керенскому, и по всем депутатам эс-эрам (их было большинство). И Учредительное Собрание кончилось бы "кровавой баней".

Помню, на Монпарнасе в литературной компании поэт Георгий Иванов как-то сказал, что через сто лет — Керенский — это тема для большой драмы. Не знаю. Так как все "кончилось" — эмиграцией и смертью "при нотариусе и враче" — темы для

драмы, по-моему, нет. А вот если бы Керенский умер в Таврическом дворце, на открытии Учредительного Собрания, во время героической речи за свободу России — от пуля большевицкой сволочи — тема была бы. И даже раньше, чем через сто лет. Но, как известно, всё кончилось довольно позорно и даже, пожалуй, "ридикюльно", без героизма. Председатель Всероссийского Учредительного Собрания Виктор Михайлович Чернов и товарищи эс-эры вместе с большевиками пропели "Интернационал". А потом матрос Железняк предложил Чернову убраться к чертовой матери. Так, Всероссийское Учредительное Собрание исторически и превратилось в "Учредилку".

Наших дедов мечта невозможная,
Наших героев жертва острожная,
Наша молитва устами несмелыми,
Наша надежда и воздыхание, —
— Учредительное Собрание, —
Что мы с ним сделали...?

Граждански-верно писала Зинаида Николаевна Гиппиус.

(Продолжение следует)

Роман Гуль

South Jamesport, 1981

*

Куда-то плыть осенними туманами
И задремать и вдруг проснуться:
Оранжевыми инопланетянами
Полно летающее блюдо.

Они покачивают длинными антеннами
И всё здесь кажется им странным:
Им непривычно плыть туманами осенними
Навстречу варварам землянам.

И поборов естественную ксенофобию,
Они кричат: "Людишки, здрасьте!
Вы созданы, хи-хи, по образу-подобию
Всевышнего? Вы это бросьте!"

И уверяют голосами очень тонкими:
"Самообман смешон, опасен!"
И машут угрожающими перепонками,
И улетают во-свояси.

Мы не Аггилы, не Калигулы, не Дракулы;
Но и на Бога непохожи?..
Да, но пускай нам это скажут ангелы,
Сияя в небе светлом, Боже.

Игорь Чиннов

*

Я разломил китайское печенье
С билетиком внутри; мудрец Конфуций
В нем заповедал: избегай эмоций
И презирай житейское волнение.

Мне китайка подала чоп-суи
И вонтон суп — китайские пельмени
И про билетик пискнула, что все
Всегда и всюду избегать волнений.

И я задумался о смысле жизни
И что такое время и пространство
И долго шел осенней ночью поздней
По улице уныло протестантской.

И вдруг я оказался, легче ваты,
В китайском умозрительном пейзаже.
Под узловатой веткой угловато
Серела цапля, тонкая, на страже.

И водопадом наклонялась ива,
В зеленом камыше пестрела утка.
На озере не колебалась лодка,
В которой я задумался лениво.

Сокрыла цаплю синяя прохлада,
Плод размышлений оказался горек.
Мы навестили фанзу, где у входа
Светился темно-розовый фонарик.

А выйдя из нее, опять предались
Игре трансцендентальных медитаций
И показал логический анализ,
Что сердце мира стало синей птицей

Игорь Чиннов

ДАР ПОБЕДЫ

Мы, победители, вошли в старинный немецкий город. Меня и двух сослуживцев поселили в пострадавшем от бомбардировки пустом доме. Моим приятелям это понравилось: они легко заводили знакомства, и жилище на отлете было удобным местом для свиданий. Каждый день они приводили новых женщин. У нас был хлеб, консервы, шоколад, табак, вино, словом все, чего у них не было. И это наше превосходство служило приманкой для голодных, измученных потерями немцев.

Я любил и уважал женщин, и поведение моих сослуживцев считал недостойным. Поэтому между нами часто возникали неприятные разговоры. Мое заступничество они называли "сочувствием фашистам" и силились убедить меня в том, что, наоборот, я веду себя недостойно!

Плохо живется на свете людям, имеющим совесть. Однажды я видел, как наш жирный офицер, на своих коротеньких ножках, подбежал к группе пленных и стал бить по лицу высокого, тонкого немецкого офицера, у которого даже руки были скручены за спиной веревкой. Я был возмущен! Но что если бы я заступился за немецкого офицера? Как посмотрели бы на меня наши? В лучшем случае посчитали бы сумасшедшим, а в худшем — м. б. расстреляли? По законам того времени моя совесть должна была молчать.

Мне часто приходилось слышать: русский народ — рабы. Я — русский. Но почему же я не раб общего мнения и пропаганды? Почему во мне всегда встает бунт против хамства и бесчестия? В тот далекий день, когда со мной произошло невозможное, я с особой силой задавал себе этот вопрос, потому что утром приятели с жаром убеждали меня тоже "обзавестись зверьком" (как они

называли проходящих к нам на приманку женщин). В конце довольно наглых описаний своих удовольствий, они назвали меня большим неврастеником, маменькиным сынком и еще черт знает чем, и я ушел на службу с тягостным чувством злобы и неприязни.

После обеда, часа в три, я возвращался к своему жилищу. Город походил на археологические раскопки. Словно муравьи, люди копошились на своих развалинах. Тачки, грузовики, полные мусора, — на каждом шагу. Встретился огромный негр в форме летчика. Бросал бомбы, а теперь маленькая, худая немка бежит за ним вприпрыжку и силится заслужить кусок хлеба, банку консервов.

Приятелей своих я встретил у самого дома. Они только что спустились с лестницы, вышли на улицу. Первый в улыбке выставил свои длинные зубы. Голова у него была конусом, веснушки такого же цвета, как выбивающиеся из-под пирожка волосы. Второй был потолще, поувесистей и походил на негра, выкрашенного в белый цвет.

Прежде чем заговорить, первый подмигнул второму. Второй повеселел, раздул ноздри и фыркнул. Первый спрятал зубы и положил руку на мое плечо, сказав: — В нашей комнате для тебя сюрприз в виде дамочки женского пола. Зверек не успел одеться. Спешите! — Из рта его веяло жвачкой. Вторым, покрывая его слова смехом, возразил: — Напрасно ты, напрасно сказал, ги-ги-ги, он неврастеник, ги-ги-ги, будет ждать на улице. Хи-хи-хи, если бы бабу положить перед его носом, да еще попридержать ее и то неизвестно... хи-хи-хи..... — Нет, правда, — сказал первый, — не дурачься, других наград не предвидится, бери что дают, не пожалеешь. Это я ее нашел. Замечательная. — Врешь, это — я, — отозвался второй и они пошли от дома.

Бросив вслед им несколько ругательств, я решил дожидаться выхода нежелательной особы на улицу. Ждать было неприятно, скучно. И мне показалось, что они выдумали эту женщину, чтобы поставить меня в глупое положение. И я начал подниматься по лестнице. Ступеньки были испещрены мучнистыми следами. На старых, выцветших следах, лежали новые, на новых новейшие. Вдруг промелькнул след, остановивший меня. Это были следы женских туфелек. И уже ничто не могло остановить меня. Я всегда любил подниматься по лестнице, когда впереди шла женщина. Вместо женщины теперь шли только ее следы, но мне уже мере-

шила и она сама: я почти видел ее стройные ноги, видел платье, слышал шелест его.

В коридоре доски, тюфяки, рамы заслоняли окно. Было совсем темно. Инстинктивно я уже понимал, что темнота мне выгодна, потому что в нашей комнате всегда горит свет и если я приоткрою дверь со света в темноту, она не увидит меня. Я присел на корточки и посмотрел в замочную скважину. С той стороны торчал ключ. Набравшись храбрости, я осторожно приоткрыл щель шириной в половину моего глаза. На моей койке, правой стороной ко мне, сидела действительно настоящая женщина. Чтобы в этом увериться, мне пришлось сначала серьезно подумать: не сон ли это? И не то еще только было поразительно, что она здесь — слишком хороша она была, слишком превосходила красота ее мое воображение. Я видел падающие с наклоненной головы густые, вьющиеся волосы. Черный чулок скрывал наготу ее ноги. Пленительно расширяясь, он дошел почти до бедра. И как похорошела эта тряпка, когда получила стройное очертание ноги. Вдруг, быстро прикрыв оставшееся между чулком и началом живота место, женщина откинулась и быстро посмотрела на дверь. Из голубых ее глаз меня насквозь пронзили голубые лучи. В ее взгляде была тревога. Я затаил дыхание и несколько секунд, пока она смотрела, не дышал. Она меня не увидела, успокоилась и принялась одеваться дальше. Темнота коридора, как я и предчувствовал, мне пригодилась. Каждая подробность одевания заставляла меня видеть то обнажающееся, то пропадающее в сиянии тело. Наконец белый лифчик поглотил сияние, руки потянулись за спину искать застежку. Медлить дальше было невозможно, могло все пропасть.

Есть прекрасный полевой цветок — "львиная пасть". Таким цветком стало ее лицо, когда я, распахнув дверь, ворвался в комнату. Было в нем именно что-то от львицы, преображенной в цветок. Она вскочила с постели, лифчик упал, рубашка держалась на одном плече, а с другого съехала, ноги в черных чулках стояли на полу плоско, лишённые обычных высоких каблуков. Это делало ее ниже ростом, доступнее. Словно лютого врага своего я подхватил ее под колени, под плечи и бросил на койку. Нечто вроде мести чувствовал я в себе. Да и действия мои были похожи на месть за доставляемые мне красотой ее тела страдания. Она почти не сопротивлялась. Только когда я жаждал губ, она не давала их и

отворачивалась то вправо, то влево. Но под конец и это последнее сопротивление прошло. Ресницы закрытых глаз вздрогнули, губы полураскрылись, спящая она издала легкий стон пробуждения и судорожно сдвинула меня в объятьях, сначала коленями, а потом руками и вся прижалась ко мне.

Когда я встал на ноги, мне было так легко и приятно, что хотелось танцевать от восторга. Но это быстро прошло. Почти в ту же минуту я застыдил себя своего поступка. Мне почувствовалось, что я обидел женщину, запачкал, унизил. Пришла в голову мысль извиниться, поговорить. Она лежала отвернувшись к стенке. Рубашка возвышалась на бедре, западала в талии, открывала плечо и часть спины. Из золотых волос выступал острый локоть. Я видел косточки лопаток, позвоночника. Видел худобу: волшебное сияние пропало. Мне стало скучно, оттого что все чудесное стало обыденным. На столе стояла ее кошелка и в кошелке лежали консервы и кусок хлеба. Подачка моих приятелей. Грубой и страшной представилась мне жизнь. Как просто все, как жестоко. Подчиняясь необходимости, я достал из шкафчика все, что там было, и положил в кошелку: банку мясных консервов, банку сгущенного молока, плитку шоколада. Больше ничто не задерживало меня в комнате. Только тут я увидел, что распахнутая мной дверь так и осталась распахнутой. Я вышел и плотно закрыл ее за собой.

На дворе только что прошел дождик. От солнечного блеска (на лужах) было больно глазам. На колокольне часы проббили восемнадцать раз. Очевидно время старалось убежать от бомбардировок войны, да так и осталось убегающим на много часов вперед. На моих часах было четыре. Встретаться с приятелями не хотелось, да и вообще с людьми. Лучше всего было бы пойти в городской сад. Побывать наедине с деревьями, с травой, с цветами было бы очень кстати для моего состояния. Я вообразил себе целительное благоухание, после дождя, когда солнце горит над садом. До сада было рукой подать. И я было уже направился туда, но вдруг остановился и пошел в другую сторону, туда, где город был превращен бомбами в груды камня и щебня. Этот крутой поворот объяснялся отвращением к тому, что, по слухам, происходило в саду. Там на газоне валялись жестянки из-под консервов, бутылки, окурки, коробки из-под сигарет, презервативы. Туда черные приводили белых женщин. А раньше там по ночам расисты выводили в

расход изменниц арийской расе. Женщинам между ног вбивали кол, прикрепляли к нему записку, с назиданием другим.

Среди развалин было тихо. Из развалин, словно скелеты, выступали здания. Обгорелые, зияющие черной пустотой окна без стекол, входы без стен, всё в черных трещинах по бетону, по кирпичу. Словно в подземный грот, вошел я и увидел груды беспорядочно наваленных книг. Взял одну, другую, посмотрел, бросил. То, что писалось в этих книгах, было кончено. Я снова вышел на воздух. Выбрав место, уселся на камне. О своем "преступлении" старался не думать.

Грело солнце, пустыня, где когда-то суетились люди: бегали по магазинам, по делам, враждовали, дружили, читали газеты, ели, пили, спали... Мысли погрузили меня в особое состояние. Я ни о чем не думал. Я даже как бы вовсе разучился думать. Но какие-то мысли помимо воли бежали сквозь меня и уходили, не оставляя в памяти ни малейшего следа. Нечто вроде передаточной станции представлял я собой. Если бы я мог их выразить, вероятно, получилось бы бесформенное бормотанье. Не знаю, сколько времени длилось такое состояние. Минут десять...

Вывел меня из него белый мотылек. Я увидел, как он перепархивает с камня на камень. Вот уже зарождается новая жизнь, глядя на мотылька, подумал я. И трава выбивается из-под мертвых груд. И стал я думать о том, что лет через сто (не будь людей) все города превратились бы в дикие леса. И стал себя спрашивать: зачем же люди? Делают ли они что-нибудь нужное для земли? Для природы? Мне казалось, что люди совершенно не нужны, что без них было бы лучше. Кто бы догадался в животном мире вбивать кол в женский орган, бросать бомбы, резать небо следами самолетов, казнить себе подобных за то, что они думают иначе. Кто бы выдумал деньги? И зачем при всем этом ужасе писать книги, музыку, поэзию? Кроме людей, кому нужны толстые своды законов, которые сводятся к тому, что защищают одних людей от других? Весь мир живет по неписаным законам, только люди по писаным, выдуманном. Может быть, это не вяжется с тем, что я сам человек, но мне было приятно мечтать об отсутствии людей в природе. Кроме себя самих, они ведь никому не нужны. Фактически они паразиты. Да ум, ум — огромный. Но чему служит этот огромный ум? Себе самому?

Я хотел бы остаться здесь, в пустыне, хотел бы не возвращаться назад к людям. Но желанья одно, а жизнь другое, и, взглянув на часы, я увидел, что пора подчиняться необходимости.

Она успела, конечно, давно одеться и уйти. К счастью, все кончено, и только я да она знаем, что было.

У меня тайна, впервые — тайна. С совестью почти успокоенной я вошел в комнату и вдруг ужаснулся, так поразила меня пустота. Почему, почему ее нет? Покинутым, одиноким почувствовал я себя. Мне было так тяжело, будто от меня ушла любимая жена. Страсть и любовь очищают все. И я бросился целовать грязную подушку и одеяло моей койки. Вернулось очарование. Будто я снова смотрел в шелку двери и все, что видел тогда, становилось в воображении еще более пленительным.

Я, сидящий на камне среди развалин, и я, вернувшийся в комнату на место своего преступления, — тот же я, — но они оказались лютыми врагами. Я не мог простить самому себе своего непонимания, своей глупости. Как мог я эту замечательную встречу упустить? Уйти, оставить на произвол судьбы ту, которая дала мне полное наслаждение? И новый удар получил я в самое сердце: на столе я увидел свою банку мясных консервов, плитку шоколада и банку сгущенного молока. Подарки моих приятелей она унесла, а все то, что положил ей я в кошелку, вынула и оставила. И вот меня охватило желание, во что бы то ни стало найти ее. Но, не зная ее адреса, это было невозможно.

Я пошел просто бродить по городу. Вечерело, а я все продолжал бродить — из улицы в улицу, из переулка в переулок, с площади на площадь. Иногда мне казалось: вон она там зашла за угол или вышла из-за угла. Ускорив шаги, я догонял ее и разочаровывался. Я и в церковь заходил. Наведывался к нашим кухням, у которых скапливались женщины в надежде получить остатки, даже просто помои; хотя приказано было населению ничего не давать, но иной раз попадались повара, слушающиеся приказа.

Когда я вернулся к себе ночью, первый спросил меня: где шатался? Мне не нужно было отвечать, потому что за меня ответил второй: — Он ждал, чтобы она ушла и, действуя наверняка, притащился ночью. — А теперь мешает нам спать, — сказал первый. Не успел я раздеться, как они оба захрапели.

На другой день я продолжал безрезультатные поиски. Захо-

дил даже в городской парк. Город маленький, думал я, не может же быть, чтобы она никуда не выходила?

На четвертый день нас перебросили в другое место. С тех пор прошло двадцать лет. Долгий срок помог мне понять, что если бы я был прозорливее, умнее и опытнее, так глупо кончившаяся история могла бы завершиться совсем иначе. Но ошибки всегда виднее, когда их нельзя уже исправить.

А. Величковский

*

Приду ли я? Он ждёт меня в сомненьи.
Открыт его чердак моей мечте.
Но лестница как будто в пустоте,
Хотя видны манящие ступени.

И вот по ним в несказанном волненьи
В крошечной поднимаюсь темноте.
Всё выше — и шаги уже не те,
И спотыкаюсь и болят колени.

Ужель дошла? Лучи блеснули света.
О Боже, как мне дверь знакома эта!
Стучусь... Опять стучусь. Но только грозно

Одно молчанье отвечает мне.
И где-то голос слышен в вышине:
"Да, ты пришла, но слишком, слишком поздно".

А. Тулунова

Ренэ Герра

Важная, сановная старуха —
Было ей уже под шестьдесят
И она, почти лишившись слуха,
Подставляя слышащее ухо,
Часто говорила невпопад.
Так меня сердито поучала:
— ”Бросьте старость зря хвалить!
Чтоб о старости судить —
Надобно сначала до нее дожить.
Старость — Божье наказание,
Мерзость, безобразие, страданье!
Я теперь уродлива и зла,
А ведь я красавицей слыла
И была добра и весела,
И как вы любила зеркала. —
Вам и дела нет до смерти,
А она с отточенной косой
Неотлучно день и ночь со мной.
Нет, не спорьте. Уж поверьте
И для вас настанет срок —
Скрутит старость вас в бараний рог
И тогда не так вы запоете”.
Полстолетия прошло с тех пор
Но я помню этот разговор,
Все ее тогдашние слова —
Не она, а я была права.
Я теперь сама уж на отлете
И могу по опыту сказать:
Старость торжество и благодать,
Тишина, очарованье,
Ласковый вечерний свет,
А не Божье наказание —
Я все та же, что была.
Да, конечно, спора нет
Износилась очень я снаружи,

Но от этого не стала хуже.
И люблю, как прежде, зеркала.
Как Алenuшка под ивой
Чувствую себя счастливой.
И по-прежнему во сне и наяву
С наслаждением живу.

*

Вечер дышит волшебством,
Небо празднично прозрачно,
Звезды светят с высоты.
По реке скользит ладья,
В ней с тобою мы плывем
Прямо к сказочному раю,
Хоть в него не веришь ты.
— Хочешь, прикажу ершу
Превратиться в соловья?
Хочешь, звезды потушу?
Ведь могу и это я,
Если пожелаю.
Как когда-то братья Гримм
Я читателям своим
Сказочность преподношу
И бренчу для них на лире
О земном прекрасном мире.
Оптимично, анти-мрачно
Я для них стихи пишу —
Правда, не всегда удачно.

Ирина Одоевцева, 1981

ИГРА В БИЛЬЯРД

Берия знал, что вождю надо проигрывать, что он и делал, несмотря на то, что вождь замечал это и сердился.

Однажды Берия решил выиграть...

Бильярд был для Сталина не только развлечением, но и необходимостью. Врачи давно обратили внимание на то, что его левая рука начала сохнуть. Между прочим, загадка этой руки для историков не разрешена и по сей день. Вероятнее всего, она была повреждена еще в детстве. (Отец-пьяница бил Сосо как сидорову козу.) И вот, по предписанию врачей вождь дважды в неделю парился в русской бане, специально для этого построенной на его даче "Ближняя", а после этого шел играть в бильярд со своим маркером Ахметом, шуплым старичком-татаринком. Они обычно играли две-три партии в "Американку" или одну партию в "Пирамидку". Во время игры разговаривали, конечно, "про жизнь", и Сталин жаловался Ахмету на "большевиков", на "психов" из ЦК, вздыхал и восклицал:

— Ах, Ахмет, чего только они не придумают! Как людям жить с ними? Без их контроля ведь ни шагу не сделаешь...

Ахмет дипломатически отмалчивался. Но как-то татарин посоветовал вождю снизить цены на продовольствие и промтовары. И после этого Сталин действительно, решением Совета Министров СССР и ЦК КПСС, снизил цены на соль, спички и велосипеды, в среднем на 2,5 процента.

Играя на этот раз с Берия в "Пирамидку", Сталин сразу понял, что он проигрывает и начал улыбаться и хвалить Берия.

— У вас кладка чекиста, Лаврентий Павлович. Любо дорого смотреть как вы вгоняете шары в лузы. Ну прямо не шары, а человеческие черепа вы вгоняете в лузы... а?

Берия принял это за комплимент и положил еще шар, хорошо отыграв биток. Чем лучше он играл, тем чаще Сталин расплывался в улыбке и превозносил Берия. И тот чуть было не решил отныне только выигрывать. Но к концу Сталин вдруг сказал:

— Позволительно спросить, товарищ Берия, правда ли, что вы в молодости, будучи уже оперуполномоченным ГПУ, ходили следом за красивыми тифлисскими бабами, заманивали их в подворотни и темные парадные, и лапали их там, угрожая своим чекистским званием?

Берия смутился, потому что это было правдой, но категорически заявил, что это клевета и инсинуация. Все эти годы, с момента переезда в Москву, он больше всего старался контролировать те источники, которыми пользовался вождь, помимо его, Берия, информации. Однако тот узнавал многое самостоятельно и часто ставил Берия в тупик, получая от этого большое удовольствие.

После игры в бильярд, Сталин предложил маршалу вместе поужинать. Пили вино "Александраули", которое вождь предпочитал другим и которое специально профильтровывалось в специальном цехе одного из винных заводов "Самтреста", под наблюдением работников МГБ, ели цыплят "табака", приготовленных самим Сталиным, ну и грузинский хлеб, конечно. Как всегда, Берия смешил вождя анекдотами, он был неисчерпаем в этом смысле, и никогда не повторялся. В тот вечер Берия рассказал о старике грузине, который перед смертью завещал своему сыну заветный бокал, сказав: "Сыночек, я выпил из него целую цистерну вина, теперь ты — пей, но пей только с этой стороны, — старик показал на внешний, ближний к нему край бокала, — и никогда не пей с другой стороны, — и старик указал на внутренний, дальний от него край бокала". "Почему, папа?" — спросил сын. "Какой же ты дурачок! — воскликнул старик. — Да ведь если ты будешь пить отсюда, то все вино польется не в рот, а на колени..."

Берия продемонстрировал это с порожним бокалом. Сталин

заохотал, небрежно бросив:

— Ох, Лаврентий, Лаврентий, ваши анекдоты глупы, но смешны.

Потом они вместе пели. Берия знал много грузинских песен и был музыкален. Сталин же имел небольшой, но приятный голос и, учась в семинарии, пел в хоре.

Словом, засиделись до полуночи. И в течение этого времени ни разу вождь не вспоминал об игре в бильярд и о проигранной им партии. Когда же часы пробили двенадцать, Сталин сказал:

— Ну а теперь поедем в Москву.

В Кремле вождь провел Берия к себе в кабинет, усадил в кресло, а сам направился к сейфу. Все это было сделано без всяких объяснений и Лаврентий, зная характер Сталина, ожидал подвоха, мучительно стараясь предугадать как повернется дело.

Открыв сейф и порывшись в нем, вождь достал несколько листов бумаги и пробежал их глазами. Потом, улыбаясь, он приблизился к Берия, сел напротив, и сказал:

— Вот давно хочу задать вам один вопрос.

— Какой? — голос маршала чуть дрогнул.

Сталин не торопился; водя глазами по строчкам первого документа, явно получая от этой процедуры удовольствие, он продолжал:

— Известно ли вам кем был товарищ Эрик Бедия, во времена, когда вы, Берия, были первым секретарем Закавказского краевого комитета нашей партии?

— Эрик Бедия? — маршал старался выиграть время.

— Да, да, Эрик Бедия, — повторил вождь.

— Конечно, Иосиф Виссарионович, он был у меня зав. агитпропом.

— Эрудит, профессор и так далее. Словом, голова, да?

— Он был интеллигентный человек, с солидным марксистским багажом.

— Ах вот как... с солидным марксистским багажом, — Сталин ухмыльнулся. — А не поэтому ли вы его... убили?

— Что? Я? Убил? Бедия? Иосиф Виссарионович, батоно, что вы говорите, — Берия сделал все для того, чтобы придать своему удивлению или даже возмущению правдоподобный характер.

Но сердце его екнуло.

— Не надо этих слов, Берия, вы же не на сцене. Вам незачем разыгрывать все это передо мной; перед другими — валяйте, но не передо мной. Я же вас насквозь вижу. И вы это знаете, — и вождь более суровым голосом добавил: — Вот в соответствии с неоспоримым документом вы, вы лично убили Бедия. И произошло это так. Я вам напомню как это произошло. Только не перебивайте меня. Вы получите потом слово для оправдания, хотя оправдания и нет.

— Иосиф Виссарионович, батоно...

— Помолчите, батоно, — встав и пройдясь по кабинету, поправив усы, вождь начал: — В тысяча девятьсот тридцать пятом году, вы, товарищ Берия, выступили на партийном активе в Тбилиси с докладом на тему: "К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье". Этот доклад, позднее, был напечатан отдельной книгой и вошел теперь в число классических произведений марксизма-ленинизма-сталинизма. Собственно, это в известной мере и открыло вам дорогу на наш советский Олимп. В общем, вы правильно осветили роль товарища Сталина в истории революционного движения начала века. Правда, за рубежом да и некоторые внутри страны считают, что ваш труд — просто фальсификация. Но открыто об этом не говорят. Боятся. Я же считаю, что в основном ваш труд заслуживает внимания. Конечно, вы во многом переборшили, Берия, и, безусловно, в докладе есть элементы фальсификации, но всякая история, написанная спустя пятьдесят лет — фальсификация. Пересмотр фактов, переистолкование их. Не так ли?

— Гм-м, так...

— Я повторяю, в целом, в главном вы правильно осветили роль товарища Сталина в истории революционного движения начала века. Вы это сделали в интересах партии, в интересах укрепления авторитета партии. Вы поступили по-партийному, Лаврентий Павлович. Вы внесли ценный вклад в сокровищницу коммунизма. Но вопрос заключается в следующем: вы ли это сделали? Вы ли являетесь автором книги и доклада? Кто написал его? Вы?

Вопрос был поставлен прямо в лоб, он прозвучал для Берия, как выстрел, пригвоздивший его к стене.

— Я...

— Нет, не вы. Вы его прочитали на активе. И, говорят, хорошо прочитали, с темпераментом, размахивая обеими руками. И вы назвали автором, но написали его не вы.

А кто же?

— Два человека. Эрик Бедия и Петре Шария.

— Неправда! Ложь! Это ложь, Иосиф Виссарионович, это мои враги распускают слухи, это Маленков старается...

— Причем тут Маленков? Нет, это идет не от Маленкова. И это правда.

— Я же... я же работал над этим докладом три месяца, не вылезал из архивных документов, я же...

— А вот это ложь! — перебил Сталин. — Из архивов не вылезали эти три месяца Бедия и Шария.

— Иосиф Виссарионович, я не отрицаю, что Бедия и Шария кое в чем помогли мне, я использовал их советы, и не только их...

— Не валяйте дурака, Берия. Вы не такой человек, чтобы слушать чьи-либо советы. Вы приказали Бедия и Шария написать доклад и превознести в нем роль товарища Сталина. Кстати, и Бедия и Шария, как и вы, мингрельцы. Собственно, Бедия был, был мингрельцем, теперь он уже наверное сгнил до тла в своей могиле. А Шария и нынче при вас, как ученый еврей при губернаторе. Он же в свое время окончил институт красной профессуры... Но вернемся к факту убийства.

— Я не убивал Бедия, — уже раскиснув, трусливо произнес маршал.

— В соответствии с неоспоримой информацией, Эрик Бедия выпивал и любил таскаться по всяким высокопоставленным блядам. И вот как-то после выпивки в какой-то женской компании он взял да и ляпнул: "Нет, не Берия, а я с Шария написали доклад о Сталине". Ну, разумеется, это начало циркулировать по Тбилиси и дошло до вас. Вы вызвали к себе Эрика и, стукнув кулаком по столу, закричали: "Ты сказал блядам, что это не я, а ты и Шария написали доклад 'К истории большевистских организаций в Закавказье'?" Бедия отрицал свою вину. Между вами завязался спор. Вы назвали Бедия мерзавцем и ударили его по лицу. Бедия не выдержал и залепил вам в ответ пощечину. Тогда вы выхватили из ящика письменного стола револьвер и

выстрелили в него. Трижды.

— Не было этого... не было... — Берия побледнел и уже потерял волю к самозащите.

— Было. Бедия умер в больнице. Не пришел в сознание...

В этот момент в голове маршала промелькнула мысль: "Откуда он узнал об этом? Кто информировал его? Эрик же не пришел в сознание. В кабинете никого не было. Все было обставлено так, что Бедия покончил жизнь самоубийством. Неужели врачи все же открыли факт трех выстрелов?"

— После этого Петре Шария ходил перед вами на цыпочках. Вы арестовали и сослали в отдаленные края жену и детей Бедия, объявив его "врагом народа". Концы были брошены в воду. Так или не так?

— Нет... нет, я не убивал Бедия. Он сам... он сам застрелился... — одними губами прошептал маршал.

— Теперь о Шария.

Берия подумал: "Но что он знает о Шария? Что он может инкриминировать о нем? В отношении Шария все было чисто..."

— Петре при вас. Ваш референт. Ваш помощник. Верный человек. Не так ли? Красный профессор. И он никогда никому не говорил, что это он был автором доклада. Смерть Бедия, вернее его убийство, научило его молчанию до гробовой доски. Но известно ли вам, Лаврентий Павлович, что ваш "ученый еврей" верит в Бога?

— Что-о? Петре верит в... Бога?

— Да, Петре верит в Бога. Он очень интересная личность. Он верит в загробную жизнь.

Не может быть!

Он вам об этом не говорил?

Мне? Нет, конечно.

Да, как же он мог вам это сказать... — Сталин рассмеялся, — вы же верите только в черта!

— Иосиф Виссарионович, кто вам сообщил о том, что Шария верит в Бога? Это немыслимо. Он же убежденный и отлично подготовленный марксист.

— Об источниках моей информации я никогда никому не говорю, товарищ маршал Советского Союза, но то, что ваш марксист Шария верит в загробную жизнь, так это факт, —

вождь пробежал глазами несколько строчек на втором листе бумаги, который он держал в руках и продолжал: — Прежде всего, знаете ли вы то, что Шария пишет стихи?

— Нет...

— Ну вот, как видите у него не одна жизнь, а две: партийная и поэтическая. А может быть, у него есть еще десяток других жизней. Он же очень интересная личность. Я, знаете ли, Берия, в молодости тоже увлекался стихами. Что в этом дурного? Вы когда-либо их писали?

— Только неприличные, — признался маршал.

— А вот Шария написал целую поэму. Поэму о загробном существовании. Я ее не читал. Но мне обещали достать весь текст. Когда я его получу, я дам вам для ознакомления. Дело в том, что в прошлом году, как это не печально, у Петре Шария от менингита умер сын. Мальчик, десяти лет. Это, конечно, огромная потеря. Не так ли?

— Да, да, конечно. Я знаю об этом. Петре переживал смерть сына очень глубоко. Я послал на похороны цветы.

— Хорошо сделали. А Петре переживал это так глубоко, что вот... поверил в Бога. В своей поэме он написал о встрече с сыном в загробном мире...

Истязания продолжались еще с час. Сталин закончил разговор с Берия так:

— Вы же понимаете, Лаврентий Павлович, что с вами будет, если я обнаружю эту информацию на заседании Политбюро.

Берия уехал к себе в министерство абсолютно уничтоженный. Ему казалось, что карьера его кончена, что Сталин сжал его горло смертельными клещами и что спасения нет. Он даже подумал о самоубийстве, но в то же время где-то еще теплилась надежда, прежде всего потому, что что-то похожее, такого же рода издевательства уже имели место и прежде и потому, что, как Берия показалось, документы с информацией об убийстве Бедия и о богоискательстве Шария, наверное, лежали у вождя в сейфе не один месяц (ведь Бедия был убит более десяти лет назад). Правда, положив оба документа обратно в сейф, Сталин достал оттуда несколько ордеров на аресты, составленных точно по форме, подписанных генеральным прокурором, с печатями. И были эти ордера изготовлены по распоряжению вождя: на

Молотова, Ворошилова, Кагановича и Хрущева.

— Они у меня могут в любой день "зазвенеть", — сказал Сталин. — Их головы висят на волоске. Молотов связан с американскими сионистами, через свою жену, а Ворошилов работает на англичан. Что касается Хрущева, то он же японский шпион.

Да, Берия давно знал о том, что вождь имел в сейфе ордера на аресты всех своих учеников и соратников, в том числе, быть может, и Берия.

И маршал ничего не был в силах сделать. Он был полностью в руках Сталина. Он сидел у себя в кабинете, смотрел на большой портрет великого вождя, висевший перед ним на стене, и одними губами повторял:

— Что б ты подох, старый индюк, что б ты подох...

Потом он вызвал Шария.

Петре был невысок ростом, плотный, уже с животиком, переваливавшийся с боку на бок, как утка, с красным сытым лицом и красивыми грузинскими усиками и еще густыми волосами на голове. Он был в темно-синем костюме, с аккуратно повязанным галстуком.

— Садись, идиот! — грубо бросил Берия.

Шария поджал губы и понял, что сейчас он получит нагоняй, но за что он еще, разумеется, не знал.

— Слушай, сукин сын, я понимаю, что ты переживал смерть сына, я не зверь, я это понимал и понимаю, но... из-за смерти сына ты вдруг... взял и поверил в Бога. Как ты мог это сделать? Как ты мог поверить в Бога? Ты же коммунист, ты же марксист...

Я не верю в... Бога, — ответил, побледнев, Шария.

— Не ври! Врешь! В загробную жизнь веришь!

— Лаврентий, батоно, это не правда... кто тебе набрехал?

— Кто набрехал? Вождь! Великий вождь народов мира! Ему известно о том, что ты написал целую поэму о твоей встрече с сыном в загробном царстве. Ну, написал эту поэму? Только не ври мне! Ну!

Шария опустил голову и тихо произнес:

— Написал.

— А он же атеист, вождь, понимаешь, атеист. Мне, в конце

концов, наплевать, веришь ты в Бога или нет. Помнению вождя, я верю только в черта, и он, наверное, прав. Но ты, идиот... как это дошло до него? Он сказал, что пришлет мне текст твоей поэмы. Кто-то у нас тут информирует его... Кто? Он еще сообщил мне, что доклад "К истории большевистских организаций Закавказья" написал не я, а ты и Эрик Бедия...

Оба ломали голову, пытаюсь заподозрить кого-либо из окружения в том, что он шпионит в пользу Сталина.

— Ну ладно, иди... я не знаю, что будет... посмотрим, что вождь скажет завтра...

Но вождь сказал не завтра, а в ту же ночь. Через час зазвонил правительственный телефон и Поскребышев соединил Берия с "самим". И маршал услышал голос вождя:

— Знаете, Лаврентий Павлович, я вот подумал, что если бы русский царь Иван IV был бы поумнее и ликвидировал бы еще две-три сотни боярских семейств, то на Руси и не было бы смутного времени. Учтите, маршал, сие обстоятельство в вашей дальнейшей работе.

Сталин любил повторять это, об Иване IV, боярах и смутном времени.

Но Берия ожил. "Сие" же означало, что все происшедшее у Сталина в кабинете останется без последствий, то есть, между ним и вождем.

Однако Сталин, ничего не сказав о Бедия, сказал несколько слов о Шария. Во-первых, он предложил маршалу на время отправить Петре в Грузию, назначив его секретарем ЦК компартии Грузии по пропаганде.

— Пусть он там отдохнет и еще напишет стихи...

А во-вторых, Сталин сказал:

— Насчет Бога же, передайте Шария, товарищ Берия, что Бога нет. Вот капиталисты на меня в обиде, а им надо быть в обиде на Бога. Если бы Бог был, то я в свое время исполнил бы желание моей матери и стал бы священником.

Ю. Кротков

*

На закате сижу,
Замечтавшись устало.
В зеркала погляжу —
И грущу, как бывало.

Здравствуй, детская лень,
Златовласка, грустинка!
Ляжет меркнувший день
Чуть заметной морщинкой.

Поздним жаром горя,
Все никак не потухнет,
Молодеет заря
В окнах спальни и кухни.

Разалевшись за-зря,
С каждым годом печальней,
Ах, как рдеет заря
В окнах кухни и спальни!

Поздним солнцем даря,
С каждым днем все больше,
Все сильнее заря
За окном пламенеет.

Впрочем, сетовать лень,
Я и пальцем не двину:
Пусть не прожитый день
Ляжет жесткой морщиной.

Лия Владимирова

АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ ИННОКЕНТИЯ АННЕНСКОГО "МОЯ ТОСКА"

Дабы не вводить читателя в заблуждение, сразу хочу очертить контуры того поэтического разбора, который пойдёт ниже. Анализом поэтического текста сейчас занимаются многие. Анализы бывают хорошие и плохие, но сейчас мне хочется остановиться не на качествах того или иного анализа как такового, а на самом подходе к проблеме. В большинстве случаев при разборе стихотворения исследователь изо всех сил старается представить читателю не логический анализ поэзии, а эмоциональный, старается передать читателю через восторженно поэтическую прозу своё впечатление от поэтического текста. Естественно, что такой анализ требует от анализирующего не только понимания поэзии, но и собственного виртуозного писательского мастерства. Да и что скрывать, публике чаще всего нравятся именно такие разборы, где автор даёт картину своего блестящего понимания тонкостей поэзии и своим красочным слогом настолько заражает читателей, что им начинает казаться, будто всё им сказанное — неопровержимая истина. К сожалению, под красотой описания часто скрывается непонимание, а порой и грубое, ни на чём не основанное искажение смысла стихотворения. Однако уличить такого исследователя-импрессиониста в том, что он выдаёт желаемое за действительное, бывает зачастую довольно трудно в силу одного немаловажного обстоятельства: поэтический текст (и это одно из его основных свойств) может иметь не одно, а несколько непротиворечивых толкований, отправные точки которых — разные смыслы — сосуществуют в нём. Критик-импрессионист

чаще всего выбирает одну, главную, с его точки зрения, тему стихотворения и бросает все краски своей палитры на ее восхваление. При этом он руководствуется вполне здоровой мыслью: каждый берёт от поэзии то, что он может взять. В результате вместо логического анализа текста анализирующий демонстрирует свое эмоциональное восприятие и богатство его переливов.

Другой постоянной ошибкой исследователей является неразличение жизни поэта и его творчества, поэта-человека и лирического героя его стихов, попытка связать эти две стороны существования поэтической личности воедино, найти причины и внешний повод для каждого творческого акта, привлечь различные высказывания поэта в прозе, в жизни, в письмах и т. п. к объяснению мироощущения, выраженного в его поэзии. Спору нет, иногда эти две стороны личности бывают довольно близки, но часто они имеют мало общего, а иногда и кардинально расходятся (Фет, Некрасов, Брюсов).

Лозунг: "Поэту надо верить не только в стихах, но и в его непозитических высказываниях" — следует принимать с большой осторожностью, а иногда и отвергать. В противном случае мироощущение лирического героя автора, т. е. его поэтическое "я" станет равным его мировоззрению.

Здесь для дальнейшей ясности нам необходимо строго разграничить термины мироощущение и мировоззрение. Мировоззрение — это логическое, аналитическое отношение человека к действительности, мироощущение же эмоциональное, чувственное её восприятие. Мировоззрение человека, определяющее его поведение в реальной жизни, может не совпадать с его поэтическим мироощущением или с мироощущениями его лирических героев. Даже к высказываниям самого поэта о своей поэзии нужно подходить с осторожностью. Иногда поэт в своём дневнике или в письме к другу говорит о том, что он хотел сказать в данном стихотворении, но удалось ли ему это сказать, мы ещё не знаем. Поэтому исследователь прежде всего должен в своём разборе идти не "от автора", а "от текста", посмотреть, что дает читателю сам художественный текст, а не слова автора (или его современников) о тексте.

И, наконец, сделаем ещё одно разграничение. Анализ поэтического текста и его оценка — не одно и то же. Анализ

раскрывает лишь степень оригинальности поэтической структуры — это понятие логическое. Оценка же — величина колеблющаяся и переменная, зависящая от вкусов читателей данной эпохи, от их эмоционального настроения, эстетических идеалов времени, политических и культурных веяний, общественного мнения, моды и многих других факторов, не поддающихся точному измерению.

Стихотворение "Моя Тоска", посвященное поэту М. А. Кузмину, одно из самых сложных у Анненского. Оно было написано 12 ноября 1909 года, всего за три недели до смерти поэта и оказалось его последним поэтическим произведением.

Бывают стихотворения, смысл которых не всегда прозрачен, но которые представляют собой отдельные поэтические творения, не имеющие непосредственных глубинных органических связей с другими стихами поэта. Для их анализа необходима и достаточна сама их текст. В некоторых же случаях знание текста не является достаточным, исследователь для анализа должен привлекать затекстную информацию, рассматривать данный текст на фоне более или менее широкого контекста, без которого смысл стихотворения иногда просто непонятен. Минимальным контекстом для понимания данного стихотворения может оказаться контекст цикла стихов, контекст сборника, контекст всего творчества автора, контекст поэтического направления, или даже контекст поэзии данного периода. Для понимания стихотворения "Моя Тоска" в качестве минимального контекста требуется контекст тех произведений поэта, в которых раскрываются основные черты его поэтического мироощущения.

В одной из своих статей о поэзии во "Второй книге отражений" Анненский писал: "Поэты говорят обыкновенно об одном из трёх: или о страдании, или о смерти, или о красоте". С универсальностью этой формулы вряд ли можно согласиться, однако к творчеству самого Анненского она приложима: все три темы в его поэзии прочно связаны одна с другой, образуя некое слияние. Иннокентий Анненский — поэт предельно цельный и последовательный в своём мироощущении. Сам поэт иронизировал над тем, что литературные критики непременно пытаются

говорить о философских взглядах поэтов, у которых зачастую и нет никаких философских взглядов. И действительно философские взгляды (читай мировоззрение) не высказываются ни в одном стихотворении Анненского. Нигде не представляет он какого-либо глубокого осмысления жизненных процессов, не делает всеобъемлющих выводов о Боге и человеке, не поучает и не морализирует, почти не касается социальных проблем; он скорей недоумевает, задавая себе, Богу, и своей музе вопросы, на которые он не может найти ответа в этой жизни. Иннокентий Анненский не философ — он лирик. Но лирик определённого толка, мало похожий на других лириков в русской поэзии до него. Лирика Анненского — это лирика умирания. Умирание — одна из основных тем его поэзии, однако тема сложная, встречающаяся не в чистом виде, а в слиянии с темами любви, муки и красоты. Умирание по Анненскому и есть то, что другие почему-то называют жизнью. Ибо для поэта, начиная с розового детства, и человек, и все его чувства, и вся окружающая его природа — вообще всё в этом мире — уже обречено на умирание. Зная об умирании, всё время ощущая его, поэт не может наслаждаться ни яркостью и красотой бьющей через край жизни, ни грандиозностью Божественного замысла. Вернее, мысль о том, что всё проходит, всё неминуемо кончается смертью, отравляет это наслаждение, превращая жизнь в муку:

Когда б не смерть, а забытьё,
 Чтоб ни движения, ни звука...
 Ведь если вслушаться в неё
 Вся жизнь моя не жизнь, а мука.

Иль я не с вами таю, дни?
 Не вяну с листьями на клёнах?
 Иль не мои умрут огни
 В слезах кристаллов растоплённых?

Иль я не весь в безлюдье скал
 И чёрном нищенстве берёзы?
 Не весь в том белом пухе розы,
 Что холод утра оковал?

(Когда б не смерть, а забытьё...)

Лирический герой Анненского ни в один из моментов своей жизни не может воскликнуть: "Остановись мгновенье, ты прекрасно!", так как для него не существует прекрасного мгновения. Вернее, в его мироощущении это мгновение амбивалентно, в нем одновременно заложено и прошлое (то есть утраченная красота, которая не вернётся) и ещё более чреватое утратами будущее. Однако в этом моменте есть еще одна важная составная часть — мимолётная красота, красота обречённая, но особая, неповторимая, красота, которая сладко томит и теснит сердце, вызывая сложное чувство, которое трудно выразить словами и которое Анненский часто называет тоской. Очень ярко выражена эта идея ускользающей красоты в стихотворении "Тоска миража". Лирический герой представляет свою встречу с любимой. Зима, он и она едут в санях навстречу друг другу. Сани встречаются и тут же разъезжаются. Всё длилось лишь миг. Но вот что интересно, герой ещё до того, как сани поровнялись думает об этом миге не как о моменте встречи, а как о моменте расставания:

Уж вот они, снежные дымы,
С них глаз я свести не могу:
Сейчас разминуться должны мы
На белом, на мёртвом снегу.

Встретиться для героя это и есть разминуться. Он одновременно испытывает и счастье ожидания встречи и муку от сознания бесполезности этого ожидания — сложное чувство — тоска миража:

Сейчас кто-то сани сам сцепит
И снова расцепит без слов.
На миг, но томительный лепет
Сольётся для нас бубенцов...

Он слился... Но больше друг друга
Мы в тусклую ночь не найдём...
В тоске безысходного круга
Влачусь я постылым путём.

Мгновение счастья — "томительный лепет бубенцов" — кончилось. Впереди "тусклая ночь", "постылый путь", "тоска безысходного круга".

В этом стихотворении есть ещё одно загадочное действующее лицо — это Кто-то. Кто-то управляет нами, Кто-то предопределяет нашу судьбу. Однако лирический герой Анненского не может понять внутреннюю логику действий Кого-то, его часто охватывает тоска-недоумение почему всё происходит так нелогично, непонятно, зачем?

Для чего, когда сны изменили,
Так полны обольщений слова?
Для чего на забытой могиле
Зеленей и шумнее трава?

Для чего эти лунные выси,
Если сад мой и тёмн и нем?..
Завитки её кос развились,
Я дыханье их слышу... зачем?

Говоря о поэтическом мироощущении Анненского, крайне важно отметить его метания, колебания и мучительные сомнения, связанные с вопросом разрешения “постылого ребуса бытия”. В чем смысл жизни, для чего мы живём, почему нас всё время томит и дразнит другая, высшая, неземная красота, приходящая иногда в слияние с красотой земной, есть ли что-нибудь за физической смертью, или за ней ничто? Казалось бы, христианская религия давала Анненскому ясные ответы на все проклятые вопросы — в жизни он был последовательным христианином. Однако в поэтическом мироощущении поэта эти вопросы так и не были разрешены. Поэт метался между двумя полюсами — страхом смерти и надеждой на возможное слияние с тем, что может быть существует за ней. Эти метания и отразились в его стихах.

Когда поэту казалось, что после смерти ничего нет, страх смерти превращался в навязчивую идею. Тема смерти и похорон начинала зловеще звучать, и это звучание становилось для поэта невыносимым. Смерть становилось для него отрицанием жизни, безнадежным, безысходным, а потому жестоким и бессмысленным. Вообще во всех “похоронных” стихах Анненского ужас перед смертью полностью вытесняет христианское понятиеuspения — радость приобщения души к Богу. Вот одно из таких

стихотворений:

БАЛЛАДА

День был ранний и молочно парный,
Скоро в путь, поклажу прикрутили...
На шоссе перед запряжкой парной
Фонари, мигая, закоптили.

Позади лишь вымершая дача...
Желтая и скользкая... С балкона
Холст повис, ненужный там... но спешно,
Оборвав, сломали георгины.

«Во блаженном...» И качнулись клячи:
Маскарад печалей их измаял...
Желтый пес у разоренной дачи
Бил хвостом по ельнику и лаял...

Но сейчас же, вытянувши лапы,
На песке разлегся, как в постели...
Только мы, как сняли в страхе шляпы
Так надеть их больше и не смели.

...Будь ты проклята, левкоем и фенолом
Равнодушно дышащая Дама!
Захочу — так сам тобой я буду...
— «Захоти, попробуй!» шепчет Дама.

Стихотворение начинается с описания дня. В цветовой символике Анненского молочно-парный, т. е. туманный, белый, часто означает предшествующий или сопутствующий умиранию. Впрочем, собственно из текста этого стихотворения читатель не получает такой коннотации, день просто не солнечный, пасмурный. Здесь нужно остановиться на проблеме читательского восприятия при первом прочтении поэтического текста. При чтении нехудожественного текста или тривиального художественного, читательское восприятие направлено только в одну сторону — сверху вниз. Если при прочтении стихотворения путь читательского восприятия сверху вниз был гладким — без помех, остановок, неожиданностей и возвращений, другими словами, если при этом движении сверху вниз читатель не получил

никакой новой смысловой, эстетической или эмоциональной информации, то стихотворение тривиально и первое его прочтение оказывается в большинстве случаев последним (если только его не берут в качестве примера того, как не надо писать). Наоборот, если путь читательского восприятия был сложен, происходил равнонаправленно с остановками и возвращениями, обогащая при этом читателя новой информацией, то конец первого прочтения означает начало нового, и если после каждого нового прочтения происходит некоторый прирост информации, это означает, что чтение не кончено, что читатель ещё вернётся к данному поэтическому тексту. Под информацией я подразумеваю не только логическую и эстетическую, но и эмоциональную информацию, которую читатель всегда получает при прочтении стихотворения, которое ему нравится. При этом стихотворение становится как бы частичкой жизни человека; некоторые внешние раздражители могут вызывать в сознании отдельные строчки, наполняя их новым содержанием, иногда далёким от первоначального. Стихотворение из мёртвой структуры становится структурой живой, способной развиваться и видоизменяться во времени и пространстве. Но вернёмся к читательскому восприятию стихотворения ”Баллада” при первом его прочтении.

Вторая строчка стихотворения: ”Скоро в путь, поклажу прикрутили...” еще не даёт читателю ключа к пониманию его смысла. Читатель воспринимает пока только поверхностную структуру стиха. Кому-то нужно скоро отправиться в путь, вероятно, по какому-то срочному делу. Кто-то куда-то везёт какую-то поклажу; может быть, это товар, который везут на рынок, может быть, люди переезжают. По-видимому, поклажа — это что-то довольно тяжёлое и громоздкое, так как, чтобы она не сползла, её прикрутили верёвками к повозке.

Третья и четвёртая строчка оставляют читателя в недоумении — зачем зажгли фонари? Может быть, туман такой сильный, что встречная повозка могла натолкнуться на них?

Позади лишь вымершая дача...

Желтая и скользкая... С балкона

Холст повис, ненужный там... но спешно,

Оборвав, сломали георгины.

Да, вероятно переезжают. Оставляют дачу, где живут летом и переезжают в город. Но почему спешно? Почему оставили висеть на балконе холст от солнца? Если он не нужен теперь, почему его не убрали? Почему сломали цветы, отчего такое небрежное и неаккуратное отношение к своим цветам? И вообще почему такая непонятно-тягостная атмосфера, такие зловещие краски: коптящие фонари, жёлтая и скользкая вымершая дача, ненужный холст, сломанные стебли цветов?

“Во блаженном...” — эти первые два слова следующего четверостишия дают вспышку, озаряющую в сознании читателя всю картину. Всё, прочитанное прежде, предстает в сознании читателя в другом свете, наполняется новым содержанием. Происходит своеобразная перекодировка текста. “Во блаженном успении и живот и покой...” — это начальные слова одной из заупокойных молитв православного отпевания. Значит, это — похороны. Скоро в путь — скоро в последний путь, поклажа — гроб, фонари вовсе не из-за тумана, это фонари, которые по обычаю несут впереди катафалка, дача вымерла, потому что умер её хозяин, холст от солнца ему уже никогда не понадобится, георгины спешно оборвали для гроба. Безличные формы глаголов “прикрутили” и “оборвали” подчеркивают мысль, что бывший владелец дачи уже не властен над жизнью. Действует не “он”, а “они” и не жизнь, а смерть отдаёт “им” свои распоряжения.

Итак, с молитвой двинулась похоронная процессия:

«Во блаженном...» И качнулись клячи:

Маскарад печалей их измаял...

Это “качнулись клячи” с высшей степенью точности даёт нам как зрительное, так и эмоциональное ощущение момента. Это начало замедленного траурного движения передано глаголом “качнулись”, т. е. пришли в еле заметное для глаза движение. Процессия медленная, то есть торжественная, но фактически торжествует Смерть, а все остальные устали, измучены и испуганы, как люди, так и лошади, вернее клячи. “Клячи” — это не просто синоним к нейтральному “лошади”, кляча — это старое, усталое, измученное, покорное животное. Словосочетание “качнулись клячи” соединено внутренней аллитерацией,

существительное "кляча" фонетически как бы входит в звуковую структуру "качаться", клячам так же свойственно качаться, как скажем птицам — петь (глагол "петь" фонетически входит в существительное "птица") или свету · светить. Попробуйте заменить здесь слово "клячи" на слово "кони" (которое вполне подходит здесь и логически и ритмически) и поэтический эффект исчезнет, потому что семантическая структура слова "конь" включает в себя такие признаки, как "добрый", "сытый", "гладкий", "быстрый", "ретивый" и т. д., то есть те признаки, которые идут вразрез со смыслом данного отрывка, нарушают стройность картины. Замечу, что и звуковой эффект словосочетания "качнулись клячи" не просто звуковой эффект "для красоты", а приём, оправданный всем смыслом и строем предыдущего контекста. Но, пойдём далее.

Почему "маскарад печалей"? Ведь маскарад — это что-то неестественное, ненастоящее, неправдошное; маскарад — это игра, ложь, где маски вовсе не соответствуют истинному настроению и сущности их носителей. Значит люди, пришедшие на похороны не испытывают печали? Не странно ли такое положение вещей, не необычно ли? Что же это за бесчувственные изверги пришли на похороны? Дальнейший контекст стихотворения даёт нам ответ на наши вопросы. Вероятно у покойного не было близких родственников, жены или детей, и после его смерти в этой даче уже никто не будет жить из его близких. Дача вымерла. Единственным близким существом для хозяина был жёлтый пёс (вспомним цветовую символику Анненского, жёлтый — отцветающий, старый, тронутый тлением, готовый к смерти, но еще живой и по своему красивый). Только он один ещё не понимает, что произошло и в недоумении бьёт хвостом по ельнику и лает, нарушая традиционный и соблюдаемый всеми траурный этикет — одну из составных частей маскарада похорон. Таким образом, испытывать настоящее горе, глубокое, а не показное — некому. Печаль же друзей, а скорее всего просто знакомых покойного, даже если она и есть, вытеснена более активным и сильным чувством, чувством страха смерти.

Только мы как сняли в страхе шляпы,
Так надеть их больше и не смели.

Во время похорон реакцией на смерть могут быть два чувства, испытываемые чужими людьми: "Он умер, а я жив" (вспомним "Смерть Ивана Ильича" Толстого), или "он умер, и я тоже умру". Лирический герой Анненского испытывает последнее. Отсюда и жуткий страх смерти и отчаянный вызов Даме-Смерти, брошенный ей в лицо:

...Будь ты проклята, левкоем и фенолом
Равнодушно дышащая Дама!
Захочу — так сам тобой я буду...

Но это только бравада. Бросающий вызов знает и сам, что это лишь жест отчаянья, храбрость обречённого, бунт бессильного против грозной Дамы-Смерти, Дамы торжествующей, Дамы-победительницы, Дамы с большой буквы. Поэтому так насмешливо шепчет Дама-Смерть расхрабравшемуся от страха герою: "Захоти, попробуй!" — то есть "Ничего у тебя не выйдет. Я возьму тебя тогда, когда я этого захочу! Ты в моей власти!" Таким образом, герою, кроме проклятья, ничего не остаётся в борьбе со смертью. Выхода нет.

В ещё более мрачных красках описана смерть в стихотворении "Чёрная весна". Отметим, что "черный" — один из любимых эпитетов у Анненского — означает мёртвый, лишённый естественных красок жизни — голубой и розовой, и даже красок умирания — жёлтой и золотой. Особенно ярко эпитет чёрный "играет" в оксюморонных сочетаниях, то есть в тех случаях, когда у объекта предполагается наличие своего постоянного "живого" цвета, не включающего черный, и не ассоциируемого с ним: чёрный огонь (а не красный или голубой), чёрный снег (не белый), чёрные небеса (не синие), чёрный костёр, чёрная берёза, чёрные раны и т. п. В стихотворении "Чёрная весна" все стилистические средства находятся в сочетании, образуют конвергенцию, направленную на создание жуткой атмосферы: звучит не траурный оркестр, а раздаются "гулы меди", не просто "несли гроб", а "гробовой творился перенос" из гроба "жутко задран" "глядел"!! восковой нос. Это употребление глагола "глядеть" для мертвой части тела, которой и при жизни не было свойственно это качество, вызывает физиологически неприятное чувство, связанное со страхом смерти. Вместо глаз глядит... нос. А глаза?

Глаза мёртвые, они превратились в студень.

Детали природы также образуют конвергенцию, они действуют заодно, дополняя друг друга и направлены на создание параллелизма, составляющего облик "чёрной весны": тёмно-белый снег, рыхлый путь, мутная изморозь, облезлые крыши, бурые ямы, мертвенные поля. Из живой природы отмечены позеленелые лица и разбухшие крылья птиц. Правильный выбор деталей — прием квантования действительности — весьма характерен для Анненского. По деталям, данным в художественном тексте, читатель легко воссоздает оставшуюся за текстом картину действительности.

Отметим, что часто используемый без видимых причин многими поэтами поэтический приём "анжамбман", или перенос, в данном тексте вполне оправдан — он подчёркивает торжественность и медлительность похоронного обряда:

"Под гулы меди — гробовой
Творился перенос."

Мы уже отмечали выше, что смерть, трактуемая как конец всего, очень часто присутствует в стихотворениях Анненского. Однако не менее часто мы встречаемся с темой сомнения, мучительного колебания и надежды на что-то, что находится за порогом смерти. Неудачи и разочарования жизни можно не принимать в счёт, если есть другая жизнь Там, не похожая на жизнь Здесь:

Но отрадной до рассвета
Сердце дрёмой залито,
Всё простит им... если это
Только Это, а не То.
(То и Это)

"Это" — то есть земная жизнь со всей её грязью, обманом и пороками — не может, не должна кончиться просто так — смертью. Может быть, всё-таки есть какой-нибудь иной выход.

В стихотворении Июль (сонет второй) при виде спящих землекопов, поэт ужасается тому, во что жизнь превратила людей:

И абрис ног худых меж чадного смешенья
Всклоченных бород и рваных картузов.

Не страшно ль иногда становится на свете?
Не хочется ль бежать, укрыться поскорей?
Подумай: на руках у матерей
Всё это были розовые дети.

Выход — приобщение к другому измерению, к вечной Красоте.

Необходимо отметить, что если у других поэтов мы встречаем прославление жизни (жизнь — это красота), то в мироощущении Анненского жизнь противопоставлена красоте, жизнь — грубость, вторгающаяся в красоту, нарушающая красоту, убивающая её. Отсюда мысль о том, что жизнь — антоним красоты. Жизнь — это некрасота. Недаром в одном из стихотворений Анненский сравнивает её с трактиром:

Муть вина, нагие кости,
Пепел стынущих сигар,
На губах — отравы злости,
В сердце скуки перегар.
(Трактир Жизни)

Только природа в этом земном существовании является носителем Красоты, и то далеко не вся, далеко не везде, а только там, где "сапожищи жизни грубо не оставили следов".

Описание красоты природы у Анненского — это никогда не самоцель, как у многих его современников, — это лирическое переживание "тоскующего я", тоска по уходящей красоте, связанная со страхом смерти. В связи с этим крайне редко мы можем встретить у Анненского природу буйную, расцветающую, полную жизни, праздничную. Если такие строчки и встречаются, то они единичны и являются лишь инструментальной другой темой:

Давно меж листьев налились
Истомой розовой тюльпаны,
Но страстно в сумрачную высь
Уходит рокот фортепьянный.
(Он и Я)

Розовый или алый цвет — цвет жизни встречается еще и в стихотворении “Маки”:

Весёлый день горит... Среди сомлевших трав
 Все маки пятнами — как жадное бессилье,
 Как губы, полные соблазна и отрав,
 Как алых бабочек развёрнутые крылья.

Однако во второй части стихотворения говорится о смерти маков. Сад, в котором они росли, — пуст и глух, “давно покончил он с соблазнами и пиром”, т.е. пиром жизни, а сами маки засохли и стали похожи на головы старух.

В большинстве же случаев Анненский описывает именно умирание природы, умирание земной красоты; при этом он недоумевает: зачем, кому надо это умирание? Ускользящая красота вызывает у поэта чувство тоски, с одной стороны по исчезающей красоте, а с другой стороны, по красоте вечной, пути к которой для поэта неисповедимы. Одно из характерных произведений этой темы — стихотворение “Листы”.

На белом небе всё тусклей
 Златится горняя лампада,
 И в доцветании аллея
 Дрожат зигзаги листопада.

Кружатся нежные листы
 И не хотят коснуться праха...
 О, неужели это ты,
 Всё то же наше чувство страха?

Иль над обманом бытия,
 Творца веленье не звучало,
 И нет конца, и нет начала
 Тебе, тоскующее я?

В этом стихотворении, как в капле воды, отражается всё мироощущение Анненского. Жизнь — это умирание, а жизнь природы — доцветание, при котором с особой, болезненной, предсмертной яркостью вспыхивает уходящая красота красота мимолётности. В этом (как и во многих других стихах) у поэта

чёткое противопоставление верха и низа: солнца — источника жизни, и земли — колыбели смерти. Причём источник жизни всегда оказывается слабее, исчезает, догорает, а смерть всегда выходит победительницей. В стихотворении "Листы" "горняя лампада" златится всё тусклей. Листы находятся между жизнью (солнцем) и смертью (землёй, прахом). Они знают, что они обречены, что они должны погибнуть, однако же они противятся своему падению, боятся этого естественного и в то же время неестественного, непонятного, а потому и страшного перехода из живого состояния в прах. Переход в середине стихотворения от описания природы к описанию чувств человека очень характерен для Анненского. Вернее, это переход из поверхностной структуры в глубинную, посредством приёма антропоморфизации, ведь листья и люди — это одно и то же перед тайной страшного перехода; "тоскующее я" проявляется во всем живом, то есть обречённом на умирание. Однако поэт замечает и любит красоту, сопутствующую этому переходу. Эта красота и есть то, для чего стоит жить. Обычный эпитет у Анненского для этой красоты — золотая, золочёная. Золотая и потому, что насыщена яркими красками осени, и потому, что угасающее заходящее солнце золотит её своими последними лучами. Эпитеты золотой, золочёный и их производные характерны для многих стихотворений Анненского: раззолочённые сады (Сентябрь), раззолочённые листья (Электрический свет в аллее), золотая одежда (Еще один), золотится сад (Одуванчики), золото фонтана (Зимний поезд) и т. д. Стихотворение "Май" целиком построено на игре золотого цвета:

Так нежно небо зацвело,
 А майский день уж тихо тает,
 И только тусклое стекло
Пожаром запада блистает.

К нему прильнув из полутьмы,
В минутном млеет позлащеньи
 Тот мир, которым были мы...
 Иль будем в вечном превращеньи?

И разлучить не можешь глаз

Ты с пыльно-зыбкой позолотой.
Но в гамму вечера впелась
Она тоскующею нотой.

*Над миром, что златим огнём,
Сейчас умрёт, не понимая,
Что счастье искрилось не в нём,
А в золотом обмане мая.*

Что безвозвратно синева,
Его златившая, поблёкла...
Что только зарево едва
Коробит розовые стёкла.

Золотой означает здесь недолговечный, минутный, тающий. Позлащение мира — минутное, его позолота — непрочная, пыльно-зыбкая, готовая вот-вот рассыпаться, раствориться в черноте ночи, сам мир, златимый огнём, сейчас исчезнет, умрёт, счастье мира — это "золотой обман", минутная красота.

В стихотворении "Сентябрь", прочитав первую строку: "Раззолочённые, но чахлые сады", мы уже знаем, что сулит эта позолота, раззолочённые — читай умирающие. Вновь появляется знакомый нам образ бессильного источника жизни: "И солнца поздний пыл в его коротких дугах/ Невластный вылиться в душистые плоды". Опять мы видим противопоставление нежной красоты природы и грубости вторжения в неё жизни: "И жёлтый шёлк ковров, и грубые следы". И далее переход из поверхностной структуры в глубинную:

И понятая ложь последнего свиданья
И парков чёрные, бездонные пруды,
Давно готовые для спелого страданья.

В то же время в поэтическом мировоззрении Анненского эта зыбкая красота мига, красота трав и цветов, и есть то, что следует ценить превыше всего. Когда поэт думает о том, что взял бы он с собой из этой жизни в жизнь небесную (если таковая есть), он останавливает свой выбор на красоте природы:

Я не возьму воспоминаний,
Утех любви пережитых,

Ни глаз жены, ни сказок няни,
 Ни снов поэзии златых,

Цветов мечты моей мятежной
 Забыв минутную красу,
 Одной лилеи белоснежной
 Я в лучший мир перенесу
 И аромат и абрис нежный.
 (Ещё лилии)

Красота земной природы была так любима Анненским, потому что он считал её отражением Красоты небесной, той Красоты, о которой он ничего не знал, но страстно желал верить в её существование, а когда верил, готов был простить жизни все её пороки:

А если грязь и низость — только мука
 По где-то там сияющей красе...
 (О нет, не стан)

По этой красе поэт и тоскует, а также и по тому миру, в котором она сияет. О существовании этого мира, в который он то верит, то не верит, знают только тени, но они не хотят открыть поэту его тайну:

И я лежал, а тени шли,
 Наверно зная и скрывая,
 Как гриб выходит из земли
 И ходит стрелка часовая.
 (Бессонница ребёнка)

Однако Анненский всё время чувствует, знает на чувственном уровне о существовании другого измерения, "иной среды", в которой мы живём душой, а не телом. Этот иной мир легок, чуток и зыбок, его легко спугнуть, он без боя уступает любому натиску земного мира, но всё же иногда мы касаемся его. Одно из лучших стихотворений на эту тему — "Свечку внесли".

Не мерещится ль вам иногда,
 Когда сумерки ходят по дому,
 Тут же возле иная среда,

Где живем мы совсем по-другому?

С тенью тень там так мягко слилась,
Там бывает такая минута,
Что лучами незримыми глаз
Мы уходим друг в друга как будто.

И движеньем спугнуть этот миг
Мы боимся, иль словом нарушить,
Точно ухом кто возле приник,
Заставляя далекое слушать.

Но едва запыхает свеча,
Чуткий мир уступает без боя,
Лишь из глаз по наклонам луча
Тени в пламя сбегут голубое.

Эти мимолётные встречи с миром иным порождают в душе Анненского чувство, которое он определяет словом Тоска с большой буквы. В отличие от тоски любовной, тоски разлуки с любимой, тоски одиночества, которая служила источником вдохновения для многих русских поэтов, тоска Анненского — это томление души по другому миру, по неземной Красоте, по тем слияниям земной и небесной красоты, которые он знал, но которые были так мимолётны. Это также и тоска недоумения перед загадкой природы, тоска неспособности, бессилия человека разгадать её.

С одной стороны, Тот, другой мир постоянно даёт поэту знать о себе, подаёт ему тайные знаки, непонятные другим:

Бывает час в преддверьи сна,
Когда беседа умолкает,
Нас тянет сердца глубина,
А голос собственный пугает.
(В открытые окна)

А с другой стороны, он так зыбок и мимолётен, что поэт не успевает ничего понять, да был ли этот мир, может быть это не мир, а только мираж?

Хочу ль понять, тоскою пожираем

Тот мир, тот миг с его миражным раем...
 Уж мига нет — лишь мертвый брезжит свет.
 (Чёрный силуэт)

И всё же в самые лучшие, в самые светлые моменты поэт верит в слияние (одно из любимейших слов и центральных понятий в мироощущении Анненского), в слияние с вечной Красотой, отзвуком которой служит красота земной природы, потому и любимая поэтом, что он понимает её как залог этого слияния. Эта любовь к природе, однако, не такая как у всех; обычно люди любят природу как составную часть красоты жизни, красоты жизненных усад. Для Анненского же жизненные усады не имеют цены, так как красота жизни — красота ложная, обманная, не красота, а скука. И если другие люди мечтают о рае, где всё будет так, как в жизни, только без страданий и забот, поэт такой рай презирает:

Оставь меня. Мне ложе стелет Скука
 Зачем мне рай, которым грезят все?
 А если грязь и низость только мука
 По где-то там сияющей Красе...

Этой сияющей Красе, вернее её зыбким отражениям в этом мире, и посвящает поэт свою Любовь.

У Анненского есть несколько стихотворений о любви, но ни одно из них не посвящено любви к женщине. Вообще таких стихотворений о любви, которые у других поэтов объединяются под рубрикой "любовная лирика", у Анненского нет. Что же это за любовь у Анненского, любовь к чему?

Я люблю замирание эха
 После бешеной тройки в лесу,
 За сверканьем задорного смеха
 Я истомы люблю полосу.

Зимним утром люблю надо мною
 Я лиловый разлив полутьмы,
 И, где солнце горело весной,
 Только розовый отблеск зимы.

Я люблю на бледнеющей шири
 В переливах растаявший цвет...
 Я люблю всё, чему в этом мире
 Ни созвучья, ни отзвука нет.
 (Я люблю)

Как видим, любовь Анненского ничего общего не имеет ни с любовью телесной, сексуальной, ни с любовью человека к человеку вообще. Это любовь к земным знакам неземной Красоты:

Я люблю только ночь и цветы
 В хрустале, где дробятся огни,
 Потому что утехой мечты
 В хрустале умирают они...
 Потому что — цветы это ты.

”Ты” здесь конечно же не женщина, а Неземная Краса Анненского, отражающаяся в цветах и игре света в хрустале. Вообще хрусталь, цветы и драгоценные камни — слабость Анненского, его истинная привязанность. Игра света в камнях, его искры и переливы укрепляют веру поэта в величие Божественного замысла, а следовательно и в слияние:

Когда сжигая синеву
 Багряный день растёт неистов,
 Как часто сумрак я зову,
 Холодный сумрак аметистов.

Но чтоб не знойные лучи
 Сжигали грани аметиста,
 А лишь мерцание свечи
 Лилось там жидко и огнисто.

И, лиловея и дробясь,
 Чтоб уверяло там сиянье,
 Что где-то есть не наша СВЯЗЬ,
 А лучезарное СЛИЯНЬЕ...

Впрочем, была у Анненского и другая любовь, другая привязанность, хоть и тесно связанная с Неземной Красотой. Этой второй любовью Анненского была Поэзия.

Поэзия — это та же ускользающая красота, вечная погоня за идеалом, практически недостижимым. Вспомним эпиграф к "Тихим песням" — первому сборнику поэта:

Из заветного фиала
 В эти песни пролита,
 Но увы! не красота...
 Только муки идеала.

Поэзия недостижима, так как она есть только муки идеала, поэзии можно "молиться", "любить туман её лучей", ради неё можно забыть и бросить всё — лишь бы быть в её вечном поиске:

Чтоб в океане мутных далей
 В безумном чаянье святых,
 Искать следы её сандалий
 Между заносами пустынь
 (Поэзия)

Поэзия как и любое другое творчество есть высшая ступень самовыражения, то есть деятельность, ведущая к слиянию с неземной Красотой. Поэзия — это путеводная Звезда Анненского, его спасение от грозной и грубой жизни:

Среди миров, в мерцании светил
 Одной Звезды я повторяю имя...
 Не потому, чтоб Я Её любил,
 А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
 Я у Неё одной молю ответа,
 Не потому, что от Неё светло,
 А потому, что с Ней не надо света.
 (Среди миров)

Однако Поэзия, творчество, это не только любовь, но и мука, вернее слияние любви и муки. Любовь к Поэзии включает Тоску по идеалу, Муку поиска Красоты, и Страдание от сознания неполноценности своих стихов — детей Поэзии, но детей, далёких от слияния с неземной Красотой, а потому детей ушербных, детей-калек:

Нет, им не суждены краса и просветленье;
Я повторяю их на память в полусне,
Они — минуты праздного томленья,
Перегоревшие на медленном огне.

Но всё мне дорого — туман их появленья,
Их нарастание в тревожной тишине,
Без плана, вспышками идущее сцепленье:
Мое мучение и мой восторг оне.

Кто знает, сколько раз без этого запоя,
Труда кошмарного над грудой листов,
Я духом пасть, увы! я плакать был готов,

Среди неравного изнемогая боя;
Но я люблю стихи — и чувства нет святей:
Так любит только мать, и лишь больных детей.

(Третий мучительный сонет)

Теперь, когда мы познакомились с основными понятиями поэтического мироощущения Иннокентия Анненского, рассмотрим стихотворение "Моя Тоска"

Пусть травы сменятся над капищем волненья,
И восковой в гробу забудется рука,
Мне кажется, меж вас одно недоуменье
Всё будет жить мое, одна моя Тоска...

Нет, не о тех, увы! кому столь недостойно,
Ревниво, бережно и страстно был я мил...
О, сила любящих и в муке так спокойна,
У женской нежности завидно много сил.

Да и при чем бы здесь недоуменья были —
Любовь ведь светлая, она кристал, эфир...
Моя ж безлюбая — дрожит, как лошадь в мыле!
Ей — пир отравленный, мошеннический пир!

В венке из тронутых, из вянущих азалий
Собралась петь она... Не смолк и первый стих,
Как маленьких детей у ней перевязали,
Сломали руки им и ослепили их.

Она бесполоя, у ней для всех улыбки,
 Она притворщица, у ней порочный вкус
 Качает целый день она пустые зыбки,
 И образок в углу — сладчайший Иисус...

Я выдумал ее — и всё ж она виденье,
 Я не люблю ее — и мне она близка,
 Недоумелая, мое недоуменье,
 Всегда веселая, она моя тоска.

В первой строке метафора "капише волненья" означает "земная жизнь", посюстороннее существование со всеми волнениями, присущими человеку, но волнениями земными, не духовными — ведь капише — это дохристианский, языческий храм. "Травы" — это тоже метафора, означающая то новое, что придёт на смену старому, вероятно новые годы или новые поколения. При таком прочтении предметно-логическое содержание первого четверостишия будет следующее: Пусть пройдут годы и другие люди будут охвачены волнениями жизни и пусть все забудут мой физический облик (восковая рука здесь выступает в роли синекдохи), кое-что от меня останется жить среди вас, это кое-что — моя Тоска. Читателю не сразу понятно, о какой тоске говорит автор. У поэтов-современников Анненского это слово часто употреблялось в смысле любовная тоска, такое употребление находим еще у Пушкина:

Тоска любви Татьяну гонит,
 И в сад идёт она грустить...
 (Евгений Онегин)

Поэтому читатель, незнакомый с мироощущением автора, мог пойти по этому ложному пути, хотя слово "недоуменье", данное как синоним к слову "тоска" в четвёртой строке, является своеобразным сигналом неверности подобного истолкования. Поэтому во втором четверостишии поэт разъясняет читателю, какую тоску он имеет в виду. Нет, это не любовная тоска, не тоска о женщинах, страстно любивших его, может быть и незаслуженно. Да и стоит ли беспокоиться о женской любви, она сумеет сама постоять за себя, ведь у неё завидно много сил. В следующей строфе поэт даже сердится, что его могут непра-

вильно истолковать. Ведь он же сказал основное слово, выражающее его мироощущение — “недоумение”. А какие же недоумения могут быть в любви? Здесь всё ясно и понятно. Ведь любовь прозрачна, она светлая, “она кристалл, эфир”. Нет, это не женская любовь. Но пойдём дальше.

А дальше не всё становится понятно. Смысл следующей строки представляет для читателя некоторую трудность. К чему относится “Моя ж безлюбая”? Безлюбая любовь, или безлюбая тоска? По-видимому, синтаксически более правильно прочтение “тоска”. Отметим, что после слова “эфир” поставлено тире, означающее перебой темы, возвращение к предыдущей мысли. Значит, это не любовь, это тоска — безлюбая тоска. Однако мы уже знаем, что Тоска Анненского — это и есть его Любовь, любовь не к людям, а к ускользающей Красоте, любовь противоречивая, любовь — недоумение — страх.

В следующей строчке слово “пир” — метафора, означающая “пир жизни”, “пир наслаждений”. Однако для Тоски Анненского этот пир наслаждений — пир мошеннический, отравленный. Наслаждение отравлено незнанием, колебаниями, сомнениями, недоумением. Тоска Анненского дрожит в этом мире не от предвкушения любовных наслаждений, а от какого-то другого чувства. От страха? Дрожит, как лошадь в мыле. Заметим, что лошадь бывает в мыле не по своей доброй воле, а потому что её загнали. Но почему вдруг такое необычное, идущее вразрез с другими художественными приёмами сравнение, для чего такая грубая материализация образа: тоска — сложное чувство сравнивается с загнанной в мыле лошастью? На данном этапе анализа это остаётся непонятным и нам приходится допустить, что это сравнение выпадает из стройного набора структурных элементов текста, вернее, что оно чуждо структуре предыдущего контекста. Такая деталь, выпадающая из структуры, чаще всего рассматривается как сигнал нарушения структуры, аструктурный элемент, помеха в канале связи. Чем больше в художественном тексте таких аструктурных элементов, тем ниже его художественность. Однако такой аструктурный элемент может иметь и другую функцию — быть сигналом нового уровня, нового плана, другими словами, быть сигналом перекодировки сообщения. Тогда, будучи аструктурным по отношению к предыдущему кон-

тексту на первом уровне, он может оказаться после перекодировки необходимым структурным элементом следующего уровня. Но вернёмся к нашему анализу.

Следующее четверостишие довольно сложное:

В венке из тронутых, из вянущих азалий
Собралась петь она... Не смолк и первый стих,
Как маленьких детей у ней перевязали,
Сломали руки им и ослепили их.

Кто начал петь? Чьих детей перевязали? Кто их перевязал? Зачем?

Если в нашем прочтении она — это Тоска, вернее Тоска-Любовь-Страх, то и здесь действует Тоска, Тоска Анненского. Она собралась петь, но её детей (детей тоски) перевязали, сломали руки им и ослепили их. Но кто же это такие — "дети Тоски"? Да ведь это все сны и мечты Анненского, которые не сбылись, обманули, оставив поэта в недоумении, удел его — только мучительно раздумывать над загадкой бытия и задавать неразрешимые вопросы. Кому? Своей Тоске, своей Музе. Ведь Муза, Поэзия в мироощущении Анненского еще одна сторона Тоски, тоска по невозможности достижения Красоты, только "муки идеала", только тоска о слиянии. Таким образом Тоска Анненского — его Любовь, Страх, Недоумение, Муки Идеала, Вечный поиск Красоты, Двойственность, Стремление к Слиянию — это и есть его поэтическое мироощущение, его Муза, его Поэзия, которая останется жить среди людей, когда его самого уже не будет. Значит данная строфа о детях показывает нам, что Тоска и Муза — синонимы, эта строфа есть не что иное, как сигнал перекодировки, перехода в следующий глубинный уровень структуры. После такой перекодировки предметно-логический смысл изменится. Начнем всё сначала. Теперь мы знаем, что это стихотворение о Поэзии, которая и есть Тоска. Посвящено стихотворение формально одному поэту, но фактически всем поэтам современникам и потомкам. "Капище волненья" — это жертвенник Поэзии, поэтическая деятельность, а шире творчество. Отсюда и пир — это пир поэзии, пир творчества. На ум приходят строчки Пушкина:

Я видел вновь приюты скал
И тёмный кров уединенья,
Где я на пир воображенья,
Бывало, музу призывал.

(Разговор книгопродавца с поэтом)

Читаем стихотворение после перекодировки: ”Пусть новые поэты придут на смену старым в храм Поэзии, и обо мне как о человеке все забудут, мне кажется, между вами, поэтами, останется жить моё творчество, моя странная Поэзия, которую я называю Тоской”.

Да это же оценка своего творчества. Это своеобразный ”Памятник” Анненского. ”Нет, весь я не умру!” И написан он тем же шестистопным ямбом, что и пушкинский.

В новом свете предстаёт и непонятная ”лошадь в мыле”. Это не поэзия-завоевательница, триумфаторша — Пегас, горделиво расправивший свои крылья, это поэзия — загнанная лошадь, муза, загнанная недоумениями в тупик, одержимая, с одной стороны, страхом смерти, а с другой — робкой надеждой на ”лучезарное слиянье”, муза-тоска. Эта Муза-Тоска — бесполоя, её любовь направлена не на мужчину или женщину, а на все отражения Красоты небесной в красоте земной, у неё для всех улыбки — и для ветки клёна, у которой дрожат в глазах слёзы осени, и для алых маков, распластанных, как жадное бессилье, и для лунно-талых далей и для игры света в хрустале — улыбки для всего, ”чему в этом мире ни созвучья, ни отзвука нет”.

Эта Муза-Тоска — притворщица, она боится смерти, но иногда притворяется, что не боится её и даже бросает ей вызов, она любит Красоту, но иногда притворяется и говорит, что та ей безразлична. У неё порочный вкус — её всё время влечёт к странному, непонятному, ужасному, к кладбищам, к смерти, к покойникам, у неё нездоровый интерес к этому жуткому и столь обычному акту. Муза-Тоска Анненского целый день качает пустые зыбки, её дети — больные, слепые, с поломанными руками, то есть её стихи, на самом деле лишь ничтожные отражения её настоящих детей, которые есть её сны и мечты, исчезающие с приходом дня — свет их пугает. А в углу её комнаты олицетворение самой горячей и мучительной её надежды — образок,

сладчайший Иисус, то есть Иисус на руках Марии — розовый ребёнок, ещё не знающий, на какие муки он обречён во имя своей великой миссии. В счастье Христа-ребёнка на руках Богоматери уже заложено несчастье, муки, страдания, но и счастье другого рода, счастье страдания ради человечества, счастье слияния. Не такой ли путь уготован и душе?

Я выдумал её, мою тоску, мою Музу, но всё же иногда она мне кажется реальной, материализуется, я не люблю её, но мне она близка, то есть моя любовь к ней противоречива, амбивалентна, она одновременно и моя привязанность и моё мучение, она моё больное дитя.

Моя Муза-Тоска — недоумелая, это её постоянное качество, она недоумевает, хочет разгадать ребус бытия и не может, а вместе с ней недоумеваю я, Муза-Тоска — это моё материализовавшееся в стихах недоумение. Она всегда весёлая, её радует любое проявление мимолётной красоты мира, отражающей Красоту небесную. (Это не всегда так, но мы ведь уже знаем, что Муза-Тоска притворщица, да и её веселье — чувство противоречивое, сложное, амбивалентное).

Кто же она такая — это загадочное, безлюбое, бесполое, недоумелое, весёлое существо?

Это моя Тоска — мое особое поэтическое мироощущение, выраженное в Моей Поэзии, которую я оставляю вам в наследство.

Михаил Крепс

ХРОНИКА РАСПАДА

ГЛАВА XIII

Ухудшение отношений с Германией. П.А. Сабуров. Дипломатическая его карьера. Политический его архив. Моя поездка в Берлин. Генерал Кейм. Граф Пфейль. Граф Ревентлов. Профессор Шиман. Доклад Бутми в Союзе имени Михаила Архангела. Отзывы печати. Свидание монархов в Потсдаме. Сотрудничество мое в "Свете". Баженов и Медведский. Прибытие английских гостей в Петербург. Мой доклад в Союзе имени Михаила Архангела. Ксюнин. Почему нельзя было столкнуться с немцами. Nibelungentreue и тяготение к Англии. Политика князя Бюлова и распределение ролей виновности.

Летом 1908 года между императором Николаем II и английским королем Эдуардом VII произошло свидание в Ревеле, положившее начало соглашению России с Англией, а в октябре Австрия провозгласила аннексию Боснии и Герцеговины.

На сближение наше с Францией немцы глядели косо, тем не менее с ним мирились. Но, как только заметили, что мы сближаемся с Англией, настроение их, до тех пор добродушное и спокойное, перешло в нервное и открыто враждебное России. Живя на самой границе, наблюдал я проявления этой враждебности. Ездить в Пруссию стало жутко и небезопасно. Под предлогом неточности в паспорте, полиция возвращала путешественников обратно или, заподозрив в шпионстве, подвергала их допросу и арестовывала. В.М. Пуришкевич сообщил мне случай, проливший яркий свет на положение. Член Государственной Думы Люц, проездом через Берлин, вздумал зайти в Рейхстаг

Мы печатаем еще две главы из ценных воспоминаний Ю.С. Карцова, любезно предоставленных нам его дочерью Е.Ю. Концевич, за что приносим Е.Ю. благодарность. Две другие главы см. 137, 138 кн. "Н.Ж." РЕД.

потолковать с депутатами. Но кому ни посылал он карточку, ответ был один и тот же: мне некогда, я занят. Люц вывел заключение: немцы вообще не хотят разговаривать с русскими.

Роль дон-Кихота трагикомична, а роль Кассандры-вешуньи неблагодарна. Себя не пожалев, в этих двух ролях выступил я одновременно. Но, прежде нежели забить тревогу: война близка, при дверях, решил я посоветоваться с известным дипломатом, бывшим послом в Берлине, П.А. Сабуровым. Во времена канцлера князя Горчакова слыл Сабуров талантливым, многообещающим деятелем. Светская хроника полна была приключениями его и успехами. Теперь передо мною был старик, высокий, но уже согбенный, с бритым лицом, небольшими усами, медленной речью и гаснущим взором.

— Союз наш с Францией, — сказал я ему, — политический маневр, мера предосторожности, средство заставить немцев пойти на уступки, все что вам угодно, но война с Германией — это народное бедствие, о котором страшно и подумать. После горького опыта японской войны, в победу я не верю. Но и в случае благоприятного исхода, война потрясла бы Россию до основания. Кто бы остался в выигрыше? Англия, которая устранила бы торговую конкуренцию Германии и упрочила бы свое господство на море на целое столетие, Польша, которая бы воскресла, и всемирная революция, которая бы объединилась.

— Вы совершенно правы, — выразил безусловное согласие Сабуров. — Я всегда был того мнения, — продолжал он, — значение взаимодействия России с морскими державами чисто негативное. Как бы мы не расходились с немцами по отдельным вопросам, а все-таки положительные выгоды может принести России единственно союз с Германией.

В разговоре постепенно раскрыл мне Сабуров закулисные подробности дипломатической своей карьеры. В Лондоне, в должности советника посольства, не разделял он взглядов посла барона Бруннова, который ещё под впечатлением событий, предшествовавших Крымской войне, был одержим страхом: продвижение наше в Средней Азии неизбежно вовлечет нас в войну с Англией. Сабуров, наоборот, утверждал: Англия воевать не будет, а потому мы можем идти вперед свободно и безбоязненно. Переведенный посланником в Грецию, попал он в

положение весьма щекотливое. Избалованные вниманием европейской либеральной интеллигенции, сказать кстати, совершенно незаслуженным, греки наивно уверены: каждому приличному человеку полагается быть фильэллином. Посол наш в Константинополе генерал Игнатъев вёл как раз политику панславистскую, болгарофильскую, явно враждебную эллинизму. Политике этой Сабуров не сочувствовал, но в качестве представителя России нес за неё ответственность. Дворы, российский императорский и греческий королевский, соединены были узами крови: король Георг был братом русской цезаревны Марии Федоровны, а королева Ольга Константиновна дочерью великого князя Константина Николаевича, брата государя. Поневоле приходилось Сабурову быть не только политиком, но и придворным.

Между этими утесами лавировал Сабуров искусно и благополучно. В Афинах при дворе и в обществе ценили его и ласкали. Император Александр II относился к нему неизменно милостиво. Канцлер князь Горчаков предрекал ему блестящую будущность. Назначение его послом в Константинополь было делом решенным, как вдруг произошло событие, сообщившее карьере его иное направление. На водах в Киссингене встретился он с князем Бисмарком, который, видя в нем восходящее светило русской дипломатии, удостоил его продолжительною беседою. В ярких и рельефных чертах изобразил князь Бисмарк неудовольствие, которое внушала ему политика России вообще и в частности князя Горчакова. Переданная Сабуровым в Петербург, беседа эта произвела большое впечатление. В результате, вместо Константинополя Сабурову было предложено ехать в Берлин со специальной миссией — восстановить русско-германскую дружбу на традиционных началах.

Первые шаги Сабурова на новом его посту были весьма удачны. В 1884 году заключил он с князем Бисмарком тайный договор взаимного страхования. В случае нападения Франции на Германию Россия обязывалась оставаться нейтральной, а Германия — если бы на Россию напала Англия. К этому договору, по настоянию князя Бисмарка, хотя и с неохотою, присоединилась Австро-Венгрия. По истечении срока договор был возобновлен, но уже без участия Австрии.

С переменою царствования в России переменилась и политическая система. В противоположность отцу, император Александр III не питал расположения к Германии и не хотел с нею связываться долговременными обязательствами. Положение Сабурова пошатнулось. Покровительствовавший ему великий князь Константин Николаевич сошел со сцены и удалился на покой. Министр иностранных дел Гирс видел в нем соперника и старался ему повредить, но делал это осторожно и тонко.

Предусматривая провозглашение болгарами соединения расколотых на Берлинском конгрессе частей Болгарии, Восточной Румынии и княжества, — кабинеты Петербурга и Берлина уговорились признать соединение. Соглашение это хотя держали они в секрете, тем не менее, оно могло сделаться известным болгарам и поощрить их к действию. Когда князь Александр Болгарский, передавшись Англии, пошел против России, Сабуров возбудил вопрос: не следует ли уничтожить соглашение заблаговременно. Но Гирс воспротивился и, таким образом, сохранило оно значение до конца.

Сабуров не делал себе иллюзий: деятельность его попала на мертвую точку, и сколько бы она ни длилась, все равно ничего он не добьется. Тогда решился он на смелый шаг. Он подал записку, в которой, определив задачи России, пришел к выводу: взамен гарантий насчет Франции необходимо потребовать у Германии положительных обязательств касательно Ближнего Востока. Гирс и сотрудники его, — Влангалли, Зиновьев, граф Ламздорф, — встревожились. Одобрив государь соображения Сабурова, руководство внешней политикой перешло бы к нему и назначение его министром иностранных дел последовало бы само собою. И вот, с целью парировать удар, составили они доклад, в котором доказывали: все, что пишет Сабуров, умно и верно, но преждевременно. Князь Бисмарк воспользуется гарантиями, но найдет предлог уклониться от обязательств, и в результате мы только напрасно пожертвуем Францией, которая нам еще пригодится. Министерство одержало победу. Записка Сабурова Высочайшего одобрения не заслужила и сочтена была интригою. Не колеблясь, Сабуров подал прошение об отставке. В виде компенсации предложили ему место посла в Риме. Но, играя столько времени первую скрипку, занять второстепенный

пост Сабуров отказался и предпочел с дипломатической деятельностью распротиться навсегда. Отзываемых послов сажают обыкновенно в Государственный Совет. Сабурова, в знак немилости, назначили только сенатором.

Не довольствуясь устными объяснениями, Сабуров дал мне на прочтение и позволил взять на дом несколько тетрадей, в которых находились копии важнейших его политических донесений и мемуаров. Здесь были: обширная записка об английском парламентарном строе и политических партиях, донесения из Афин в период до русско-турецкой войны и во время войны, Киссингенские беседы с князем Бисмарком, миссия в Берлине, инструкции и переписка касательно заключения договора взаимного страхования. Последней записки, которая привела к его отозванию, к сожалению, не доставало.

— Вы можете свободно пользоваться этими материалами, — сказал Сабуров, — но под условием ничего не печатать до моей смерти.

В самый разгар мировой войны, очевидно, с целью сложить с себя ответственность в её возникновении, Киссингенские беседы и миссию в Берлине изложил Сабуров в небольшой брошюре и напечатал её на правах рукописи. Таким образом лишил он меня возможности этот столь важный в истории русско-германских отношений момент описать и обнародовать первому.

План кампании наметил я следующий: поехать в Берлин, познакомиться с видными политическими деятелями, депутатами и журналистами и, указав им на приближение войны, постараться убедить их в необходимости действовать неотложно и решительно.

Беклемишев, который со мною переписывался и был в курсе моих намерений, возвращаясь из Парижа, провел день в Берлине и подготовил мне почву. Как председатель Лиги Обновления флота сделал он визит германскому коллеге, председателю Союза флота генералу Кейму и сообщил ему, что я собираюсь приехать и с какою целью. В ответ Кейм обещал оказать мне содействие.

Погода стояла дивная, майская. Расстояние от приграничной моей усадьбы до ближайшей железнодорожной станции — верст двадцать, а затем до Берлина часов двенадцать в поезде.

Накануне выехав, — я был в шесть часов утра на Фридрихштрассе, в гостинице "Central Hotel".

Генерал Кейм — личность весьма оригинальная. Роста выше среднего, худой, с впалыми выбритыми щеками, седыми усами и быстрыми движениями, тип старого сердитого вояки, прославился он необыкновенными агитаторскими способностями. Став во главе Союза флота, он поднял такую пропаганду, что всю Германию обуял бред создания могущественного флота, который мог бы поспорить с английским. Страшась осложнений с Англией, император Вильгельм потребовал удаления Кейма, если Кейм не откажется от председательствования добровольно, он, Вильгельм, сложит с себя звание протектора Морского Союза. Волею-неволею должен был Кейм покориться и уйти.

— Россия следит за вашею деятельностью и видит в вас неутомимого борца за экономическую самобытность Европы и свободу морей, — войдя, приветствовал я генерала.

— Россия наш враг, — сокрушенно ответил Кейм. — Заодно с Францией и Англией собирается она окружить нас и уничтожить.

— Ошибки были и с той, и с другой стороны. Почему не возобновили вы договора о взаимном страховании?

— Вздор, вздор, — неистово закричал Кейм. — Я служил при графе Каприви. Отказу нашему возобновить договор император Александр III не придал значения и отнесся к нему равнодушно. — Митинговый оратор, Кейм в пылу красноречия возражений не слушал и затыкал себе уши.

— Поделите мир, — продолжал я полушутливо. — Мы возьмем Босфор и запремся в Черном море, а вы господствуйте на океанах.

— Босфор, зачем вам Босфор?

— А для того, чтобы обеспечить себя с фланга. Не владея Босфором, мы не можем двинуться на Суэц и Кувейт, произвести диверсию в вашу пользу.

— Дружба Германии важнее для вас Босфора. Англичане не посмеют высадиться в Черном море, а если бы посмели и высадились, вы прогоните их нагайками.

Нашумев вдоволь, генерал Кейм понемногу успокоился.

— Я устроил вам несколько политических свиданий, —

сказал он в заключение. — Сегодня ровно в час подите к графу Пфейлю. Он бывший русский офицер, ныне заведует военно-политическим отделом в популярном издании "Tagliche Rundschau". Оттуда к графу Ревентлову, политическому редактору "Deutsche Tageszeitung" и, наконец, к профессору Шиману, известному знатоку России, сотруднику "Kreuz Zeitung".

Генерал в отставке граф Пфейль был совсем в ином роде. Кейм был старый ворчун, милитарист, агитатор, Пфейль — человек светский, общительный и милый. Гвардеец в душе, любил он товарищество, беседу за стаканом вина, смотры и придворные церемонии. По внешности — высокого роста, широкоплечий, с окладистой темной бородой, выдвинулся он на боевом поприще: сначала в 1870 году в сражении при Сент-Прива, а потом, служа в русских войсках, в русско-турецкую кампанию. Он не прощал Скобелеву, что тот в сражении под Шойновым прийти на помощь Святополку Мирскому умышленно опоздал на целые сутки. Всякого, из Петербурга приехавшего знакомого, напоминавшего ему счастливое время молодости, когда он служил в Преображенском полку, встречал он с распростертыми объятиями.

Одновременно со мною вошел господин по виду лет сорока, роста довольно высокого, с жидкими светлыми бакенами. Это был г. Гейнрих Рипpler, издатель популярной, распространенной газеты "Tagliche Rundschau". Посещение его, очевидно, было не случайное, а в соотношении с моим приходом, о котором предупредомил Пфейля генерал Кейм.

— Отношения России и Германии испортились, — открыл я беседу, — и в такой степени, что, если общественное мнение не спохватится и не произведет давления на правительство, война неизбежна.

— В России нет никого, кто бы за нас стоял, — горько сетовали на Россию Пфейль и Рипpler. — Государь против нас. Обе императрицы, старая и молодая, немцев не терпят. Нам, немцам, осталось одно: готовиться и ждать, что пошлет Провидение.

— С военной точки зрения, — холодно добавил граф Пфейль, — мы в союзе с Австро-Венгрией, с Италией и Турцией. Положение наше, следовательно, не так плохо.

Граф Пфейль со мною подружился. Целыми часами спорили мы с ним и вели оживленную переписку. Никакими доводами не мог я его убедить — спасение Германии в союзе с Россией, направленном против Англии.

— Я вполне вас понимаю, — возражал он. — Германия — Наполеон I, которого Англия собирается уничтожить. Да, но борьба с Англией путь опасный, на который я не дерзаю толкнуть мою родину. Сознаюсь откровенно: экономическая самобытность Европы, соперничество из-за главенства на море и тому подобные вопросы не моя специальность. Вот написать статью о дружбе с Россией и заслужить благоволение государя императора, это по моей части.

В скромности своей граф Пфейль оценивал себя правильно: как писатель он был придворно-военный хроникёр, а не политик. Старый воин, к счастью своему, поражения Германии он не дождался, умер за год до войны.

Несравненно более вдумчивым и глубоким политиком оказался граф Эрнст фон Ревентлов. Высокий мужчина, с большими усами на круглом бритом лице, это был типичный прусский юнкер, прошедший военную школу. Судя по его репутации, думал найти я в нем энтузиаста и фанатика. Вместо того поразил он меня сдержанностью и уравновешенностью. Говорил он обдуманно, тихо, опустив глаза, как человек, который знает многое, но боится вымолвить лишнее.

Любопытная подробность: граф Ревентлов женат был на француженке и сам изъяснялся по-французски не хуже природного француза. На мое замечание: как вы, такой завзятый враг Франции, а в доме у вас звучит французская речь и притом с безупречным акцентом? — *Die Imponderabilia des Lebens*, — ответил он меланхолически.

С первых же слов Ревентлов меня понял: Англия главный враг, против которого державы Европы, а во главе их Россия и Германия должны соединиться. Но что толку в понимании, когда не сопровождается оно соответствующими действиями? Выступить вперед и пойти наперекор течению требует редкого мужества, которого, по-видимому, у Ревентлова не было.

Video meliora, proboque, deteriora sequor. Ничем решительно не помог мне граф Ревентлов. Когда, вторично приехав в Бер-

лин, посетил я его, удивил он меня размышлением, смысл которого остался для меня загадкой. По его мнению, агитация моя более повредила, нежели принесла пользы, а потому лучше, если бы не возбуждал я её вовсе.

Среднего роста, с небольшою, ровно подстриженною, уже поседевшею бородою, профессор Шиман, хотя и на склоне дней, казался бодрым и подвижным. Обошелся он со мною весьма приветливо. Уроженец Лифляндской губернии, первую половину жизни прожил Шиман в России. Сначала был он старшим учителем в Феллине, потом занимал должность архивариуса в Ревеле. Патриот балтиец, не перенес он обрусительной политики русской администрации и вступил в борьбу. Ему воспретили говорить и пригрозили публично высылкою. Под конец он не выдержал и, простившись с родиною, переселился в Берлин. Здесь, в столице Германии, несмотря на то, что ему было за сорок лет, взялся он опять за науку, приобрел ученую степень, стал профессором и занял кафедру. Молодому Вильгельму, будущему императору, преподавал он историю России. На Россию взирал он сквозь призму остзейского разочарования. Тем не менее питал к ней симпатию и с представителями русского ученого мира поддерживал отношения. По вопросам касательно России и немцы, и русские обращались к нему за советами и справками.

— Континентальная война разорит нас и погубит. Избежать её надо во что бы то ни стало, — изложил я Шиману цель своего приезда. — Вместо того, чтобы воевать и истощать наши силы, давайте заключим союз и отнимем у Англии господство на море. Германия должна обратиться к России с предложениями вроде тех, которые сделал Наполеон I в письме к Коленкуру от 2-го февраля 1808 года, — закончил я ссылкой на историю 1812 года.

— Вы говорите от себя или кто-нибудь стоит за вами? — спросил Шиман.

— Небольшая группа деятелей правой стороны и между ними Пуришкевич.

— Когда перейдет к вам власть, мы с вами потолкуем, а сейчас это бесполезно.

— Да, но каким образом достигнем мы власти, если никто не помогает нам взобраться? Сделайте конкретные предложе-

ния, а мы постараемся, чтобы русское правительство их приняло.

Разговор перешел на историю войны 1812 года, на отношения императора Александра I к сестре его, Великой княгине Екатерине Павловне, и на шансы Германии в морской войне с Англией.

— Мы гораздо сильнее, нежели это думают, — уверенно сказал Шиман.

Прошло десять лет и пронеслась буря войны. Бездомным беженцем очутился я в Берлине и навестил Шимана. Война произнесла решающее слово. Песня победы замолкла и сменили её скорбь и уныние. Неумолимо резала глаза безотрадная действительность, и уйти от неё было некуда. Увидев меня, Шиман заволновался. Ради чего вы меня тревожите? Говорить по-русски было ему неприятно. Вид он имел угнетённый, и цвет лица у него был болезненно желтый. Мало-помалу он успокоился и пришел в себя.

Темою нашей беседы служил вопрос: каким образом произошла война? Шиман, весьма понятно, выгораживал Германию и винил Россию. Возражал я ему мягко, но твердо, пока, наконец, не добился признания: причиной войны была система неразрывного союза с Австро-Венгрией, в корне ложная, а затем горько ошибся Вильгельм, строя расчеты на двух посылках одинаково неверных, — чувстве монархической солидарности императора Николая II, которого у того не было, и миролюбии коварного Альбиона.

Живя в Берлине недалеко от Шимана, я часто ходил к нему и давал ему мемуары мои на прочтение, а он делал заметки. Вместе с тем снабжал он меня книгами и брошюрами и указывал источники. Одновременно писал и он свои воспоминания: "Сорок лет жизни в России, тридцать — в Германии".

Так длилось подряд несколько месяцев, как вдруг, отворяя двери, поразила меня служанка известием: профессора нет. А где же он? Вчера свезли его в клинику. — Шиман заболел раком желудка, не перенес операции и умер. Сердце у него было горячее, и человек он был милый и доброжелательный. Мир его праху.

Но возвращаюсь к своему рассказу.

Побывал я и в Рейхстаге. Сосед мой, помещик фон-Лен-

ский, дал мне рекомендательное письмо к депутату избирательного Округа Олецко-Лык Иоганнисбург Крету. Но тут повторилась история члена Государственной Думы Люца.

Г. Крет вышел ко мне и спросил: что мне нужно? — Некоторые члены Государственной Думы, — отвечал я, — желали бы обменяться мыслями со своими германскими коллегами по вопросу восстановления добрых отношений с Германией и поручили мне подготовить почву. — Обратитесь к лидеру консервативной партии г. Норману, — сухо заявил Крет, — и на этом разговор прекратился.

Немцы уперлись на своем: виновата Россия и пусть пеняет на себя. Вернувшись домой, составил я краткий отчет переговоров моих в Берлине и отправил его в Петербург единомышленнику моему Георгию Васильевичу Бутми де Кацман. Через несколько дней пришел пакет от Бутми, письмо и десятка два номеров газеты "Petersburger Herald". Раскрыв номер, увидел я мой отчет, переведенный на немецкий язык и напечатанный *in extenso*.

"Получив ваш отчет, — писал Бутми, — в тот же вечер прочел доклад в Союзе имени Михаила Архангела. На следующий день снес я его в Petersburger Herald редактору г. Пиперсу, который, как видите, его напечатал. Написал и отослал заметку в "Петербургские Ведомости". Добрый наш приятель, князь Эспер Эсперович Ухтомский, не откажет поместить. И, наконец, послал доклад Меньшикову, прося его высказать свое мнение, благожелательное, если он того заслуживает, или, хотя бы, неблагоприятное".

И, действительно, вслед за беглою заметкою в "Петербургских Ведомостях", загудел большой колокол "Нового Времени". Появилась статья Меньшикова. Приведя выдержку из моего отчета, немцы уже не надеются на восстановление добрых отношений с Россией, вооружаются и ждут, когда на них нападут, — красноречиво указывал Меньшиков на опасность подобного положения.

На статьи русских газет последовали отклики германской печати. В "Tagliche Rundschau" граф Пфейль упомянул об агитации в пользу сближения с Германией, которую подняли Бутми и я, и выразил ей сочувствие. Профессор Шиман перепечатал мой

отчет в "Kreuz Zeitung", сопровождая его благожелательными комментариями. Не обмолвился ни единым словом граф фон Ревентлов.

4-го ноября 1910 года состоялось свидание императоров России и Германии в Потсдаме, событие, как не старались уронить его значение, первостепенной важности. В результате совещания подписан был договор касательно Персии и Багдадской железной дороги. Пришли ли оба правительства к сознанию необходимости улучшения отношений самостоятельно или допустили повлиять на них раздавшиеся голоса в печати, я не знаю. Дон-Кихотская поездка моя в Берлин — смешна она или нет — я о ней не сожалею нисколько, что её предпринял. По крайней мере, не упрекает меня совесть — для предотвращения войны, которая ввергла Россию в несчастье, не сделал я всего того, что было в моих силах.

Осенью 1911 года переехал я в Петербург и нанял квартиру на улице Жуковского. Для проведения моих идей мне нужен был орган. Поэтому, когда владелец "Света" Г.В. Комаров предложил мне писать у него в газете, я поспешил согласиться. До тех пор жаловались мне немцы на Россию и обвиняли её в неприимности. Теперь пришлось мне выслушивать обратное. Кроме Комарова, руководили газетою редактор И.А. Баженов, белый как лунь, старик, и Медведский, бойкий журналист, писавший потом в "Вечернем Времени" Б.А. Суворина под псевдонимом "Квидам". Оба они находили — Германия заклятый враг России, с которым всякие переговоры бесполезны.

Баженов ссылался на экономиста Рошера, проповедывавшего — Германия должна завоевать южные губернии России и населить их немцами. Подобные несообразности встречаются и не в одной германской печати, — возражал я Баженову. — Вот хотя бы "Свет": разве не утверждал он: Померания — страна славянская, а потому надо отнять её у немцев и возратить славянам! В надежде как-нибудь удержаться в газете, старался я найти средний путь, делал уступки, но в конце концов убедился: при таких условиях работать невозможно и перестал писать. Всего поместил я в "Свете" около десяти небольших статей.

Откуда взялась она, повальная ненависть к немцам, сверху и донизу охватившая русское общество? В основе её лежало

стремление революционное и антидинастическое. Царь наш не русский, не Романов, а немец Гольштейн-Готторп, царица — гессенская принцесса, или, как её в интеллигентских кругах называли, на русские хлеба севшая гессенская муха. Но государь и государыня не допускали, а наоборот, думали заставить позабыть немецкое свое происхождение, и таким образом вернуть себе все более отдалявшееся сердце народа.

В Петербург прибыла английская делегация с лордом Стэнгопом во главе, тем самым Стэнгопом, с которым познакомился я в Ницце у графа Н.П. Игнатьева, только носил он другую фамилию — лорда Уердэля. В воздухе запахло порохом. В виде протеста прочел я доклад в Союзе имени Михаила Архангела.

В тот же день поутру в кулуарах Государственной Думы встретив сотрудника "Нового Времени" Ксюнина, Пуришкевич сообщил ему, какого рода доклад прочитан будет сегодня вечером в Союзе Михаила Архангела. — Удивляюсь, как дозволяют читать подобные доклады, — с негодованием воскликнул Ксюнин. — Чего смотрит градоначальник? — Хороши наши либералы, — заметил Пуришкевич. — Чуть что им не по шерсти, подавай градоначальника.

На докладе присутствовали: члены Государственной Думы Пуришкевич, Щечков, Владимиров, затем Бутми и др. Прослушав доклад, составили мы резолюцию и передали её по телеграфу трём министрам: иностранных дел, военному и министру Двора: Россия не поддастся провокации и, ради утверждения господства Англии на море, не прольёт русской крови.

Английских делегатов чествовали и угощали. Вели они себя корректно и, распространяясь в уверениях дружбы, избегали воинственных выходов. Нашелся, однако, генерал, который, вероятнее всего под влиянием вина, нарушил общий тон сдержанности и заговорил о войне с Германией. — *Ein dummer englischer General*, — писал мне по этому поводу граф Пфейль. Так ли был глуп этот английский генерал, провокатор, как утверждал граф Пфейль? Немцы никак не хотели взглянуть в глаза действительности. В то время, как по отношению к Германии англичане руководились лозунгом *Delenda Carthago*, тешили они себя иллюзией: Англия миролюбива и по делам Ближнего и Среднего Востока войдет с нами в соглашение.

Перехожу к причинам войны и распределению ролей виновности.

Не в отдельных эпизодах, — аннексии Боснии и Герцеговины или австрийском ультиматуме Сербии, — искать следует объяснения войны. При тогдашней обстановке война всё равно была неизбежна. Уступи Россия в вопросе ультиматума, возник бы у неё другой конфликт с Австро-Венгрией и опять очутилась бы она перед дилеммой: уступить или воевать, втянуть союзников и возжечь общий пожар.

Мировая война произошла вследствие взаимодействия причин общего характера, а именно: стремления Англии устранить торговую конкуренцию Германии и захватить господство на морях, преклонения общественного мнения Германии перед Англией и пренебрежительного его отношения к России, политики берлинского Кабинета — неразрывного союза с Австро-Венгрией — *Niebelungen Treue* — и, в заключение, как уже было сказано, революционного движения в России, в войне с Германией видевшего вернейшее средство достижения цели, — крушения государственного строя и низложения династии.

Союзом с Австро-Венгрией князь Бисмарк не увлекался и придавал ему значение временное и условное. Преемники его обратили этот союз в незыблемую догму германской политики. Нибелунгова верность была векселем, который в любой момент Австрия могла предъявить Германии. Австрийские государственные люди не стесняясь творили совершившиеся факты, в уверенности — Германия признает их и одобрит.

“Великобритания ещё раз достигла своей цели,” — в исследовании своем о причинах мировой войны рассуждает г. Гельферих. — “Сильнейший её конкурент на мировых рынках сокрушен и лежит во прахе, подобно тому, как это было с Испанией, Нидерландами и Францией. Войны непосредственно Англия не объявила, но с неподражаемым дипломатическим искусством она её подготовила и не прямо, а косвенно, через других. Когда война возгорелась, присоединилась она к сражающимся и напала на сильнейшего своего конкурента”.¹

Соображения совершенно правильные, но, к сожалению,

1. Helfferich. Die Vorgeschichte des Weltkrieges. S. 229-230.

запоздалые. Что же пресловутая германская дипломатия? Допустила она Кронштадт и не предупредила Ревеля.

Сын англичанки, император Вильгельм немцем был лишь наполовину. Собственно, у него было два родных языка: немецкий для немцев и английский, язык его матери, на котором он переписывался с другом своим, императором Николаем. Впечатления английского воспитания таились у него в душе и влияли на его поступки. Зная за собою эту слабость, он ловко её маскировал пышными речами о преданиях германской старины. Природный немец никогда бы не посягнул на кумир германского народа, создателя единства Германии князя Бисмарка. Политические воззрения своего государя и предубеждения его разделяли немцы вполне. Англичане в глазах их были аристократами между народами, а русские, прикрытые лаком европейской культуры, азиаты. Сказывались тут и расовые влечения: антагонизм германизма со славянством и родство его с англосаксами. Заводя колонии и оспаривая у Англии господство на море, пошла Германия по стопам Наполеона I. Но принципы континентальной его политики, первое условие которой было обеспечить себя со стороны России, она не усвоила. Поворотным пунктом в истории русско-германских отношений была война России с Японией. В то время во главе германской политики стоял князь Бюлов, *diplomate de Carrière*, обворожительный собеседник, эпикуреец, эстет и декадент, но как политический деятель человек поверхностный и недальновидный. Вот что в статье, озаглавленной "Князь Бюлов" в самый разгар войны писал я в журнале князя Андроникова "Голосе России" ("Голос России", 17-го июля 1916 года, № 16): "Когда возгорелась война между Россией и Японией, князю Бюлову представился случай выполнить завет Бисмарка — с Россией порешить так или иначе. Перед ним открылись два пути: или, оказав России содействие, взамен связать её обязательствами. После сражения под Мукденом предложи, например, Германия Франции придти России на помощь. Волею неволею должна была бы Франция принять предложение, и тогда под главенством Германии образовался бы направленный против Англии континентальный союз европейских держав. Или, пользуясь временным обессилением России, могла бы Германия на неё напасть, отвоевать у неё Курляндию,

Польшу, Украину, и таким образом "русскую опасность" устранить на долгое время. В обоих предположениях, хотя и различными способами достигалась та же цель: со стороны Востока обеспечить себе тылы, Германия приобретала свободу действия на Западе. Все эти горизонты и возможности упустил из виду князь Бюлов. Вместо того, чтобы благоприятный момент использовать для осуществления задач пангерманизма, деятель малого калибра, он отложил их на неопределённое время, а пока удовлетворился более скромным успехом чечевичною похлёбкою торгового договора с Россией".

Когда война была объявлена, министрами иностранных дел были: в Германии Бетман-Гольвег, а в России С.Д. Сазонов. Но положили начало войне не они, а их предшественники, — князь Бюлов, крайний выразитель союза с Австро-Венгрией и А.П. Извольский, создатель политики соглашения с Англией или Антанты.

Передавая портфель Бетман-Гольвегу, князь Бюлов оставил ему два завета: свято блюсти Нибелунгову верность союзу с Австро-Венгрией и постараться установить добрые отношения с Англией. Доверчиво и слепо пошел Бетман-Гольвег по указанной ему дороге, которая и привела к мировой войне.

ГЛАВА VII

Военная игра в Зимнем дворце. Письмо мое великому князю Александру Михайловичу о Босфоре. Свидание с Н.Н. Беклемишевым в Вильне. "Море и его жизнь". Характеристика Н.Н. Беклемишева. Письма великому князю. Журнал "Освобождение". Обличительная записка о Витте. Аудиенция у великого князя. Я опять на службе. Институт императорской фамилии. Статья в "Русском Знамени" о воспитании наследника престола. Филипп Эгалитэ. Накануне войны с Японией. Инцидент в Военно-Ученом комитете. З.П. Рождественский. Эскадра адмирала Вирениуса. Цусима. Царский лоунтенис. Заседание Лиги Обновления флота. Кончина З.П. Рождественского. Политические последствия разгрома нашего флота под Цусимой.

В Петербурге остановился я в "Гранд Отеле", на улице Гоголя. Встав с постели и напившись кофею, отправился, по обыкновению, к Елене Александровне Озеровой, которая жила

на Пантелеймонской улице, в доме Ратькова Рожнова, повидать моих двух девочек.

— Вы слышали новость, — спросила меня Елена Александровна, — в Зимнем дворце происходила военная игра: взятие Константинополя, и в этой игре принимал участие государь император?

Вечер провел я в шахматном клубе. Большой любитель шахматной игры, я был членом клуба ещё в те отдаленные времена, когда клуб находился на Мойке, не доходя Конюшенного моста, а я жил на Большой Морской, возле Яхт-клуба. Тогда походил клуб на кабак, теперь он имел вид вполне благопристойный. Помещался он на Невском, в квартире, прилегавшей к Сельскохозяйственному клубу. Кушанья и вина волочили шахматисты из буфета сельскохозяйственного клуба, что являлось большим удобством. Хозяином клуба был симпатичный и популярный Михаил Иванович Чигорин, первый игрок в России и чемпион ее на всемирных турнирах, а председателем — адъютант великого князя Михаила Николаевича — князь Кантакузен.

Посетителями клуба были чиновники, военные, журналисты, большею частью сотрудники "Нового Времени". После игры члены и гости садились ужинать и вели оживленную беседу, которая затягивалась далеко за полночь.

Не успели мы сесть за стол, как все заговорили, к великому моему изумлению, о событии дня: военной игре в Зимнем дворце. Итак, мы решили овладеть Царьградом — вывод, который сам напрашивался. Мнения разделились: одни находили — давно пора, другие — военная игра пустяки, баловство и не повлечет за собою никаких последствий.

Затрагивая самый чувствительный нерв нашей военной системы, вопрос проливов, военная игра представляла государственную тайну. Каким же образом тайна эта вышла наружу и распространилась в обществе? Лица, участвовавшие в игре, полагаю, должны были дать слово хранить её и ничего не рассказывать. Елена Александровна принадлежала к придворным сферам и ей по секрету могли сказать приближенные. А члены шахматного клуба? Раз знали они, знал весь город, знали представители держав и военные агенты.

Кто же был инициатором военной игры, очевидно задуманной с целью заинтересовать вопросом государя императора. Догадаться было нетрудно: все тот же князь Ростиславов, будущий командир эскадры, которая пойдёт брать Босфор, великий князь Александр Михайлович.

Вернувшись в деревню, написал я ему письмо. Для успешности Босфорской операции, — излагал я в письме, — необходимы два условия: тайна и внезапность. Военная игра доказала, что обеспечить эти условия мы не в состоянии. Тайна? Какая же это тайна, когда говорят о ней открыто в шахматном клубе, всё равно, что на площади. Внезапность? Затеяв военную игру, и разболтав о ней, мы выдали свои намерения и предостерегли врага быть наготове. Письмо я отправил заказным. Отнюдь не рассчитывая, что оно понравится и удостоится ответа, написал я его просто под наплывом мрачных мыслей, чтобы найти выход душевному настроению.

Наступил май месяц. Полевые работы были в полном ходу. Поглощенный интересами хозяйства, я уже позабыл письмо свое великому князю, как вдруг получил телеграмму, которая повергла меня в недоумение: "Согласны ли вы съехаться со мною в одном из балтийских курортов? Отвечайте Васильевский Остров, 4 Линия, № 12. Редакция "Море и его жизнь". Беклемишев".

Не зная никакого Беклемишева, ломал я себе голову: кто он такой и зачем понадобилось ему вызывать меня на Балтийское поморье? Погадав и поразмыслив, телеграфировал: "Сообщите более точные указания — с кем имею дело?".

Со следующей почтой пришло письмо, в которое вложена была визитная карточка, мигом рассеявшая мои сомнения: — "Капитан 2-го ранга Николай Николаевич Беклемишев. Адьютант великого князя Александра Михайловича".

Отдел Торгового Мореплавания, которым заведовал великий князь Александр Михайлович, входил в состав Министерства Финансов и, таким образом, великий князь был непосредственно подчинен Витте. Если же, тем не менее, находит он возможным со мною, заведомым врагом Витте, завязывать сношения и с этою целью командировать своего адьютанта, вправду был я вывести заключение — с Витте он разошелся и

charmants garçons. Первых они избегали и держали на расстоянии, вторых ласкали и водились с ними, хотя бы репутация их была неважная. Помогать царю, доводить до него правду, располагать в его пользу общественное мнение не могли они уже потому, что, живя обособленную жизнью, семейною и придворною, с русским народом и обществом не имели ничего общего. Они были принцы крови, космополиты.

— В России положительно разговаривать не с кем, — жаловался великий князь Владимир Александрович графу Н. П. Игнатьеву. — То ли дело за границей: там легко найти приятного собеседника. — Это происходит оттого, ваше высочество, — возразил граф Игнатьев: — за границею вы смотрите на человека, с которым вы разговариваете, а в России — какое он занимает место.

Размышляя о судьбах монархии, пришло мне в голову написать статью на шекотливую, мало разработанную тему — о воспитании наследника престола. В статье этой доказывал я необходимость вселить в будущем императоре дух предприимчивости и молодечества, с этою целью, закалять его, окружать сверстниками и ставить в соприкосновение с бытовой жизнью. Беклемишев, которому я переслал статью, предложил её двум редакторам — В. А. Грингмуту и князю Э. Э. Ухтомскому. Но оба они категорически отказались напечатать. — В вашей статье сквозь строк читаются страшные вещи, — объяснил мне потом мотив своего отказа князь Э. Э. Ухтомский. Статья появилась в "Русском Знамени", но отклика на неё не последовало. En haut lieu или её не заметили или, как предусматривал Ухтомский, сочли непрошенным вмешательством, замаскированную критикую и остались недовольны.

Ярким выразителем новейшего типа принцев крови, честолюбцев-брульонов, кандидатов на вакантные престолы, жадных к деньгам и почестям был великий князь Александр Михайлович. Высоким положением обязан был он не себе, а случайности рождения и близости к монарху. Власти, вознесшей его не по заслугам, надлежало ему служить верою и правдою, в силу одного чувства признательности. Между тем, снедаемый честолюбием, он поступался властью, торговал ею и не прочь был при первой возможности на неё посягнуть. Подобно волку,

которого, как ни корми, а он всё глядит в лес, тянуло его в Тушинский лагерь к оппозиционерам, инородцам и либералам.

Но, как ни заигрывал он с общественным мнением, какие ни делал ему авансы, оно ему не доверяло и упорно от него отворачивалось. — Великий князь Александр Михайлович средоточие всех интриг, — так гласила о нем молва. Коренным его заблуждением было думать, помимо царя, сам по себе, в состоянии он приобрести какое-либо значение.

Перед ним открывались на выбор два пути: Михаила Скопина-Шуйского или Филиппа Эгалитэ. Желая подействовать на него в благом смысле, Беклемишев попросил жену Г. В. Бутми, Н. А. Бутми, которая занималась историей, составить краткую заметку о герцоге Орлеанском, по прозвищу Филипп Эгалитэ, этом недостойном принце, и подал ее великому князю. Намерение было похвальное. С точки зрения личных отношений и карьеры, совершил он промах. Великий князь ничего не сказал, но, конечно, не простил Беклемишеву, что тот слишком заглянул ему в карты.

В подробности дальневосточных дел непосвященный, рассуждал я о них на основании общеизвестных газетных сведений. На каждом шагу возникали вопросы и сомнения. Россия страна не морская и не торговая, а континентальная, земледельческая. Зачем же ей Тихий океан? Вместо того, чтобы помышлять о Черном море и Босфоре, место действия перенеся на противоположный конец империи, себе на беду, создали мы уязвимый пункт — Порт Артур, защита которого сопряжена с невероятными усилиями и колоссальными расходами. Великий князь сказал мне: — "Японцы сильнее нас на море. Верно ли, что мы сильнее их на суше? Сколько у них войска?"

В Военно-учёном Комитете произошел инцидент, важный потому, что повлек он за собой уход управляющего делами Комитета, генерала В. У. Сологуба, честного и опытного работника, и замену его лицом менее подготовленным и осведомленным и, таким образом, отразился на ходе событий.

Один из офицеров, занимавшихся в Комитете, — фамилия его была Димитриев, раздосадованный замечанием Сологуба, наговорил ему дерзостей. Димитриев понес заслуженную кару. Однако государь, которому обстоятельства дела были доло-

сельские хозяева поверить искренности подобного обращения и т. д. Письмо это отпечатал я в количестве пятидесяти экземпляров и разослал Государю Императору, самому Витте и видным общественным деятелям. Как я потом узнал, в аграрных кругах письмо произвело впечатление и понравилось. Витте не отозвался и ничего не ответил.

В это время в Штутгардте П. Б. Струве приступил к изданию журнала буржуазно-революционного направления "Освобождение". Немедленно я его выписал по адресу Грос-Чимохен, маленькое местечко Восточной Пруссии, всего в шести верстах от моей усадьбы, куда, катаясь, я ездил почитать немецкие газеты и выпить кружку пива. Номера журнала провозил я через границу и отправлял Беклемишеву, который, в свою очередь, передавал их великому князю.

Журнал разоблачал злоупотребления и хищения государственных сановников и придворных, концессии выданные незаконно и противоуставные ссуды. Центральным лицом этой панамы был Витте. Но поступал он осторожно, действовал не сам по себе, а прикрываясь царским именем, каждый раз испрашивая Высочайшее соизволение. Таким образом среди высокопоставленных приближенных богатством несправедливым приобретал он себе друзей и укреплял свое положение. На докладах коварного министра легкомысленно ставя подпись, ответственность расхищения народного достояния принимал царь, восстанавливал против себя общественное мнение и рыл себе яму.

Сокращением меновых знаков, отказом земледелию в кредитах и, в результате, понижением цен на хлеб, под предлогом привлечения иностранного капитала, преследовал Витте цель: революционизировать народные массы. Аграрные беспорядки, зловещим огнем местами вспыхивавшие, служили предвестниками готовившегося общего взрыва. Витте необходимо было уволить, но уволить с треском, дабы все поняли: уходит не просто министр, а с ним заодно падает его система. В истории пример подобного увольнения представляет собой опала Сперанского, которого, накануне разрыва с Наполеоном, в угоду помещичьей партии, император Александр Павлович отправил в ссылку. Преступления Витте были идей-

ного тонкого свойства, поэтому не подходили под статью уголовного кодекса. Но важно было произвести известное впечатление, снять с царя ответственность и дать народу ручательство — к нуждам его отношение правительства впредь будет иное.

Соображения мои по поводу разрушительной деятельности Витте и его самого, изложил я в отдельной записке, но не отослал ее тотчас, а, сообщив ее содержание вкратце, спросил у Беклемишева: попадет ли она кстати, посылать ли её или повременить? В ответ получил телеграмму: "Присылайте немедленно".

Произошло событие, в обществе и печати вызвавшее сенсацию и толки, поразившее служебный люд и открывшее перед ним совсем новую перспективу. Отдел торгового мореплавания был выделен из состава министерства финансов и возведен в самостоятельное Главноуправление. Назначенный главноуправляющим, великий князь приобрел право, уже как министр, заседать в высших государственных учреждениях. В журнале "Освобождение" оглашены были подробности бюрократического этого переворота, причем в числе действовавших лиц был назван Беклемишев.

Для проведения своего плана великий князь воспользовался моментом пребывания Двора в Ливадии, в то время, как Витте находился далеко и ничего не знал о реформе, которая вследствие этого, явилась ему полной неожиданностью. Звезда великого князя вспыхивала и разгоралась и, соответственно, закатывалась и угасала звезда Витте. В публике ходила дешевая острота: великий князь снял с Витте порты.

В конце ноября месяца, продав хлеб и картофель, и захватив немного денег, я выехал в Петербург.

С великим князем не встречался я до тех пор и воспользовался случаем ему представиться: испросил аудиенцию. Принял меня великий князь в высшей степени милостиво. После обычных вопросов — где я служил и т. п., перевел он разговор на политику. Война с Японией, готовая разразиться, висела в воздухе.

— Мы сильнее японцев на суше, — они на море, — сказал великий князь.

— Жаль, что не наоборот, — позволил я себе заметить.

— Болгары расположены к нам, — продолжал расспрашивать великий князь. — По вашему мнению, можем ли мы на них рассчитывать?

— Болгары, — ответил я, — не друзья нам, а враги. Они опасаются, как бы, утвердившись на Босфоре и овладев главенством на море, не покусились мы на независимость Болгарии.

— Как вы смотрите на проект железной дороги в Персию через Хой?

— С этим вопросом я незнаком. По моему убеждению, мы слишком много расходует на окраинах, а центр, ядро империи, между тем, оскудевает.

Аудиенция длилась более получаса. После меня в кабинет к великому князю прошмыгнул Беклемишев. Ему хотелось проверить — остался ли мною доволен великий князь. Я подождал его в приемной. Вернулся он сияющий. Всё хорошо, — сказал он. — Поезжайте к себе в гостиницу и ждите меня. Я сейчас вслед за вами.

Почувствовав под собою почву, поднял я вопрос о принятии меня на службу. Поступить снова на службу после того, как меня попросили уйти из министерства финансов, было для меня вопросом самолюбия и реабилитации. Великий князь дал свое согласие, и несколько недель спустя, последовало мое назначение чиновником V-го класса при главноуправляющем ведомством торгового мореплавания.

Впечатление произвел на меня великий князь самое благоприятное. Высокого роста, стройный, живой, обворожительный, настоящий *prince charmant* волшебной сказки.

Когда он рождался, в колыбель ему положила благодетельная фея всевозможные дары: восприимчивый и быстрый ум, счастливую внешность, знатность происхождения и богатство. Подругою его жизни пожелала стать первая невеста в России, чтобы не сказать в Европе, любимая дочь императора Александра III.

Ненасытное честолюбие его терзало и побуждало действовать. Все условия плодотворной деятельности, казалось бы, соединились и обеспечивали успех. И, тем не менее, блестящий пустоцвет, ничего он не создал и сошел со сцены, не оставив следа

сколько-нибудь заметного. Почему же так вышло? Ближайший царю родственник, долгое время пользовавшийся его доверием и служивший ему правой рукою, в роковую минуту отчего не встал он на его защиту и не прикрыл его своею грудью?

Ответ на все эти вопросы один: потому что он был великий князь.

Писатель К. Н. Леонтьев, убежденный сторонник начала аристократии, выражал надежду: в России питомником будущей аристократии послужит императорская фамилия. Леонтьев упускал из виду: эволюция образования культурного слоя у нас, как и везде, совершалась снизу вверх, а не сверху вниз, как бы ему хотелось. Элементы наиболее сильные и способные боролись, побеждали и занимали господствующее положение. Преимущества свои великие князья не завоевали и не приобрели заслугами, а нашли готовыми. В дальнейшем — права их не росли, а с каждым поколением убавлялись.

Великие князья старого типа, Константин и Михаил Павловичи были, прежде всего, военные люди. Воспитание получили они спартанское и выросли в строгих правилах военной дисциплины. Основание духовного их строя, военная этика, руководила их действиями. Она внушала им качества воина: безусловное повиновение императору — главе армии, верность знамени, любовь к родине, добрые чувства к сослуживцам — товарищам по оружию и, на почве постоянного общения с солдатом, сближали их с народом.

Спартанское воспитание отошло в область преданий. Военная служба была уже не та, что прежде. Обязанностями её, сравнительно легкими, современные великие князья тяготились. Понятие долга гражданского и общественного совершенно у них отсутствовало. Выгодами своего положения, считая их своим прирожденным, неотъемлемым правом, они дорожили, но бороться за них и жертвовать жизнью они отказывались. О преданности царю, как в старину, беззаветной и слепой не было и помину. Эгоисты и жуиры, насквозь проникнуты они были сознанием — всё для них, они ни для кого.

Людей, с которыми приходилось иметь дело, подразделяли они на две категории: скучняки, ennuyeux соquins и забавники,

Беклемишев посмотрел недоверчиво. Ну, уж вы чересчур, хотел он сказать этим взглядом. — Кстати, — спросил он меня, — знакомы вы с Кочетовым?

— Мы с ним приятели. Где он теперь? Состоит ли по-прежнему директором русского общества пароходства по Дунаю?

— Живет в Одессе и, покамест, директор. Я ревизовал дела Общества. Злоупотреблений не нашел, но кое-какие упущения отметил.

Братья Беклемишевы, старший Николай Николаевич и младший Михаил Николаевич, слыли во флоте учеными и многообещавшими офицерами. Николай Николаевич был специалистом минного дела, Михаил Николаевич — подводного плавания. С Михаилом Николаевичем я был мало знаком, встречался изредка у его брата. С Николаем Николаевичем работал вместе и одно время был с ним близок. Человек он, в сущности, был недурной, отзывчивый, душевный и, во всех отношениях, лучше своей репутации. На беду, одно его свойство или, вернее, слабость возмущала общественную совесть и его бесславила. В силу превратной теории находил он — правила морали и порядочности хороши для обыкновенных смертных, но для руководителей, призванных вершить великие дела, к числу которых, с наивным самообольщением, относил он себя, они необязательны. Обман, козни и предательство считал он признаком и привилегией гениальности. — Я надую всякого, — хвастался он, не отдавая себе отчета, какое тяжелое впечатление подобное признание производит на слушателя. Потом, когда мы с ним ссорились и, объясняясь, кололи друг друга, я высказал ему, на этот счет, мнение свое, не стесняясь: на войне и в политике, если и приходится прибегать к обману, вводить обман в ежедневный обиход, а тем более, по отношению к людям, с которыми постоянно имеешь общение, нельзя уже потому, что после этого дальнейшая совместная работа становится невозможной.

И будь, в самом деле, Беклемишев, по природе своей, пронырливым и лукавым. Наоборот, характера порывистого, под влиянием увлечения или гнева, легко он пробалтывался. Опрямительный, бестолковый, сплошь и рядом совершал он промахи и попадал в положение нелепое и ложное.

При великом князе играл он роль клеветы, фактотума и соглядатая. Брать на себя эту роль, незавидную, неблагодарную и крайне рискованную, никто его не принуждал. На нее вызвался он сам, рассчитывая угодить великому князю, сделаться ему необходимым или, поймав его на чем-либо предосудительном, владеть им и руководить.

Но тут нашла коса на камень: из цепких его лап великий князь ускользнул, как угорь. Беклемишев — это тайны Мадридского Двора, — иронизировал он над насчастной манией своего приближенного, Маккиавели-неудачника. Наскучив притязаниями Беклемишева на менторство, великий князь кончил тем, что поставил ему на вид плохую его репутацию и сплавил его без церемоний.

Поезд, с которым должен был уехать Беклемишев, уходил в семь часов вечера. Я проводил его на вокзал. Ни его, ни меня никто не узнал, и, таким образом, к полному его успокоению, тайна нашего свидания сохранилась безусловно. Расстались мы с ним дружественно. "Присылайте статьи в журнал, пишите великому князю и мне", — повторял он, влезая в вагон и в последний раз пожимая мне руку.

С этого дня сделался я сотрудником журнала "Море и его жизнь", с Беклемишевым вступил в оживленную переписку и регулярно начал писать донесения и подавать записки великому князю.

В пользу сельского хозяйства ничего не предпринимая, правительство тем не менее делало вид — собирается оно что-то начать и затрудняется лишь в выборе способов. Образовано было совещание о нуждах сельского хозяйства, в котором приняли участие министры и важнейшие сановники. Странным казалось только — председателем Совещания был назначен не министр земледелия, не какой-нибудь землевладелец, аграрий, а ярый сторонник капитализма, роковой и неизбежный Сергей Юльевич Витте.

В Ницце, где я провел январь и февраль месяцы, написал я Витте открытое письмо, в котором выразил свое недоумение, каким образом он, враг и гонитель сельского хозяйства, принцип которого: сельскому хозяйству ни копейки, из Савла превратившись в Павла, неожиданно сделался его защитником. Могут ли

намеревается вступить с ним в борьбу. С Беклемишевым уговорились мы съехаться, но не в балтийском курорте, как он предложил сначала, а в пункте более близком, расположенном на полпути между Сувалками и Петербургом — Вильне.

Накануне условленного дня выехал я из Сувалок в десять часов утра. По свежестроенной линии — Ораны, Сувалки, Гродно — двигались поезда убийственно медленно. Прибыл я в Вильну в девять вечера и взял номер в когда-то блестящей, потом вышедшей из моды, хорошо известной виленским старожилам, Европейской гостинице на Немецкой улице. Выспавшись и отдохнув, как следует, отправился я в коляске гостиницы на вокзал встречать Беклемишева, который должен был приехать в час пополудни.

Туннеля с подземными ходами и ступенями, как сейчас, тогда не существовало. Я стоял на платформе и смотрел на приближавшийся поезд. Когда он остановился, из вагона первого класса вышел высокого роста, широкоплечий моряк, со светлыми, коротко подстриженными, облежавшими лицо, бороною и бакенами и в темных очках. Я сделал к нему движение. В свою очередь Беклемишев — это был он — узнал меня по хромой ноге, приветливо улыбаясь, ко мне направился. Назвав себя и познакомившись, я повел его к коляске усадил и повез к себе в гостиницу.

Мы вошли в номер и сели за стол, он в кресло, я на диване. Раскрыв портфель, Беклемишев вынул журнал "Море и его жизнь" и важно передал мне его со словами: "Вот мой журнал. Надеюсь, вы не откажете принять в нем участие". — Я взял книгу и поблагодарил.

На первой странице изображен был овальный портрет великого князя Александра Михайловича, а кругом, медальончиками — офицеры и команда броненосца "Ростислав". Проза и стихи принадлежали перу офицерской молодежи, лейтенантам и мичманам. Роскошная внешность журнала, обилие иллюстраций и т.п. прикрывали, с первого взгляда заметную, его бессодержательность. Очевидно, расходовал издатель не свои деньги, а какого-либо учреждения или мецената.

— Вы писали великому князю о Босфоре. Теперь у вас есть орган, в котором вы можете проводить ваши взгляды, — загово-

рил Беклемишев. — Просить вас быть моим сотрудником, — для этого собственно я и приехал, добавил он после паузы.

“Только для этого? Если так, не стоило приезжать и меня заставлять ездить”, — подумал я, но ничего не возразил и молча продолжал разглядывать журнал.

Разговор не клеился. Я расспрашивал моего собеседника, скоро ли займет великий князь самостоятельный пост, в каких он отношениях с Витте и т.д. Беклемишев отвечал уклончиво, нехотя и, к досаде моей, возвращался снова к журналу. “Обратите внимание на фантастический рассказ лейтенанта Н., — настаивал он, — описание сражения между черноморским нашим флотом и двумя английскими эскадрами в водах Мраморного моря. Ведь это как раз то самое, о чем вы мечтаете”. — Беклемишев говорил внушительным тоном, давая понять, — он переполнен государственными тайнами, доверить их, однако, мне, человеку постороннему и которого он видит в первый раз, он не имеет права.

Было ясно: великий князь и Беклемишев решили привлечь меня к работе, но под благовидным предлогом участия в журнале и с тем, чтобы я, особенно на первых порах, не претендовал на иное положение.

— Николай Николаевич, — обратился я к Беклемишеву, — мне пришла в голову мысль: погода хорошая, вместо того, чтобы сидеть в душной комнате, поедемте в Ботанический сад, пообедаем на открытом воздухе?

— Ах, нет, — с явным неудовольствием воскликнул Беклемишев. Нас могут увидеть, а я этого чрезвычайно боюсь. Пообедаемте-ка лучше здесь.

Делать было нечего. Я позвонил и вошедшему человеку велел подать закуску, два обеда и бутылку красного вина.

Выпив и закусив, Беклемишев сделался общительнее. Подробно рассказал он мне недавнюю свою поездку вверх по Дунаю и в Балканские земли. Он вынес впечатление — балканские славяне тяготеют к России. Болгары и те встречали его радушно и выражали сочувствие державе-освободительнице.

Восторг его я охладил замечанием: братушки большие мастера втирать очки в глаза сановным русским путешественникам.

жены, не одобрил и Сологуба. Военный министр Куропаткин, не упуская случая подслужиться сильным мира, Сологуба уволил и на его место назначил генерала Жилинского.

Генерал-квартирмейстер, начальник штаба наместника Дальнего Востока, варшавский генерал-губернатор, главнокомандующий соединенными армиями против Германии, какими подвигами заслужил Жилинский возвышение столь необыкновенное? Все, что про него было известно: он служил в кавалергардах, жена его исполняла романсы в гостиных высшего круга, и сам он пользовался успехом в свете. *Quel charmant homme!* — о нём был единодушный отзыв.

Во взглядах двух наших представителей в Японии — военного — полковника Ванновского и морского — капитана Русина, обнаружилось разногласие. Военное могущество Японии оценивал Русин высоко, а Ванновский его преуменьшал. Начальник штаба Сахаров и генерал-квартирмейстер Жилинский, сообразуясь с настроением государя императора (который никак не мог позабыть удара сабли, нанесенного ему японцем в Отсу, и относился к Японии пренебрежительно), донесения Русина положили под сукно, а донесения Ванновского, признав их более достоверными, приняли к руководству.

Война с Японией военную нашу систему опрокидывала вверх дном, отвлекала наши силы от прямого их назначения, расстраивала и разрушала военно-политические наши планы. "Концентрация, концентрация, — восклицал Протопопов. — Хороша, нечего сказать, концентрация — война на расстоянии десяти тысяч верст, при единственном пути сообщения сибирской магистрали, недоконченной и необорудованной".

Где же они были, — пресловутый мозг армии, — ученые тупицы и пролазы Генерального штаба, Куропаткины, Сахаровы, Мышлаевские, Янушковичи и т. п., — самоуверенностью и пошлою развязностью импонирующие и прикрывающие нравственное свое убожество и скудоумие? Почему не предостерегли они государя, не раскрыли перед ним голый правды и не уговорили его лучше уступить, нежели пускаться, очертя голову, в предприятие заведомо безнадежное? Не хватило у них гражданского мужества или не отдавали себе отчета в положении они сами и, сидя по углам, чаяли — пронесет Бог

грозу мимо, и, после легких побед над "япошками", как из рога изобилия, посыплется на них ордена и отличия?

— Война с Японией несчастье и гибель России, — писал я великому князю. — Победа ничего нам не принесет, ибо вырвут её и присвоят себе покровительствующие Японии морские державы, Америка и Англия, тогда как поражение разорит Россию и внутри империи вызовет смуту. Подобно мексиканской экспедиции императора Наполеона III, предшествовавшей войне с Германией, война с Японией только прелюдия последующей войны, более обширной, в предвидении которой не расточать и не разбрасывать нам следует силы, а беречь их и сосредоточивать.

Когда в середине лета побывал я в Петербурге, война с Японией была в полном разгаре. Японцы побеждали нас на суше и на море. Первым делом представился я великому князю. Он был под впечатлением неудач наших на войне. Тем не менее, не терял надежды на благоприятный поворот военного счастья. На мой вопрос — отчего вернули назад эскадру адмирала Вирениуса, которая шла на подкрепление флоту нашему в Порт-Артур? — Ах, она была слишком слаба, состояла всего из четырех судов и по этой причине не могла переменить положения в нашу пользу, — ответил он тоном, как мне показалось, недовольным. — Решено вооружить и послать эскадру более грозную, — добавил он в заключение.

Начальником морского штаба был мой сослуживец по Болгарии и Англии Зиновий Петрович Рождественский. Он жил в здании Адмиралтейства.

С Рождественским не встречался я со дня последнего свидания нашего в Лондоне. Вид у него был удрученный, болезненный. Он страдал болезнью, которая и свела его в могилу, нефритом. С первых слов обрушился он на адмирала Алексева, по его убеждению, главного виновника постигших наш флот бедствий.

— Какой он военный, какой моряк, — нападал на него Рождественский. — Когда мы с ним плавали в китайских водах под командою адмирала Тыртова и пришлось ему на некоторое время заменить Тыртова, растерялся он окончательно и не знал, что делать. Оказалось — перезабыл он сигналы.

— Говорят, — вставил я, — вывел он флот и оставил его без заграждения, руководствуясь инструкциями из Петербурга.

— Какой вздор, — с негодованием воскликнул Рождественский. — Отсюда было ему предписано выйти в море и освещать путь крейсерами. Вместо того, два крейсера "Варяг" и "Кореец" упрятал он в мешок гавани Чемульпо, где японцы их и отрезали. Флот расположил он на открытом рейде, мер предосторожности не принял и подставил его под удары японских миноносцев.

— Какое действие производят наши поражения на великого князя Алексея Александровича, генерал-адмирала? — любопытствовал я узнать. — Или содержанка его, Валлета, настолько его поработила, что его уже ничем не проберешь и ко всему относится он безразлично?

— Этот ничего не делает, но зато сидит смирно и никому не мешает, — отвечал Зиновий Петрович. — А вот великий князь Александр Михайлович, тот путаник. Желая как-нибудь помочь флоту нашему в Порт-Артуре, отправили мы эскадру адмирала Вирениуса. Она прошла через Суэц и находилась в Красном море. Я должен был ехать догонять её и принять над нею командование. На беду вмешался великий князь Александр Михайлович. — Эскадра де слишком слаба; получится один срам, основное правило стратегии действовать сосредоточенно, а не *par petits paquets*, — принялся он доказывать. Я пробовал возражать, но послушались его, а не меня. Морякам нашим, шедшим на выручку товарищам, незавидная выпала доля: возвратиться домой бесславно, во всех портах, куда они заходили по пути, осыпаемые градом насмешек.

— А все-таки, Зиновий Петрович, через сколько времени думаете вы снарядить нашу армаду и поспеть на место? — спросил я у Рождественского.

— В мирное время еле плетемся мы из порта в порт и всё время чинимся, а тут предстоит обогнуть материк Азии, — сказал Рождественский и безнадежно махнул рукой. — На войне промедление смерти подобно. Падет Порт-Артур, погибнет флот, тогда и выручать будет некого, и останется лишь просить мира.

Правильность взгляда Рождественского подтвердили

события. В современной войне крепость имеет значение исключительно при условии, когда сохраняет она связь с полевою армией. По этой причине не покинуть должны мы были Порт-Артур, а отстаивать к нему подступы, не допускать или, по крайней мере, стараться замедлить его обложение, помогать ему и подкреплять его всеми способами. Куропаткин, а за ним великий князь Александр Михайлович поступили как раз наоборот. Уведя войска, Куропаткин бросил крепость на произвол судьбы и предоставил ее собственным её средствам. Помешав подкреплениям придти вовремя, великий князь Александр Михайлович отнял у флота нашего, запертого в Порт-Артуре, последний шанс прорвать блокаду и пробиться во Владивосток. Военные действия на море распались на две части. Между ними образовался промежуток — передышка, которою японцы воспользовались превосходно. Запоздалую, переутомленную, обросшую ракушками, вторую половину нашего флота, губительным огнём, ещё невиданной по силе артиллерии, уничтожили они под Цусимую.

— Вы меня спрашиваете, какие у меня шансы победы? — на вопрос Беклемишева, накануне отплытия эскадры приехавшего посетить его в Либаве, сокрушенно отозвался Рождественский. — Японские суда наскочат на подводный камень или сгустится туман, под прикрытием которого удастся мне с эскадрой незаметно проскользнуть во Владивосток. Вот и все мои шансы. Других у меня нет.

Но, если не верил Рождественский в успех предприятия, разве не было прямым его долгом откровенно доложить об этом государю? Вопрос существенно важный, вопрос совести. Давая чувствовать правду, но ее не договаривая, какими же руководствовался он побуждениями?

Обстоятельства — японцы разовьют небывалой силы огонь, который воспламенит наши броненосцы, как сухие стружки, — никто не предугадывал, а поэтому в предварительные расчеты оно не входило. По числу судов силы наши и японские были равные: двенадцать линейных кораблей с одной стороны, двенадцать с другой. На этом основании государь имел право ожидать — что-нибудь совершит эскадра. Строить флот, всё равно было необходимо. Ведь не могла же Россия остаться без

флота. Сооружение эскадры само по себе являлось угрозой. Объяви Рождественский громогласно: победы не будет и поражение неминуемо, он развенчал бы экспедицию и лишил бы ее всякого демонстративного значения.

Императора Николая II предостерегали и обращали его внимание на преимущества японского флота по сравнению с нашим: японцы у себя дома, наш флот из-за тридцати земель придет усталый, не имея точки опоры и словно висит на воздухе; артиллерия у японцев более крупных калибров, личный состав их получил боевое крещение и гораздо опытнее. Великий князь Александр Михайлович, который подал мысль экспедиции, когда пал Порт-Артур, переменял свой взгляд и стал высказываться против. Отсоветовал царю посылать эскадру представитель дружественной державы, французский посол Ромпар. Но раз что засело и вкоренилось в упрямую голову Николая II, выбить оттуда было невозможно.

Основанный на сложных механизмах, современный флот представляет собою последнее слово техники и требует глубоких научных познаний и тщательной подготовки. Страна в техническом отношении слабо развитая, страна земледельческая, как бы она ни напрягалась и сколько бы денег ни тратила, а хорошего флота ей не завести никогда. Воображать, что в короткий срок нескольких месяцев из устарелых, выключенных из строя судов возможно создать могущественную эскадру печальное заблуждение. Нашелся проповедник этого заблуждения, и не какой-нибудь морской волк допотопных традиций, а молодой учёный моряк, лектор морской академии, капитан Кладо.

Близкий к Рождественскому, боевой его сподвижник, капитан Семёнов, в статьях, появившихся сначала в суворинской "Руси", а потом собранных и выпущенных отдельным изданием, рассказал, каким образом небольшая группа шарлатанов и придворных интриганов, пользуясь пассивностью морского ведомства, вырвала у него и захватила в свои руки экспедицию адмирала Рождественского. Центром и душой этой группы был капитан Кладо. Посредником между нею и царем служил начальник военно-походной канцелярии капитан граф А.Ф. Гейден. Генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович проводил время на охоте или у своей возлюбленной и

в дела не вмешивался. Управляющий морским министерством адмирал Авелан постоянно хворал. Министерство сводилось к помощнику Авелана адмиралу Вирениусу, который самостоятельности не выказывал и беспрекословно исполнял все то, что внушала ему клика.

После того, как Порт-Артур пал, а следовательно, в подкреплениях не нуждался, Рождественский уже не торопил свою эскадру, а, наоборот, старался замедлить её отплытие. Пока соберется она в путь и прибудет на место, тешил он себя надеждою, наступит мир, и тогда в столкновении двух флотов минет надобность. Сам он с главными силами направился кругом Африки. Остальная часть судов, с адмиралом Небогатовым во главе, должна была, пройдя через Суэц, соединиться с ним в Мадагаскаре. Зная, что эскадра Небогатова состоит из тихоходов, полезна ему быть не может и напрасно лишь свяжет его действия, он попробовал от неё отделаться и просил её задержать. В ответ получил он извещение, которое сильно его раздосадовало: — “Эскадра Небогатова идет к вам на помощь в отличной исправности”.

Как только появился наш флот во французских водах Индо-Китая, в парижской мелкой социалистической печати, подкупленной английским и японским золотом, поднялся шум: Россия — де пользуется французскими гаванями, как своими собственными, она компрометирует нейтралитет Франции и втягивает её в войну. Французское правительство сильно встревожилось. Когда Рождественский с эскадрою прибыл в Камранскую бухту, намереваясь постоять там и отдохнуть, командующий французскими морскими силами, адмирал Бьенэмэ, умолял его присутствием своим не создавать осложнений и как можно скорее уйти.

Из Камрана Рождественский донес в Петербург: продолжительность перехода изнурила эскадру и соответственно понизила ее боеспособность. Самое большее, чего полагает он возможным достичь, пробиться во Владивосток. Ответ пришел ясный и категоричный: — не того ждет от вас Россия. Она надеется — вы разобьете японский флот и овладеете главенством на море.

Телеграмма эта была смертным приговором эскадре.

Катастрофа сделалась неизбежной. Повернуть назад воспрещало начальство. Стоять на месте не разрешали друзья французы. Рождественскому оставалось одно: если нельзя было одолеть врага, по крайней мере, не посрамить русского имени и погибнуть со славою.

Страшная весть о разгроме эскадры Рождественского под Цусимую облетела Россию и сердца русских людей, еще не утративших чувств любви к родине и народной гордости, переполнила скорбью. Либеральные круги себя утешали — правительство вынуждено будет дать конституцию. Они уже в то время проникнуты были духом пораженчества и держались принципа: чем хуже, тем лучше.

Великий князь Алексей Александрович был настолько расстроен, что два дня не выходил из апартаментов. — Даже такая ничем непошибимая скотина и та восчувствовала, — грубо, но правдиво и рельефно выразился по этому поводу, хорошо знавший великого князя деятель морского штаба, капитан Зилоти.

Первоначально русское общество, незнакомое с подкладкою дела, не умело разобраться в вопросе — каким образом произошла катастрофа и кто ее виновник? Судьями и толкователями были Кладо и его соумышленники, т. е. лица, вызвавшие экспедицию и заставившие Рождественского (который думал уклониться и ограничиться демонстрациею) пойти напролом. Разумеется, им важно было замести след непрошенного своего вмешательства, ответственность свалить на Рождественского и выставить его козлом отпущения. Только с возвращением наших моряков из японского плена и появлением в "Руси" полных патетического негодования разоблачений капитана Семенова, обнаружилась правда и совершился поворот общественного мнения в пользу Рождественского.

Что же Государь Император? Кому другому, а ему было видно: экспедиции Рождественский не сочувствовал, она была ему навязана, пошел он с эскадрой вопреки собственному убеждению и не по доброй воле, а повинуюсь велению свыше. Томимый неизлечимым недугом, снаряжая эскадру и во время пути, перенес он невероятные трудности. Сражаясь, он проявил чудеса самоотверженности, энергии и мужества. Почему же не встретил

его Самодержец милостивыми словами: — вы сделали всё, что могли, Зиновий Петрович. Не ваша вина, если произошло несчастье.

Но этих простых, от сердца идущих слов, он не сказал, отнесся к Рождественскому холодно, с видом недоумения, и для проверки правильности его действий назначил комиссию. Задача, которая выпала комиссии, была шекотливая и неблагодарная. Ей приходилось выбирать между Рождественским и придворными интриганами, прикрывавшимися именем Государя. Как вышла она из затруднительного положения, я не знаю. Важно было то, что доклад комиссии опубликован не был и остался канцелярскою тайной. Правительство сознавало — Рождественский располагает достаточным обличительным материалом, и опасалось, как бы не переменились роли: из обвиняемого не сделался бы он обвинителем.

В Соляном городке, в помещении Императорского Технического Общества под председательством Беклемишева собиралась и заседала Лига Обновления Флота. Членом Лиги был и я. На одно из заседаний, по просьбе Беклемишева, пожаловал Рождественский.

Как только разнеслась весть — Рождественский на заседании, из отделений Общества, словно из щелей тараканы, наползли интеллигенты, инженеры и техники, неприглашенные, без входных билетов, с нескрываемым умыслом наговорить Рождественскому горьких истин и, таким образом, лишний раз обнаружить несостоятельность самодержавного строя.

Ораторы следовали за ораторами. Напрасно останавливал их председатель и призывал к порядку. Они возвращались все к той же теме: в поражениях наших на суше и на море виновато правительство. Я сидел возле Рождественского и за ним наблюдал. Слушал он с видом усталым и равнодушным, как вдруг один из ораторов начал доказывать — поражение под Цусимую прямое последствие воровства. Рождественский встрепенулся и попросил слова. Мгновенно водворилось в зале гробовое молчание.

В кратких, но ярких чертах изобразив картину Цусимского боя, каким образом японские бризантные снаряды в непродолжительный промежуток времени обратили наши

броненосцы в сплошное пожарище, Рождественский перешел к вопросу воровства. — Быть может, — сказал он, — готовясь в поход, я и мои товарищи чего-нибудь не доглядели. Быть может, в отдельных случаях были злоупотребления. Но те, которые лежат теперь на дне Корейского залива, — и голос его задрожал от волнения, — они не воровали.

Неудержимый, оглушительный взрыв рукоплесканий был единодушным ответом собрания на выступление Рождественского в защиту памяти погибших товарищей. Скандал, который намеревались устроить ему радикально настроенные интеллигенты, превратился в шумную овацию.

На следующий день речь Рождественского появилась в газетах, а затем была передана за границу по телеграфу. С этой минуты общественное мнение безусловно перешло на сторону Рождественского.

Здоровье Зиновия Петровича становилось с каждым днем хуже. По ночам делались у него, сопровождаемые невыносимыми болями, сердечные спазмы. Летом, между тем, как проходил он курс лечения в Наугейме, распространился, неизвестно откуда взявшийся слух: он, будто бы, умер. Мнимая эта смерть послужила поводом проявления горячих симпатий к доблестному воину и жертве придворной интриги. Со всех сторон посыпались в Наугейм соболезнования и просьбы сообщить подробности о ходе болезни и ее развязке. В числе наводивших справки находился германский император Вильгельм.

Рождественский прожил ещё несколько месяцев вплоть до Нового года. Квартиру занимал он в Эртелевом переулке бок о бок с редакцией "Нового Времени". Он встретил новый год с семьей и, поужинав, поднялся по внутренней лестнице во второй этаж, где была его спальня. Тут хватил его удар. Он упал и более уже не вставал.

Зиновий Петрович Рождественский один из замечательнейших людей, с которыми я встречался на моем веку. Родись он в благоприятное время, страницу русской истории украсил бы он славным именем героя-флотоводца. Немилосердная судьба решила иначе: деятельность его совпала с эпохой распада и дала обратные результаты. По случаю его кончины я поместил в "Петербургских Ведомостях" прочувственную статью.

Плод самомнения и упрямства, поход Рождественского на Японию в истории занимает место наряду с другими подобными, затеянными "рассудку вопреки, наперекор стихиям" предприятиями: походом персидского царя Ксеркса на афинян, непобедимую Армадою короля испанского Филиппа II и неудавшейся, закончившейся поражением при Трафальгаре, диверсией адмирала Вильнева. На ходе событий, в смысле ближайших последствий, войне и заключении мира с Японией, — разгром нашего флота под Цусимою, отразился довольно слабо. Война все равно была проиграна. В отношении внутреннего положения России, раскрыв и выставив на показ язвы самодержавно-бюрократического строя, Цусимская катастрофа явилась богатою темой для дискредитирования правительственной власти и толчком для её ниспровержения.

В отношении политики внешней она рассеяла призрачные мечтания о главенстве на Тихом океане и прекратила антагонизм наш с Англией, нашей давнишней соперницей. Стремясь обезопасить владения наши на Дальнем и Среднем Востоке, но не полагаясь на собственные силы, заключили мы с нею конвенции, подчинились её влиянию и пошли у нее на буксире. Соответственно ухудшились отношения наши с Германиею.

Ю. С. Карцов

ЗАПИСИ В. М. ЗЕНЗИНОВА

БЕСЕДЫ С И. А. БУНИНЫМ

Villa Belvédère Grasse 1934

29.X.1934

— Сионские протоколы не могли иметь значения. Конечно, они могли создавать иллюзию оправдания для администрации, но ведь неверно, будто администрация организовывала погромы. Погромы совершал народ... Да вы видали ли погром? Я видел погром самый страшный в Одессе.

— Русский народ не любит евреев. Не любит по многим причинам: потому что евреи успевают в конкуренции, в торговле, не любит из-за религиозных переживаний — "Христа жида распяли". Не любят и те, кто евреев не знают, не жили с ними. А хохлы не любят, потому что их знают. Правда, благодаря своей изворотливости, мягкости, лиризму хохлы могут внести ноты добродушия. Но сами по себе хохлы — злой народ. А вот в Новороссии люди без лиризма, с одной жестокостью...

— В первые годы революции евреи страшную роль сыграли. Особенно молодые евреи в чеке. Хотя с евреями и в чеке можно было разговаривать — например, Северный в Одессе (это псевдоним, конечно). А вот вспоминаю я одного грузина. Мчался он в автомобиле, глазища — во! Лицо худое, как у архангела, вокруг головы красный башлык, в правой руке ружье, в левой наган. Я увидал, остановился среди улицы, рот разинул — Что это? Ангел смерти? Фамилия его была Клименко — тоже псевдоним.

Слушает внимательно, но с неприятной улыбкой французскую речь в радио.

— Что это за язык, е. м.! Какой-то развратный, упадочный. А раньше в нем много дикого было — все эти "oi": всё это при-

знаки дикости. Потом звуки эти отпали, но язык стал отвратный. Разве вы не слышите сами? Ну что это такое, е. м.? Как говорит! Ну просто как б...! Что если я вам буду говорить: — ну, возьмите-е еще-е кусо-оче-ек, пожа-алуи-ста-а-а! ...Нет, нет... И сколько фальши! Английский и немецкий языки тоже не приятны, но всё же они естественнее. Русский язык гораздо проще, естественнее. Нет в нем фальши.

Неаполитанские песни в радио.

— Италию впервые в Венеции увидел. Почему-то на вокзале стал требовать разного вина. Принесут бутылку, а я другого хочу попробовать, получше. Бутылок двадцать принесли. А я всё говорю "ансога". Весь стол заставили, бегают, обалдели совсем, ничего не понимают. Потом начали хохотать, как сумасшедшие.

— В Неаполе мы с Горьким совсем напильсь. Горький в меня тычет: —ессо... poeta gusso... Ну как его... vino... еще, ансога... — По-итальянски ни черта не может сказать. Я тогда один две бутылки осадил. Итальянцы пьют, на гитарах играют (показывает, как откидываются назад всем корпусом). Я танцевать пустился (заложил руку за затылок). Сколько народу кругом собралось. Смотрят, смеются, подпевают... Совсем пьяны были — и я и Горький.

— Да, было дело. А теперь что? Старик, старый мерин в лаврах...

И низко поник головой...

31.X.

— Я часто думал, Иван Алексеевич, что если бы Чехов прожил дольше, вы бы с ним крепко подружились?

И. А. ответил не сразу, сначала задумался.

— Нет, не думаю. Очень мы с ним были разные люди. Правда, Чехов меня любил, всегда мне радовался. И мне он казался совсем не похожим на всех других писателей — ведь вы и представить себе не можете, какая всё это была сволочь. Самая настоящая сволочь!

— Вы не забываете, из какой среды Чехов вышел, можно сказать — выбился. Из настоящей мелко-мешанской, торговой. Человек он был сдержанный, застенчивый, даже стыдливый. Такой и вся его семья была — и мать его и Маша. Мне Маша

сама рассказывала, как она к девочкам Толстого попала. Слышали они, что отец Чехова-писателя хвалит. Позвали к себе Машу — познакомиться. А они такие — все слова произносят на все буквы: и на г, и на ж... Кроме того любили в других подмечать дурное, было это в семье. И как брякнет одна из них о каком-то писателе: — "Ну, что это — ведь это настоящее г..." — Маша так и шарахнулась. Потом уж привыкла, да и я ее приучил. Человек она была простой, здоровый — любила со мной смеяться. (Вера Николаевна шепотом: — "Ведь Марья Павловна влюблена была в Ивана Алексеевича..."). А теперь она совсем с ума сошла, по-настоящему.

— А как, Иван Алексеевич, вы объясняете перелом, который в Чехове произошел — от юмористических рассказов к грусти, от беззаботного и жизнерадостного Чехова к сумрачному...

— Никакого особенного перелома в нем не было. Вот уж нельзя его назвать ни жизнерадостным, ни беззаботным — никогда таким не был. Что писал юмористические рассказы, по этому судить нельзя — это внешнее. Да и какая это юмористика! О чем он тогда писал? Подмечал нелепости жизни, смешное в человеке... Проститутка ищет, где бы занять ей деньги. Идет к зубному врачу, но просить не решается. Он садит ее в кресло, вырывает ей зуб и она отдает ему свой последний рубль. Идет по улице и плюет кровью. Не правда ли, как всё это смешно? Возьмите его "Пестрые рассказы" — разве они смешны?

— Конечно, с годами он делался более грустным, задумывался — потом болезнь, которую он, как врач, хорошо понимал. Вот тогда он и *начал* писать по-настоящему, — проблески этого видим в "Архиерее", "В овраге". Это уже была настоящая литература. Если бы прожил больше, дал бы настоящее...

— "Жизнерадостный" Чехов, "беззаботный"... Вот уж нет! Что такое жизнерадостность? Он никогда своей души не открывал, разве иной раз блеснет глазом — всегда был сдержанный, никогда у него не была душа нараспашку. А возьмите меня — я, наоборот, безудержный, могу и люблю размахнуться — многие меня и сейчас странным считают.

— В его жизни много женщин было, сколько одних актрис... Комиссаржевская, Таня Куперник (Щепкина-Куперник) да и с Лешковской что-то было. Так и с Книппер. Ну, остановились в

гостинице Киста... Вы Севастополь знаете? Обрыв, южный вечер. Абрау Дюрсо... Экая беда, он и значения этому не придавал. Актриса! И позднее звал ее ехать по Волге — и так, чтобы другие не знали. Молодая еще, свежая, блестящая — вероятно и как женщина ему нравилась, хорошо сложена, хотя и было в ней, пожалуй, что-то деревянное... А она к этому иначе отнеслась. Что там говорить — между нами сказать, она его на себе женила. Он-то наверное об этом и не думал.

— Ее называли самой умной женщиной Москвы.

— Да? Не знаю, не слыхал. Особенно умной ее никогда не считал. (Вера Николаевна: "Была культурная, воспитанная — культурнее и воспитаннее Чехова и он это, вероятно, чувствовал"). Не понимаю, как она могла с ним в одну постель лечь. Ну, один еще раз куда ни шло... Ведь он уж в каком был состоянии. Я его как раз в это время в Ялте видел. Позвонили по телефону, ответил два слова и мне трубку передал, подтолкнул. — "Не могу говорить, соврите что-нибудь — отозвали, вызвали..." Взял я трубку, так и отшатнулся: из трубки прямо мертвечиной несет — и какой мертвечиной. В пять или шесть дней... А ведь всего два слова сказал. Ведь у него был туберкулез кишечника. Я знал, что с ним кровавый понос бывает — ну, думал: понос и понос. А это, оказывается, туберкулез был.

— Сам он ни за что бы не женился. Мне одному как-то сказал: — "Знаете, жениться я решил". — Я: — "Ну, что же, дело хорошее. Подавай Бог". — "Женюсь на немке. Чистая, не то что русская, которая лицо только вот до сих пор моет. Эта и за ушами, и шею, и всюду мыть будет. До скрипа. И в комнатах чисто будет. Ребята не будут на четвереньках в моем кабинете по полу ползать и костью в таз бить..." — А у самого вид немножко смущенный. Хотел мое мнение услышать. А я что скажу? Конечно, понял, о ком говорил.

— Не очень была подходящая пара. Маша и мать, с которыми до сих пор всегда вместе жил, очень ревновали. Я видел, что с Машей делалось — с Машей он очень близок духовно был. А мать говорила: — "Жена актриса — что за жизнь! Будет жить в Москве, а Антоша в Ялте. Актриса — заведет себе в Москве любовников!"

— После смерти Чехов все оставил Марии Павловне — и

литературное наследство и дачу свою. Книппер же оставил маленькую хибарку с клочком земли, которую за 10.000 купил в Крыму. А дача его тогда в 150.000 золотых рублей была оценена. Это даже скандально вышло. Конечно, с Машей он духовно и душевно ближе был.

Вера Николаевна: — Но Книппер же и передала всё это в распоряжение Марии Павловне. Чехов всё это на клочке бумажки написал перед смертью — Книппер могла ее изорвать...

— Извини, пожалуйста. Чехов не такой человек был — у него всё было аккуратно, всё в порядке. Наверное, настоящее завещание в сейфе лежало, в московском Лионском Кредите. Бывало, идет и говорит: — "Да-с, иду в банк купоны стричь".

— Почему, говорите, Книппер за него замуж вышла? Ну, конечно, по честолюбию.

— В Москве у нас был телефон: трещит без конца, а ничего не слышно, и говорить в него нельзя — дотронешься, искры из него во все стороны летят — тр-р... тр-р... фырк... фырк... Мы его и на бумаги ставили, ватой закладывали, калосей прикрывали — ничего не помогало: трещит и искры выскакивают. Так и Андрей Белый.

— Ну просто сумасшедший. Говорят там, что сумасшествие и гениальность как-то там сопрягаются, что они конгениальны. Может быть, даже наверное так. Но лучше уж каждое отдельно: сумасшествие без гениальности, а гениальность без сумасшествия. Так гораздо лучше.

РАССКАЗ ХУДОЖНИКА Ф. МАЛЯВИНА

2.XI.

— Мне 65 лет, а давайте попробуем в перегонки — наверное вас перегоню.

— Дед мой был, должно быть, француз. Вырезывал из дерева Распятия в натуральную величину. Вы только подумайте такую нелепость: разве будет русский человек Распятие вырезать? Когда он умер, я очень обрадовался: был у него ящичек, а в ящичке огрызок цветного карандаша и ножичек; он этим ножичком еще и буквы вырезал. И как умер, я сейчас же этим ящичком овладел. Как-то я нарисовал буквы и показал ему.

— Ах ты, постреленок, тоже умеешь — пошел вон! — И к ящичку близко не подпускал.

— Было мне 7 или 8 лет. Нашел я 33 копейки, купил на них фуксина, бумаги. Нарисовал десять святых — я думал, что рисовать можно только из головы. Когда мне сказали, что их можно с икон срисовывать, очень удивился — это так легко. Картинки свои продал по 3 копейки за штуку. Был у нас священник. Вдовый, ухажер и кавалер, держал у себя красивых стряпок, ходил в шелковой рясе. Я его не любил — наша семья вся была очень религиозная. Рассказывали, что, когда стряпка его родила, он взял ребенка за ноги и ударил головой о косяк, а потом велел его стряпке зарыть в землю. Все это знали, но никто ничего не сказал. И когда он вошел в избу, где были картинки моих святых, я очень волновался, что он скажет. В избе он остался долго, а когда вышел, сказал мне, чтобы к нему пришел — карандаш мне даст. А когда пришел к нему, ничего мне не дал — забыл.

— Землю я не любил — пахать, косить, терпеть не мог, а отец заставлял, не хотел, чтобы я был живописцем. Но когда мне было 16 лет, я отпросился на Афон — слышал, что там рисуют. Отец не мог мне отказать — поехать на Афон дело хорошее. Когда приехал на Афон, меня спрашивают, умею ли я рисовать? Я ответил, что всё умею, всему уже научен — боялся больше всего, что к краскам не допустят. Был там монах, взял меня к себе — я и стал рисовать. Скоро монахи и стали говорить: — А ведь у брата Филиппа лучше выходит. — Монах обиделся. — Что вы, про меня говорят, что у меня итальянщина, а итальянцы в живописи первые мастера. — Может быть, — отвечают ему, — а всё же у брата Филиппа лучше. — Монах обиделся, начал меня преследовать. Шесть лет пробыл я на Афоне послушником. Поехал в Петербург воинскую повинность отбывать — денег мне на дорогу дали. На Афоне видел меня попечитель Беклемишев, еще раньше Богданов-Бельский. Уже тогда я не любил в картинах ничего неестественного — Левицкий казался мне слишком слащавым.

В Петербурге пришел в Академию. Привели меня в класс — вижу, рисуют орнаменты с натуры. Я до тех пор не видел, чтобы с натуры рисовали — показалось мне это очень высоким,

недостижимым. Там всё были ученики из школ Московской, Киевской. Но очень скоро орнаменты эти одолел. Сразу перевели в фигурный класс. Сначала я был третьим, потом вторым, наконец и первым. — Эге! — думаю.

— Учеником нарисовал я "Красных баб". С Бенуа не соглашался и с Дягилевым всегда спорил: зачем нам подражать Европе?! Мы и Европу должны в себе переработать по-своему, по-русски.

В. М. Зензинов

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ ВЕЛИЧКОВСКОГО

Лет шесть или семь радовали меня прилетавшие из Булони в Рио де Жанейро письма прекрасного русского поэта Анатолия Евгеньевича Величковского. Писал он мне и о житейских мелочах, но больше и охотнее всего о русской поэзии. Переписка наша завязалась уже после того, как я побывал в Париже в октябре 1973-го года: лично мы так и не встретились. До самого последнего времени я знал Анатолия Величковского как поэта тютчевской линии, как противника всепожирающего прогресса, как человека, причастного мирам иным, неверующего, но плачущего сердцем о своем неверии.

Сборника его стихотворений "Лицом к лицу" (1952) я никогда не видел. По-настоящему узнал его внутренний мир по его второй книге "С бору по сосенке" (1974), о которой тогда же написал довольно обстоятельный отзыв (напечатан в "Новом Журнале"). Ту же тематику разрабатывал поэт и в последнем своем сборнике "О постороннем" (1979), мой отзыв о котором в печати не появился. Еще раньше, в самом начале нашей эпистолярной дружбы, писал я о его повести "Богатый" (1972) — вопле в защиту истребляемых ненавистным прогрессом безответных животных. Тема эта — "зверолюбие" — образовала прочный мост между Францией и Бразилией.

Милый, умный, тонкий русский поэт умер 2-го января 1981 года. Только теперь получил я от спутницы его жизни, писательницы Нины Ровской, краткое жизнеописание поэта.

Родился Анатолий Евгеньевич Величковский 1/14 декабря 1901-го года в Варшаве. Детство и юность провел в Елисаветграде, а на лето уезжал в имение родителей. Именно в эти годы сложилась в нем ласковая, бережливая любовь к природе: лошади и собаки стали для него как бы членами семьи,

но не только домашние животные, а и те, которые приручению не поддаются и прозываются дикими, вошли в расширенный круг его любовного внимания.

Восемнадцатилетним, А. Е. Величковский вступил в Белую армию, затем оказался в Польше, где управлял имением одной польской графини и снова наслаждался тесным общением с природой.

Следующим — и последним — этапом его жизни стала Франция, где поэт сначала был рабочим на металлургическом заводе на севере страны, а затем ночным шофером (в зимнем холоде, без теплой одежды, без сна).

Первые стихи его были напечатаны в Сборнике Объединения Молодых Деятелей Науки и Искусства в Париже (год неизвестен), затем — в "Эстафете" (1948 год). Это был большой успех: Величковского заметили Бунин, Адамович, Маковский. С тех пор его стихи и рассказы печатались постоянно в журнале "Возрождение", в "Новом Журнале", в газетах. По объему самый крупный его рассказ — "Отщепенец" (в "Русской Мысли"). К собственному литературному архиву Величковский относился крайне небрежно: не только журналов со своими стихами и рассказами не хранил, но успел забыть и их названия!

"Ключ к его стихам, — цитирует Н. Ровская, — отчаяние. Оно и сделало меня поэтом. Отчаяние — потеря родины, гибель старой России, гибель природы в наш технический век — природы, которой он молился и которую обожествлял. Он поэтызыкчик, если хотите. В каждом ее проявлении для него тень Бога: например, в дожде он видит одежду Творца, к которой благоговейно прикасается губами... Для него величайшая трагедия — разрушение человечеством нерукотворной, то есть созданной Высшим Созидателем природы; отсюда и его ненависть ко всему неодушевленному, что создают люди якобы для своего блага, но в то же время, в конечном счете, для собственной гибели: гибель природы закончится и гибелью человека. Машина — по его убеждению — от дьявола."

Несравненно просто подводит поэт итоги собственной жизни и творчеству:

"Всю жизнь свою витаю в облаках
И существую на земле при этом:

Перед земным существованием страх
 Меня заставил сделаться поэтом.
 И я живу, живу поверх всего,
 Поверх себя, поверх незримой крыши,
 Поверх отчаяния моего —
 Меня ведет отчаяние свыше.”

Валерий Перелешин.

ЮРИЙ ТЕРАПИАНО

Юрий Терапиано, как и некоторые другие эмигрантские поэты, Владимир Смоленский или Николай Туроверов, участвовал в Добровольческой армии. Не был он фанатичным националистом, вообще политикой не занимался, но был верным рыцарем России и утверждал (вместе с Мережковским): мы не в изгнании, а в послании. В стихах он вспоминал не о победах или поражениях Белой армии, а о страданиях и просветлении в военном госпитале:

Раненый, в Ростове, в час бессонный,
 На больничной койке, в смертный час,
 Тихий, лучший, светлый, примиренный,
 До рассвета, не смыкая глаз,
 Я лежал. Звезда в окне светила.
 И сквозь бред, постель оправить мне,
 Женщина чужая приходила,
 Ложечкой звенела в тишине.

Многие читатели запомнили эту *ложечку*, и слышится в ее звоне милосердие, утешение, надежда.

Ему иногда трудно жилось в Париже, где он провел лет около шестидесяти. Он во Франции не акклиматизировался, но и не так уж страдал от ностальгии. Чудились ему в Париже тени поэтов — Верлена, Рембо или Леконта де Лилля, и он посвящал им стихи. А в юности нравилось ему шеголять парижанином:

Я люблю, по-парижски закутавши шею
 Черным в крапинках шарфом, без цели идти...

В мирном, населенном детьми Люксембургском саду, неожиданно посетило его видение конца мира: он увидел, как "над часами каменной башни" опустился Архангел Божий... И: "время остановилось": Ту же вневременность (вечность) он

ошутил в позднейших — как бы прощальных стихах:

И как будто время стало
Занавесочкой такой,
Что легко ее устало
Отвести одной рукой.

Тема смерти господствовала в стихах многих парижских поэтов 30-х г. г., и иногда даже казалось, что они кокетничали пессимизмом... Терапиано никогда не забывал о "мemento мори", но сохранял спокойствие мудреца, принимающего и жизнь, и смерть, как его любимые герои Гомера.

Ему удавались прерывистые "дольники" (паузики), но вообще он чуждался всякого экспериментирования в поэзии. Его можно назвать неоакмеистом. Но близок он не столько Гумилеву, сколько Мандельштаму с его антично-классическими реминисценциями. Не было у него надтреснутости т. н. "младших акмеистов", принимавших участие в гумилевском Цехе поэтов, но в эмиграции очень далеко отошедших от акмеизма: он не знал метаний Георгия Иванова между музыкой бытия и бытовым цинизмом, вызванным отчаянием. Редко звучал он в парижской ноте Георгия Адамовича, призывавшего писать скромно, тихо, бедно, почти прозаически, не обольщаясь ни метафорами, ни мифологией. Терапиано тоже писал просто, обходясь без речевых орнаментов, но Навзикая, играющая в мяч, оставалась ему близкой и в современном Париже.

Позиция Юрия Терапиано в эмигрантской поэзии была *средней*: не любил он крайностей — ни авангардных, ни романтических и был чужд модного в 30-х г.г. пессимизма. Он предпочитал *золотую середину*: был всегда уравновешен в поэзии, но не холоден, не равнодушен к современному миру, к человеку. Есть во многих его стихах сердечность, нежность, хотя бы в его *Ласточке* (посвященной Аглаиде Шиманской):

Стань мне подругой вечернего света,
Нежной сестрой в небесах у Создателя.

Ю. К. Терапиано издал шесть сборников стихов: *Лучший звук* (1926), *Бессонница* (1935), *На ветру* (1938), *Странствие земное* (1950), *Избранные стихи* (1963), *Паруса* (1965). Были изданы его книги *Путешествие в неизвестный край* (1946), *Встречи* (воспоминания и статьи, 1953), книга о маздеизме, и под его редакцией — антология *Муза Диаспоры* (1960). Он

сотрудничал во многих эмигрантских журналах (в *Современных Записках*, *Числах*, *Новом Журнале* и др.), а также в газетах. В продолжении многих лет Терапиано писал отзывы о книгах и больше всего о сборниках стихов в *Русской мысли*. Пожалуй, можно его упрекнуть в некоторой чрезмерной снисходительности к слабым стихотворцам: он не любил кого бы то ни было хулить, обижать. Но, несомненно, многое верно угадал в поэзии значительных поэтов, будь то Георгий Иванов, Ирина Одоевцева или Игорь Чиннов.

Юрий Константинович Терапиано род. 9 (21) янв. 1892 г. в Керчи, где окончил классическую гимназию, а в 1916 г. юридический факультет Киевского университета Св. Владимира. В 1917 г. воевал на Юго-западном фронте, а в конце лета 1919 г. добровольно вступил в Белую армию. Поселившись в Париже, Терапиано, вместе с Д. Кнутом, А. Ладинским, В. Мамченко, В. Андреевым, организовал Союз молодых писателей и поэтов. Он скончался 3-го июля 1980 г. под Парижем, в Ганьи. Отпевание состоялось в православной церкви Русского дома.

Я много раз встречал Ю. К. в разных парижских кафе и ресторанах. Говорили, конечно, о поэзии, но и о литературном быте. У меня сохранились десятки его писем — это целая хроника литературных событий лет за 20. Был он среднего роста, плотный, и казался здоровым, хотя давно уже, после сложной и серьезной операции, должен был соблюдать строгую диету. Киевлянин — был он по-петербургски подтянут, несколько сдержан и неизменно доброжелателен.

Лучший венок на его могилу — поэта-мастера и верного друга — эти стихи Игоря Чиннова:

ПАМЯТИ ЮРИЯ ТЕРАПИАНО

*По утрам читаю Гомера,
И взлетает мяч Навзикааи.*

Ю. Т.

В кафе "У Денизы" нас было трое:
Ирина Одоевцева, Вы, я.
И вы читали стихи о Трое
И что не будет небытия.

Я плохо помню строфу о Гомере.
Был вечер, Париж, бульвар Распай.
И я завидовал Вашей вере,
Что души бессмертны, есть Бог и рай.

Уже полгода, как нет Вас на свете.
Есть то кафе, каштан, Монпарнас.
Афина в шлеме на древней монете,
Мной привезенной, бессмертной Вас?

Я в Греции был. Я не видел Трои.
Не мчался на битву Алкивиад.
Не Одиссей валялся на зное
У опрокинутых колоннад.

Но ... мир Одиссеи, мир Илиады...
Солнечный диск метал дискобол.
Рыжебагряный лист винограда
Трогал, играя, ветер Эол.

Над горным обрывом мелькнула серна,
В долине шли овцы и пастухи...
Это голос Ваш, глуховато, мерно
Скандирует греческие стихи?

... Над Люксембургским садом сияя,
Как над Акрополем, как тогда,
Круглится месяц. Нет — мяч Навзикаи!
А души — бессмертны. Бессмертны, да?

Юрий Иваск

ПОСЛЕДНИЙ СЪЕЗД БРЕЖНЕВА

1. К ситуации в партии и стране

С 23 февраля по 3 марта 1981 г. в Москве происходил XXVI съезд КПСС. Политический отчетный доклад на нем сделал Л. И. Брежнев, экономический доклад — Н. А. Тихонов ("Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981 - 1985 годы и на период до 1990 года"). В кратком анализе докладов Брежнева и Тихонова мы хотим обратить внимание только на те пункты, которые кажутся нам важными, особенно в докладе Брежнева. Сначала о некоторых "протокольных мелочах".

Накануне XXVI съезда Брежнев преподнес знатокам протокола ЦК (а этот протокол ведется куда скрупулезнее, чем его вели дворы абсолютистских монархий) сюрприз, на который не отважился бы не только Ленин, но и сам Сталин.

Брежнев сообщил в "Правде", что он как Генеральный секретарь стоит выше Политбюро (по Уставу высшие руководящие органы партии идут по нисходящей линии так: съезд партии, Пленум ЦК, Политбюро, Секретариат, Генсек). Так, когда Политбюро вынесло от имени ЦК постановление об утверждении "Основных направлений экономического и социального развития", то Брежнев присовокупил к нему свое личное постановление:

1. *Одобрить* проект ЦК КПСС...
2. Опубликовать проект ЦК КПСС...
3. Провести обсуждение проекта...

Генеральный секретарь ЦК КПСС

Л. Брежнев"

("Правда", 2.12.1980)

СЪЕЗД БРЕЖНЕВА

Формула на этот счёт раньше гласила, в согласии с Уставом, что ЦК одобряет проект любого докладчика, в том числе и генсека, у Брежнева получилось наоборот. Это, конечно, протокольный ляпсус, но этот ляпсус очень характерен для стиля брежневского руководства и вполне укладывается в рамки необузданно раздуваемого до абсурда "культа Брежнева" (в телевидении и во всех кино идут серии картин, заснятых по мемуарам Брежнева в стиле всепобеждающего древнерусского богатыря, перед которым бледнеют все эти мифические Геркулесы и исторические Наполеоны). До сих пор при перечислении имен членов Политбюро имя Брежнева называли всегда в общем списке, хотя и первым, не соблюдая алфавитного порядка, обязательного для других, а теперь его выделили по примеру Сталина из общего списка, называя его отдельно как генсека, а потом идет общий список членов Политбюро. Ожидал советских телезрителей и другой сюрприз. До сих пор доклады Брежнева на съездах партии и сессиях Верховного Совета транслировались прямо из зала, а теперь транслировались только начало и конец доклада, а дальше текст читал диктор. Это вызвало целый переполох среди иностранных журналистов, которые, не будучи допущены на съезд, сидели в Прес-бюро съезда у телевизора. Сколько бы они ни добивались узнать причину, они толком ничего так и не узнали.

Объяснение, видимо, простое: уже из этого начала доклада было видно, как Брежневу было трудно его читать. Осилить почти четырехчасовой доклад он просто не был в силах. Он, видимо, читал наиболее важные отрывки, а в остальном сослался на письменный текст, заранее розданный делегатам.

На съезд было назначено 5002 делегата из областей, краев и национальных республик (формально пропущенные через местные конференции и съезды, они до прибытия в Москву утверждаются отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС). По социальному положению в отчете Мандатной комиссии были названы только следующие категории:

1. Парработников — 1077 человек;
2. Чиновников Советов, профсоюзов и комсомола — 691 человек;
3. Чиновников сельского хозяйства — 877 человек;

4. Чиновников промышленного управления — 609 человек;
 5. Интеллигенция (ученые, писатели и др.) — 269 человек;
 6. "Знатные люди" из рабочих и колхозников — 99 человек.
- (В отличие от прошлого съезда мандатная комиссия не назвала числа военных делегатов).

По возрастному составу — до 36 лет — 12%, до 60 лет — 26%, старше 60 лет — 12%, остальные — 50% в возрасте до 50 лет. Из них 27% женщин. Н съезде представлены 66 национальностей СССР ("Правда", 26.2.1981).

Как по форме и стилю, так и по содержанию работы XXVI съезд был не обычным съездом, обсуждающим и дискутирующим острые проблемы внутренней и внешней политики, а представляет из себя огромное сборище элиты партии и государства, на котором участвовало около пяти тысяч делегатов и более тысячи гостей из-за границы и из актива партии в столице. Только в отличие от шума толпы на обычных сборищах здесь царил мертвая тишина, строевой порядок и давящая торжественность. Напрасно Брежнев жаловался в докладе, что все еще не сформировался "советский человек". Если бы возможно было воскресить Ленина и привести его обозреть зал этого сборища, он, наоборот, сказал бы: "Да, советский человек создан" и, пользуясь терминологией своего соратника Троцкого, может быть, только добавил бы: "Сталин вырастил от моего имени голосующее стадо людей!" Надо дать должное большевикам: они унифицировали не только мысли, но и низменные побуждения людей: честолюбие, эгоизм, пороки, продажность. Пользуясь этой стороной человеческой природы Сталин и создал того "советского человека", который уникален как гражданин — он поменял личную свободу на спокойствие, человеческие достоинства на привилегии, сомнения гражданина на уют мешанина. Он, как говорил Эренбург, усовершенствованный коммунистический человек ("ускомчел"), который без малейшего притязания на цинизм мог бы сказать о себе: "Голова мне нужна, чтобы не думать". Он до глубины души убежден, что это тоже его редкая привилегия, что тяжкую обязанность думать за него взял на себя мудрый ЦК! Поэтому он будет голосовать за любые решения этого ЦК, одинаково как за благотворные, так и преступные. И история с него ничего не спросит — он был всего

лишь винтиком механизма ЦК, представителем "голосующего стада". Об этих "советских людях" хорошо сказал писатель Александр Зиновьев: обещаю им похороны у стен Кремля, они готовы на любое свинство, ибо, говорит Зиновьев, они вообще не люди, а социальные функции без человеческой примести" ("Зияющие высоты"). Поэтому понятно, что и на XXVI съезде этих "социальных функций" царил тот же классический сталинский ритуал: ЦК объявил свои мудрые решения, а в пяти тысячной аудитории поднялся лес рук за эти решения без вопроса, без возражения, без воздержания при диких криках "слава, слава, слава", "бурная и непрекращающаяся овация", как отмечает протокол. Конечно, встает вопрос — неужели нет в 17-миллионной партии критически мыслящих коммунистов? Безусловно есть, но таким коммунистам попасть на съезд партии труднее, чем верблюду пролезть через игольное ушко.

На съезде было представлено 17 с половиной миллионов коммунистов, из которых 43,4 процента рабочих (что это за рабочие можно судить по тому, что почти все члены Политбюро являются "рабочими" или "крестьянами"), 43,8 процента интеллигенции, то есть партийной и государственной бюрократии, 12,8 процента колхозники ("колхозниками" числятся и вся колхозная бюрократия). После последнего съезда была проведена негласная чистка — из партии были исключены 300 тыс. членов и 91 тыс. кандидатов за разные преступления (коррупция, взяточничество, присвоение "социалистической собственности", пьянство, всякого рода "уклоны"). В связи с этим Брежнев заметил: "Никаких поблажек и никому, когда речь идет о чести и авторитете нашей партии, о чистоте ее рядов". Среди исключенных был и ряд видных коммунистов-диссидентов (известный писатель Виктор Некрасов, старая коммунистка Лерт, ученая Орлова-Копылева и др.), а также много рядовых членов партии, эмигрировавших на Запад.

Известная установка Сталина — в руководящие органы партии выдвигать не представителей гуманитарных наук, даже не представителей юридических наук, а представителей инженерно-технического персонала последовательно проводится в жизнь и руководством Брежнева. Он сообщил съезду, что три четверти секретарей Центральные комитетов республик, край-

комов, обкомов, две трети секретарей горкомов и райкомов партии имеют техническое образование. Затаенный мотив этой установки — представители гуманитарных наук склонны к рассуждениям и своеволию, а специалисты — исполнительны и более покорны. Но у них есть и недостаток (Брежнев: "специалисты не обладают достаточным политическим опытом"), то есть послушны верхам, но не умеют командовать низами. Поэтому всех этих специалистов пропускают через высшие партийные школы и курсы. Брежнев сообщил, что из этих специалистов в истекшие годы после последнего съезда 32 тыс. человек прошли через партийные школы и 240 тысяч человек — через партийные курсы, где их обучали только одной науке: как управлять партией и государством. Их профессора — члены Политбюро, Секретариата ЦК и министры СССР. Через такие школы и курсы прошли в свое время и все члены нынешнего ЦК и его Политбюро. Брежнев, как и надо было ожидать, поставил вопрос и о пересмотре действующей ныне "Программы КПСС", принятой в 1961 г., о чем мы поговорим дальше. Брежнев не дал ответа на кардинальный вопрос: почему двадцатилетняя "Программа КПСС" не была выполнена. Единственно, что он сказал о причинах ее пересмотра, это следующее: "Ныне действующая 'Программа КПСС' в целом правильно отражает закономерности общественного развития. Но с момента ее принятия минуло 20 лет". Брежнев только косвенно признался, что со строительством обещанного коммунистического общества к 1980 г. (Программа: "Нынешнее поколение будет жить при коммунизме") ничего не вышло, ибо, оказывается, что между социализмом и коммунизмом лежит еще один этап или одна фаза, которая не была известна не только Марксу и Энгельсу, но также и Ленину со Сталиным — это фаза "реального", "зрелого" или, по последней терминологии, *"развитого социализма"*. К разочарованию тех, кто предвкушает, что вот-вот водворится коммунизм и рай благоденствия осчастливит "нынешнее поколение", Брежнев доложил, что по его новому "научному открытию" в марксизме новый этап или новая фаза — это "необходимый, закономерный и исторически длительный период в становлении коммунистической формации". В таких случаях привыкший не возмущаться русский человек говорит: "Вот тебе,

бабушка, и «Юрьев день!» А умный Мао, прочитав советскую Программу, уточнил тогда же и «исторически длительный срок» — 500-1000 лет!

В отношении партийного руководства в докладе Брежнева прозвучала мысль, которая до сих пор была табу — это о *коллективности* высшего партийного руководства. С тех пор как Брежнева объявили единоличным лидером партии, перестали употреблять выражение «коллективное руководство», ибо при «коллективном руководстве» нельзя выпячивать отдельные личности. Если и встречалось это выражение в партийной прессе, то только по адресу нижестоящих органов партии, но никак по адресу верхов.

И вот, совершенно неожиданно, после февральского пленума ЦК, на котором утверждался Отчетный доклад Брежнева, «Правда» в передовой статье, посвященной этому пленуму и предстоящему съезду, пишет: «Партия постоянно развивает внутривнутрипартийную демократию... Позволяет каждому высказать свое мнение... КПСС стремится к тому, чтобы *принцип коллективности руководства неукоснительно соблюдался во всех звеньях — от первичных организаций до Центрального Комитета*» («Правда», 22.2.1981). Эта передовая «Правды» несомненно есть пересказ того, что сказано о «коллективности руководства» на высшем уровне в закрытом решении пленума ЦК. Поэтому в своем докладе на съезде Брежнев уделит специальное внимание именно «коллективности руководства».

Брежнев на этот раз действительно отчитывался перед съездом, как бы доказывая, что лично он ничего не решал, все вопросы обсуждались и решались на пленумах ЦК (11), на заседаниях Политбюро (236), Секретариата (250). Брежнев нашел нужным указать, что «При подготовке к заседаниям, как и в ходе обсуждения, высказывались различные мнения, вносились многочисленные замечания и предложения... В этом единстве — сила *«коллективного руководства»*. Это «коллективное руководство» и есть Политбюро. Он дал понять, что, вопреки его «протокольному ляпсусу», это Политбюро стоит и над ним: «Политбюро — это поистине боевой штаб нашей многомиллионной партии. Именно здесь аккумулируется *коллективный разум* партии и формируется партийная политика».

Почему стал вопрос о "коллективном руководстве" вдруг таким актуальным? Я не думаю, чтобы это было в результате конфронтации разных групп и мнений на пленуме ЦК или в Политбюро. Ведь Брежнев и пленум ЦК, говоря о коллективности высшего руководства в лице Политбюро, только констатировали существующее фактическое положение вещей. Брежнев был и остается его исполнительным репрезентантом, которому намеренно создавали ложную репутацию всемогущего вождя партии и главы государства. Сейчас наступает новый период в истории партии. Предстоит уже в силу биологических законов смена руководства. В такие переходные периоды каждый новый лидер партии начинал свою карьеру с провозглашения "ленинских принципов коллективности руководства" (Сталин, Маленков, Хрущев, Брежнев). Сталину и Хрущеву потом удалось поставить себя над этим руководством, Маленкову и Брежневу этого не удалось, ибо они были не политиками, а бюрократами. Преемник Брежнева тоже начнет свою карьеру с провозглашения "коллективного руководства". Поэтому партия решила объявить об этом на последнем съезде Брежнева.

В разделах, посвященных внутренней политике и состоянию партии звучали и другие новые нотки, указывающие на новые проблемы и заботы. Особенно тревожит руководство развитие национальных взаимоотношений в стране, где представлены более ста различных народов. Послевоенная политика партии в этом вопросе, особенно в период правления Хрущева и Брежнева, сводилась к планомерной и интенсивной денационализации многих народов через их языковую русификацию и дерусификацию самих русских через их ассимиляцию с нерусскими народами — это и называется на языке партии формированием "единого советского народа". Эта политика встречает уже открытое сопротивление с обеих сторон — как со стороны русских ("неославянофильство", "почвенники"), так и со стороны национальных меньшинств, особенно в Прибалтике, на Кавказе, Туркестане, в Татаро-Башкирии. Причем некоторые из нерусских народов, которым административно навязывают русский язык вместо своего родного языка, являются культурно-исторически более древними народами, чем сам русский народ — например, грузинский народ. Советское правительство в Москве

издало ряд распоряжений (Высшая аттестационная комиссия, Министерство высшего образования), которые запрещают писать в грузинских вузах дипломные работы и диссертации на грузинском языке. Против этого в письме на имя Брежнева протестовало в 1980 году 365 видных грузинских ученых и деятелей культуры, с именами, известными не только в СССР, но и на Западе ("Посев", №2, 1981). Какая была реакция Брежнева на это письмо, неизвестно, но в своем докладе он говорил, что "в нашей стране уважают национальные чувства, национальные достоинства каждого человека", однако ударение Брежнев делал на "формирование культуры единого советского народа — новой социальной и интернациональной общности".

По второму "острому вопросу", почему ведущие должности в национальных республиках занимают люди не коренной национальности, Брежнев открыто поддержал великодержавников: "Состав населения советских республик многонационален. И естественно, что все нации имеют право на должностное представительство в их партийных и государственных органах". Это был косвенный ответ на жалобы эстонских, латышских и литовских коммунистов, что у них повсюду командуют русские коммунисты, а местные коммунисты выполняют роль помощников и переводчиков. Брежнев сказал, что партия будет бороться и против "антисемитизма", но так как он связал борьбу с "антисемитизмом" с борьбой против "сионизма", то он по существу амнистировал антисемитизм, ибо в советских условиях легальной формой антисемитизма как раз и является борьба с "сионизмом". Писателям и художникам Брежнев обещал тяжелую жизнь. Партия будет "активно и принципиально выступать в тех случаях, когда появляются произведения, порочащие нашу советскую действительность. Здесь мы должны быть непримиримы", — сказал он.

За успехи в строительстве "развитого социализма" Брежнев щедро роздал похвалы Советам, профсоюзам, комсомолу, партии, ее ЦК, Политбюро, Секретариату, но дифирамб пел только одному учреждению: КГБ. Стоит привести сказанное о нем: "Острота классово-борьбы на международной арене предъявляет высокие требования к деятельности органов государственной безопасности, к партийной закалке, знаниям и

стилю работы наших чекистов. Комитет государственной безопасности СССР работает оперативно, на высоком профессиональном уровне... Зорко и бдительно следят чекисты за происками империалистических разведок. Они решительно пресекают деятельность тех, кто становится на путь антигосударственных, враждебных действий (это по адресу диссидентов — А. А.). И эта работа заслуживает глубокой признательности партии". Это и есть признательность КГБ за успехи его террористической и шпионской практики внутри и вне СССР.

Ораторы, которые были назначены ЦК для выступления по докладу Брежнева, должны были заранее представить аппарату ЦК тексты своего выступления, в том числе и иностранные гости. Все выступления были составлены по одному шаблону — доклад Брежнева — "великий теоретический и практический вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма". Некоторые делегаты даже побили все предыдущие рекорды по "культу Брежнева" — так, когда первый секретарь в Грузии Шеварднадзе назвал доклад Брежнева "документом больше, чем эпохальным", то первый секретарь Краснодарского крайкома Медунов его переплюнул, назвав доклад Брежнева "гениальным". Разумеется, что ни одного критического замечания по адресу ЦК не было (руководителю итальянской компартии, который хотел сделать такое замечание об Афганистане, слова не дали). Между делегатами "братских партий" из социалистических стран роли были распределены — Кастро атаковал Америку, Ле Зуин (Вьетнам) и Цеденбал (Монголия) атаковали Китай. Берлингуер (КП Италии) и Карилло (КП Испании) демонстративно отказались приехать, прислав делегации во главе со своими помощниками (потом испанская делегация вообще ушла со съезда и вернулась домой). Марше, по соображениям оппортунистическим, в связи с президентскими выборами во Франции, тоже не приехал сам, а прислал Гастона Плиссонье, речь которого на съезде все-таки была, в глазах Кремля, явно "еврокоммунистической", но без упоминания Афганистана и Польши. Назвав "некоторые успехи" СССР "поразительными", Плиссонье все же отказался признать советский социализм моделью для других. Он сказал: "Потребности народа и страны не допускают шаблона и копирования чужого

опыта". Он добавил: "Социализм, за который мы боремся демократическим путем, будет иметь своеобразные черты и отражать национальные традиции страны" ("Правда", 21.2.1981). Не этого хотел Брежнев от Марше, но Плиссонье говорил на Московском съезде, а обращался к французским избирателям.

С молчаливого согласия компартий из 94 стран, представленных на съезде, и, конечно, с одобрения Политбюро главы делегаций Израиля и Турции внесли на съезд предложение созвать новую мировую конференцию компартий (последняя такая конференция была в 1969 г.). Трудно судить, какая ее реальная перспектива, но само это предложение показывает, что Кремль хочет координировать в новых условиях мировое коммунистическое движение, разработать его новую стратегию и активно возглавить проведение в жизнь такой стратегии. Это тоже ответ президенту Рейгену насчёт "мировой революции". Этот же ответ вновь звучал и в заключительной речи Брежнева при закрытии XXVI съезда, когда он сказал: "Революционное преобразование мира невозможно предотвратить".

КПСС существует более 80 лет, сначала как социал-демократическая (с 1898 г.), потом как коммунистическая партия (с 1918 г.). Но XXVI съезд — это первый съезд в истории этой партии, на котором фактически не состоялись выборы руководящих органов: Брежнев просто сообщил заключительному заседанию съезда, что вновь созданный ЦК (тот же старый ЦК плюс 40 членов и 20 кандидатов) утвердил без единого изменения, дополнения, перемещения весь персональный состав — 14 членов Политбюро, 8 его кандидатов, 10 секретарей ЦК КПСС. Омоложение руководства, которого хотели внутри страны и ожидали за рубежом, не состоялось. Старики из Политбюро и Секретариата, видимо, решили, что каждый из них, как положено революционеру, должен умереть на "революционном посту", иначе нет гарантий быть похороненным на Красной площади у стен Кремля.

II. Ответ Брежнева Рейгену

Весь мир с любопытством, а некоторые и с опаской ждали, какой ответ Кремль даст на своем XXVI съезде на прямые и

конкретные обвинения президента Рейгена и государственного секретаря Хейга:

1. Советское руководство, пользуясь методами обмана и лжи продолжает добиваться своей исконной цели — мировой революции и мирового господства;

2. Советское руководство повсюду поддерживает международное террористическое движение.

Ответы Брежнева и Суслова были косвенные, по форме сдержанные, а по существу вызывающие. Суслов заявил: "Мы с большим удовлетворением сообщаем, что на XXVI съезд по приглашению ЦК КПСС прибыли 123 делегации коммунистических, рабочих, национально-демократических и других партий и организаций из 109 стран всех континентов нашей планеты" ("Правда", 24.2.1981).

Суслов уточнил и расположение этих вспомогательных опорных пунктов большевизма, приславших делегации по континентам: 12 "братских партий" из социалистических стран, 24 компартии из Западной Европы, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, 27 компартий из Азии и Океании, 31 компартия из африканских стран, 29 компартий из Латинской Америки.

Брежнев посвятил данному вопросу целый раздел доклада под названием: "КПСС и мировое коммунистическое движение". Там сказано, что "К рубежу 80-х годов международный рабочий класс и его политический авангард — коммунистические партии — подошли уверенной поступью... Коммунистическое движение продолжало расширять свои ряды, укреплять свое влияние в массах. Сейчас компартии активно действуют в 94 странах мира... Наша партия, ее ЦК вели активную работу, направленную на дальнейшее расширение и углубление всестороннего сотрудничества с братскими партиями". Брежнев нарисовал "жуткую" картину преследования коммунистов в "странах капитала": "Через террор и гонения, через тюрьмы и колючую проволоку концлагерей, в самоотверженной работе на благо народов, проносят коммунисты стран капитала свою верность идеалам марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма... Честь и слава коммунистам!" (бурные продолжительные аплодисменты, "Правда", 24.2.1981).

В самом начале своего доклада Брежнев доложил съезду, что в союзе с этими силами сфера влияния коммунизма расширилась, а сфера "империализма" сузилась: "Новыми победами ознаменовалась революционная борьба народов. Свидетельство тому — революции в Эфиопии, Афганистане, Никарагуа, свержение монархического режима в Иране... Сузилась сфера империалистического господства в мире... Резко возросла агрессивность политики империализма — прежде всего американского" (там же). Таков ответ Брежнева президенту Рейгену.

Брежнев совсем не думает оправдываться перед Рейгеном, вовсе не отрицает приписываемые ему методы и цели. Наоборот, он и Суслов фактами и примерами доказывают, что по осуществлению поставленной Лениным и партией цели они значительно продвинулись вперед.

На Западе ожидали другого: Кремль будет отрицать приписанные ему методы и цели, а главное — боялись, что Рейген и Хейг своими резкими выступлениями надолго закрыли двери к дальнейшим переговорам с Москвой. Но опять произошло "неожиданное": Брежнев на съезде торжественно предложил встречу с Рейгеном, более того, он заранее согласился и на то, о чем раньше Кремль не хотел и разговаривать — на новые переговоры о ракетах в Европе (после известного решения НАТО о "довооружении"), на распространение зоны уведомления о военных манёврах и передвижениях войск на всю европейскую часть СССР (раньше Кремль соглашался уведомлять о движении войск только в западных районах СССР) и что еще более важно, Кремль согласен начать новые переговоры по СОЛТу-2.

Нельзя найти лучшего доказательства для подтверждения старой истины: в Кремле уважают силу и сильных людей! То, что не удалось ни Картеру, ни Конгрессу, ни союзникам по НАТО, а именно — склонить Москву к новым переговорам по ракетам, расширению зоны контроля и по СОЛТу, Рейген добился лишь одной речью от 29 января 1981 г. Однако не надо обманываться насчёт истинных мотивов искомой встречи — главная ее цель — разведывательная. Кремль как свою американскую, так и мировую политику строит на учёте личных качеств и возможностей каждого американского президента. Поэтому и тактика Кремля варьируется в зависимости от того, кто сидит в Белом

доме. Учитывается всё: влияние в Конгрессе, черты характера, привычки, связи, человеческие слабости, честолюбие, религиозность, осведомленность в советской тактике и стратегии. В трех случаях такая политико-психологическая "анатомия президента" себя оправдала — в отношениях с президентами Рузвельтом (Ялта), Никсоном ("разрядка", СОЛТ- 1), Картером (СОЛТ-2, советская бригада на Кубе), в двух случаях сорвалась — в отношении с президентом Труманом (Берлинская блокада, Иранский Азербайджан, Греция, Турция и Корея) и в отношении с президентом Кеннеди (Берлинский ультиматум и ракетная авантюра на Кубе), но вот предстоит самая ответственная проверка — с кем имеет дело Кремль в лице нового президента Рейгена?

По существу советской политики безудержного вооружения Брежнев ничего утешительного не сказал. Рейген в речи перед Конгрессом от 17-го февраля говорил: "Начиная с 1970 г. СССР потратил на вооружение 300 миллиардов долларов больше, чем США", Брежнев, который делал свой доклад через неделю после речи президента Рейгена, не стал оправдываться или опровергать это утверждение президента. Он только заявил, что он никому не даст достигнуть или перейти того уровня вооружения, которого достиг ныне Советский Союз. Вот его слова: "Мы и не позволим создать такое превосходство над нами. Подобные попытки, а также разговоры с нами с позиции силы абсолютно бесперспективны".

В то же время Брежнев продолжал развивать известную советскую политику по разложению НАТО изнутри, делая одним условные комплименты (Жискара д'Эстен, Шмидт, Брандт), другим выговоры. Брежнев угрожающе заявил, что размещение на территории европейских стран членов НАТО "новых американских ракетноядерных средств" наносит ущерб их безопасности. Не уточняя, какой же "ущерб" Советский Союз хочет им нанести, Брежнев прибег к прямому шантажу: "Так что у правительств и парламентов этих стран есть основание еще и еще раз взвесить весь этот вопрос".

Что же касается вопросов "мировой революции" и "международного терроризма", то ТАСС и чекисты дали на них ответы как раз накануне открытия XXVI съезда: ТАСС заявил, что требование Рейгена остановить "мировую революцию" такое же

безнадежное дело, как остановить вращение Земли вокруг ее оси, чекисты, в свою очередь, проиллюстрировали речь Хейга новейшим, но не последним примером: они бросили за два дня до открытия съезда пятнадцатикилограммовую бомбу в здание радиостанций "Свободная Европа" и "Свобода" в Мюнхене, ранив восемь человек, из них три тяжело, и причинив ущерб более 4-х миллионов марок.

III. Интеграция Восточной Европы, "Диссидентские" компартии

Брежнев уделил большое внимание успехам СССР по интеграции "стран социализма" и заботам Кремля по нахождению общего языка с "диссидентскими" компартиями. Отметим "влиятельную и благотворную роль" организации Варшавского пакта и ее Политического консультативного комитета в европейских и международных целях, Брежнев сообщил, что уже созданы и действуют новые органы: Комитет министров иностранных дел, Комитет министров обороны. Компартии связаны между собою на каждом уровне — республик, краев, областей, районов и даже крупных предприятий, периодически созываются общие собрания секретарей ЦК по идеологии, по международным отношениям, по партийно-организационной работе. Через эти каналы происходит интенсивная унификация внутренней и внешней политики "братских стран" с политикой КПСС.

Также интенсивно происходит и "экономическая интеграция" братских стран с экономикой СССР. По этому поводу Брежнев отметил: "На прошлом съезде мы, как и другие братские партии, выдвинули в качестве первоочередной задачи дальнейшее углубление социалистической интеграции на базе долгосрочных целевых программ... Сейчас эти программы воплощаются в конкретные дела. Интеграция набирает темпы". Иначе говоря, экономика восточноевропейских стран постепенно, но систематически превращается в интегральную часть советской экономики, что и подготовит окончательное поглощение сателлитов Советским Союзом под маркой создания новой международной "социалистической федерации народов СССР и Восточной Европы", как это завещал сам Ленин. Этой

стратегической цели Кремля нанесли чувствительный удар польские рабочие, создавшие свой независимый от коммунистов профсоюз "Солидарность", примеру которых последовали польские крестьяне, писатели, студенты. И в этой связи зловеще прозвучали слова Брежнева на съезде:

"Социалистическую Польшу мы в беде не оставим и в обиду не дадим... и пусть никто не сомневается в нашей решимости обеспечить свои интересы". Двусмысленной и заискивающей надо признать трактовку Брежневым вопроса о Китае. Впервые после разрыва с китайской компартией Брежнев удивил нас отказом от всякой критики внутренней политики Китая и даже включение Китайской Народной Республики в доклад в раздел "Развитие мировой социалистической системы, сотрудничество стран социализма" было неожиданным и нелогичным, если вспомнить, что на протяжении почти двадцати лет политический режим в Китае фигурирует в советской пропаганде как антисоциалистический, даже фашистский режим. Кремль возлагает определенные надежды на эволюцию китайской внешней политики в московское направление. Брежнев, ссылаясь на отрицательную оценку, которую дает новое китайское руководство периоду "культурной революции", замечает: "Нам нечего добавить к такой оценке" и продолжает: "Во внутренней политике Китая сейчас происходят изменения. Истинный смысл их еще покажет время. Оно покажет, в какой мере нынешнему китайскому руководству удастся преодолеть маоистское наследие". Словом, Брежнев признает отныне режим в Китае социалистическим и вновь просится в друзья Китая, многозначительно добавляя: "Империалисты друзьями социализма не будут". Клынет ли Китай на этого червячка, покажет время.

В отношении Афганистана Брежнев заявил, что Советская армия оттуда уйдет только тогда, когда соседи Афганистана, значит Иран, Пакистан, Китай, дадут обязательство, что они "банды" засылать туда не будут и гарантируют безопасное существование режима московского сатрапа Кармаля, то есть Советская армия из Афганистана не уйдет. Впервые Кремль признал правомерность возникновения и "еврокоммунизма". Тщательно избегая этот термин, Брежнев нарисовал само это явление в следующих словах: "По мере роста влияния компар-

тий задачи, стоящие перед ними, становятся все более сложными и разнообразными. А это порождает иногда неоднозначные оценки, различия в подходах к решению конкретных вопросов классовой борьбы, вызывает дискуссии и между партиями. На наш взгляд, это вполне естественно... Не так давно руководство некоторых компартий выступило с энергичной защитой права на *национальную специфику путей и форм борьбы за социализм и социалистического строительства*. Однако, если подходить к вопросу непредвзято, то надо признать, что никто никому не навязывает никаких шаблонов и схем, игнорирующих особенности той или иной страны". Тут я думаю речь идёт не только о компартиях Италии, Испании, Франции, но также — и это очень важно — о компартии Польши, ибо фраза "социалистическое строительство" может относиться только к "социалистическим странам". Здесь Кремль хочет убить одним выстрелом двух зайцев — найти модус вивенди с "еврокоммунистами" и объяснить, почему Кремль допускает в Польше, пусть хоть временно, то, чего он не допускает у себя дома. Для оправдания своей позиции Кремль вытащил на свет Божий ту знаменитую цитату из Ленина, с которой Хрущев начал свой "ревизионизм" и десталинизацию на XX съезде в феврале 1956 года. После октябрьских событий в Польше, приведших Гомулку к власти, после ноябрьской революции 1956 г. в Венгрии, кроваво подавленной советскими танками, после неудавшейся "весны" Чехословакии, после разрыва с Китаем данная цитата Ленина была изгнана из "марксистско-ленинской" литературы. Она была просто табу для советских теоретиков, как и ссылка на XX съезд. Вот теперь Брежнев ее реабилитировал. Она гласит: "Все нации придут к социализму, это неизбежно, но все придут не совсем одинаково, каждая внесет своеобразие в ту или иную форму демократии, в ту или иную разновидность диктатуры пролетариата, в тот или иной темп социалистических преобразований разных сторон общественной жизни" (Ленин, ПСС, т. 30, стр. 123).

Этот новый тактический маневр предпринят в надежде вернуть "диссидентских" еврокоммунистов на ортодоксальный курс и одновременно оставить дверь открытой для возможных переговоров с Пекином.

После суда над "бандой четырех" и критики Пекином ошибок Мао, в Кремле, по всей вероятности, пришли к выводу, что Пекину надо делать далеко идущие уступки, чтобы предупредить образование страшного для него треугольника в виде военного союза между Америкой, Японией и Китаем в великоазиатском пространстве и на Тихом океане.

Толчком во всем этом, конечно, служили польские события. Роль сыграл не только героический подвиг польских рабочих, создавших независимый профсоюз, но и другой весьма важный фактор, о котором ничего не говорят, но который заставил Кремль, в конечном счёте, повременить интервенцию в Польше и разработать иные формы разрешения польского вопроса — этот фактор и есть единодушное решение руководства польской партии и польской армии вернуть себе суверенные права во внутренней автономии, которые у него были узурпированы Москвой вот уже 35 лет. Польская компартия явно не подчинилась диктату Кремля, а польская армия дала понять, что на этот раз стрелять в польских рабочих она не будет. Благо-разумные поляки об этом не кричали, они провели свою анти-московскую революцию, в отличие от чехословацкого руководства Дубчека, втихую, давая Кремлю возможность сохранить свое лицо и ссылаясь, вероятно, на вышеприведенную цитату Брежневым из Ленина. Но не надо строить иллюзии — домоклов меч Кремля все еще висит над героической Польшей. Польский пример опасен как прецедент, который может потрясти основы советской империи не только на окраинах, но и внутри страны. Поэтому, если в Кремле решили сделать паузу, то эта пауза будет продолжаться до тех пор, пока не кончится разработка новой стратегической линии и расстановка сил для ее проведения в жизнь.

IV. Экономическая программа XXVI съезда КПСС на период до 1990 года

По существующим внутривнутрипартийным законам и исторически сложившейся традиции на XXVI съезде сначала должны были быть подведены итоги выполнения двадцатилетней программы партии (1961 - 1980), принятой в 1961 г. на XXII

съезде, а потом только утверждена новая программа на следующее десятилетие (1981 - 1990). Этого не случилось, хотя как раз брежневское руководство любит отмечать менее важные события в истории партии, чем принятие такого важнейшего документа во всей истории советского режима, как двадцатилетняя *"ПРОГРАММА КПСС"* 1961 г. Тем более, что ее автором был не Хрушев, хотя он и докладывал о ней, а сам Сулов при ближайшем участии Брежнева, Кириленко, Косыгина. Правда, в новой программе "Основные направления экономического и социального развития на 1981 - 1985 годы и на период до 1990 года" есть ссылки на *"ПРОГРАММУ КПСС"*.

В этой ссылке сказано: данные "Основные направления" составлены, "руководствуясь Программой КПСС". Это всё. Читатель, не знакомый с этой "Программой КПСС" двадцатилетней давности, так и не узнает, что обещала та программа, главное — что выполнено из нее, что не удалось выполнить и по каким причинам. Все предыдущие лидеры КПСС поступали так. Впервые руководство Брежнева нарушило этот незыблемый до сих пор закон. Причины этого становятся ясными, если мы бросим беглый взгляд на основные экономические и социальные установки этой двадцатилетней программы (ссылка на волюнтаризм Хрушева совсем отпадает, ибо после Хрушева на следующем XXIII съезде в 1966 г. хрушевский Устав партии подвергся изменениям, а *"ПРОГРАММА КПСС"* — никаким). Так вот, *"ПРОГРАММА КПСС"* торжественно и обязывающе заверила народы СССР: *"В ближайшее десятилетие (1961 — 1970) СССР превзойдет по производству продукции на душу населения США... всем будет обеспечен материальный достаток; все колхозы и совхозы превратятся в высокопроизводительные и высокодоходные хозяйства; в основном будут удовлетворены потребности советских людей в благоустроенных жилищах; исчезнет тяжелый физический труд.*

В итоге второго десятилетия (1970 - 1980) будет создана материально-техническая база коммунизма, обеспечивающая изобилие материальных и культурных благ для всего населения... Таким образом, в СССР будет в основном построено коммунистическое общество" (последние слова выделены в оригинале — А. А.) (XXII съезд КПСС. Стенографический отчет,

т. 3, стр. 276, Москва, 1962).

Что значит по марксистской терминологии "в основном построить коммунистическое общество"? Это означает: человек "в основном" "работает по своей способности и получает по своей потребности". Практически это общество должно было выглядеть так, как выглядит сегодня "спецраспределитель" Кремля: жены членов Политбюро и секретарей ЦК приходят в этот распределитель, выбирают товары и продукты в потребном количестве и качестве и увозят их по своим квартирам, не платя ни одной копейки (Сталин однажды хотел отменить такой "коммунизм", но это не удалось даже ему!). Как же выполнила партия эту программу? Брежнев даже не поставил этого вопроса, но жизнь уже дала ответ на него. Вот новейшая статистика ООН.

*Динамика мировой хозяйственной продукции
(доля в процентах) с 1960 по 1980 год*

Страны, регионы	1960	1970	1980	1990 / оценка /
<i>Западные страны</i>	63,0	63,7	67,0	67,0
США	30,0	26,7	24,4	22,0
Западная Европа	24,9	25,7	28,2	28,0
Япония	4,3	7,4	10,6	13,0
Другие				4,0
<i>Развивающиеся страны</i>	13,8	14,2	14,7	16,0
<i>Коммунистические страны</i>	23,1	22,0	18,3	17,0
СССР	13,1	13,2	9,8	8,0
Восточная Европа	5,1	4,6	3,5	3,0
Китай	4,0	3,3	4,5	5,5
Другие	0,9	0,9	0,5	0,5

(Источник: "Франкфуртер Альгемайне Цайтунг", 29. 3. 1980, статья Вернера Обста).

СССР не только не догнал Америку, но его обогнала даже Япония, которая в год объявления "ПРОГРАММЫ КПСС" отставала от СССР больше чем в три раза! Если рассуждать не категориями наличных ракетно-атомных арсеналов, а категориями экономической мощи каждой страны или группы стран, то надо пересмотреть и уже изжившую себя теорию о двух "сверхдержавках" — США и СССР. В 1981 год мир вступил при пяти "сверхдержавках" по своей валовой продукции в миллиардах долларов в следующей последовательности:

1. Европейское сообщество	2700
2. США	2600
3. Япония	1200
4. СССР	1050
5. Китай	550

(Источник: там же)

После этих общеизвестных данных совершенно дико звучит заявление председателя Совета министров СССР Тихонова: "Советский Союз выпускает сейчас пятую часть промышленной продукции планеты" ("Правда", 7. 11. 1980). Только в одной отрасли — в отрасли военной экономики — Советский Союз догнал и перегнал Америку, что ярко иллюстрирует следующая таблица Лондонского института стратегических исследований:

Расходы на вооружение в миллиардах долларов

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
США	78	79	86	89	91	100	105	115
СССР	84	91	111	124	127	133	148	165

(Там же).

По экспорту оружия Советский Союз в 1980 г. уже догнал Америку: Советский Союз экспортировал в том году оружия на сумму 7,1 миллиарда долларов против 6,7 миллиарда американ-

ского экспорта ("Зюддойче Цайтунг", 31. 12. 1980).

На Западе говорят по аналогии с собственной экономикой о советском "военно-промышленном комплексе". Эта аналогия вводит в заблуждение. В советском государстве нет ни одной отрасли человеческой деятельности, которая не была бы поставлена на службу войны: одни работают прямо на войну — это чисто военная индустрия, военно-исследовательские учреждения, другие работают косвенно или между делом (военные цехи на гражданских заводах, засекреченные части в гражданских исследовательских учреждениях), не говоря уже о широкой сети мероприятий по мобилизации местной промышленности для нужд войны по так называемым "Мобпланам".

Что же касается обещанной рентабельности колхозов и совхозов, то достаточно напомнить, что, по той же статистике ООН, США производят 230 миллионов тонн хлеба в год, СССР — 180 миллионов, один американский фермер кормит 75 человек, а один колхозник — только 10 человек ("Вельт ам Зоннтаг", 26. 10. 1980).

Даже после второго десятилетия, по признанию Брежнева, только 80% городских жителей получают отдельные квартиры ("Правда", 22. 10. 80). Теперь, когда мы знаем, что партия не только не выполнила своей Двадцатилетней программы (1961-1980), но и не находит нужным дать объяснения о причинах ее невыполнения, то уже этот один факт заставляет отнестись скептически в отношении реальности обещаний и ее новой десятилетней программы (1981-1990). Однако ее выгодно отличает от первой программы, во-первых, ее скромность в обещаниях (учли уроки), во-вторых, ее "эластичность" в цифровых наметках ("от до"), в-третьих, нагромождение канцелярского пустословия, которое можно толковать и так и этак. Центральный тезис "Основных направлений" на 1981-1990 годы гласит: "В восьмидесятые годы Коммунистическая партия будет последовательно продолжать осуществление своей экономической стратегии, высшая цель которой неуклонный подъём материального и культурного уровня жизни народа... исходя из этого, в ближайшее десятилетие: обеспечить дальнейший социальный прогресс общества, осуществить широкую программу повышения народного благосостояния" ("Правда", 2. 12. 1980).

После этого следует второй тезис, от которого много ждешь: "Обеспечить более высокие темпы роста продукции отраслей группы "Б" промышленности по сравнению с темпами роста продукции отраслей группы "А" промышленности" (там же).

Казалось бы, что после такого тезиса партия заявит о радикальном структурном пересмотре сталинской экономической доктрины о примате роста тяжелой промышленности (гр. "А") над легкой (гр. "Б"). Ведь собственно в результате этой сталинской доктрины существовал и существует в СССР перманентный кризис недопроизводства средств потребления. Авторы брежневской программы и не собираются отказаться от этой доктрины. Всего, что они обещают в новой одиннадцатой пятилетке, по сравнению с предыдущей, это увеличить темпы роста легкой промышленности на ... один процент! Читайте: "Увеличить производство промышленной продукции за пятилетие на 26-28 процентов, в том числе средств производства на 26-28 процентов и предметов потребления на 27-29 процентов" (там же).

Однако партийные статистики — мастера жонглировать цифрами и поэтому, такой план будет считаться выполненным, если он выполнен на 27% по легкой и на 28% по тяжелой промышленности. В этом весь фокус этого "от до".

Новая пятилетка обещает увеличить объем легкой промышленности по сравнению с предыдущей на 18-20%, рыбной промышленности на 10-12%, сельскохозяйственной продукции на 12-14%, но все это сопровождается оговоркой "обеспечивать *опережающий рост* производительности труда", которая должна выразиться в легкой промышленности до 20%, а в сельском хозяйстве до 24%. Задача явно утопическая при нынешней системе оплаты труда. Увеличение среднемесячной зарплаты для рабочих и служащих предусмотрено на 13-16%, или в деньгах до 190-195 рублей в месяц (сейчас 165 рублей), доходы колхозников должны повыситься на 20-22% (сейчас их доход в рублях 90-130). Что же можно купить на это "увеличение"? Рабочий может купить себе один костюм, а колхозник только одни брюки!

У. Какая будет политика после "стариков"?

Если, как утверждает молва, люди в старости делаются мудрецами, то надо признать, что советское государство имеет самое мудрое руководство за всю писаную историю человечества. Старики сидят не только в Политбюро, но и на всей вершине пирамиды власти. Достаточно беглого взгляда на ее возрастной состав, чтобы в этом убедиться. В узкий состав Политбюро, который фактически правит страной (я его назвал "Директорией") входят семь человек — Брежнев, Сулов, Черненко, Устинов, Андропов и Тихонов.

1. средней возраст "Директории" — 73 года, а если взять весь состав членов Политбюро — 70 лет;
2. средний возраст секретарей ЦК и заведующих его отделами — 65 лет;
3. средний возраст членов (279) и кандидатов (131) старого ЦК — 64 года;
4. средний возраст членов технического кабинета Брежнева ("Секретариата Брежнева") — 66 лет;
5. возраст председателя верховного партийного суда ("Партконтроль") — 82 года;
6. средний возраст руководства Президиума Верховного Совета СССР (председатель, первый заместитель, секретарь) — 75 лет;
7. средний возраст руководства Президиума Совета Министров СССР (председатель и первый заместитель) — 75 лет;
8. средний возраст министров СССР — 66 лет;
9. средний возраст руководства КГБ (председатель и два заместителя) и МВД (министр) — 69 лет;
10. средний возраст высшего командования Советской армии (министр обороны, его заместители, начальник Генерального штаба, командующие видами вооруженных сил — всего десять человек) — 67 лет.

(Источники: "Ежегодник БСЭ", 1976, Jerry F. Hough, *Soviet Leadership in Transition*, Washington; Н. Градобоев, "Брежневское поколение", НРС, 8. 10. 1980; П. Кружин, "Геронтологические проблемы в вооруженных силах", Радио "Свобода", "Исследовательский бюллетень", 21. 11. 1980).

Такая тотальная старость всего высшего руководства партии и государства вызывает у политически мыслящих советских людей тревогу и озабоченность за качество самого руководства, тем более, что сами советские лидеры, какими бы старыми не становились, никогда добровольно не уходят и не уходили (Хрущев, Микоян, Подгорный, Косыгин и другие не сами ушли, а их "ушли"). Вообще слабость старых советских политиков хвататься за кресло власти особенно уродливые формы приняла в эру Брежнева. Они не только сами не уходят, но не отпускают даже и своих технических помощников, которым за 70 лет (так недавно управляющий делами ЦК Павлов и референт Брежнева Самотейкин в связи с их семидесятилетием получили высшие награды и Брежнев пожелал еще много лет работы). Отсюда весь, как руководящий, так и технический аппарат партии и государства сплошь старый, порою дряхлый, а потому иммобильный и антиреформаторский. Но парадоксальный факт: насколько старики являются консервативными и реакционными во внутренней политике, настолько же они революционны и агрессивны во внешней политике. Это обстоятельство тревожит и внешний мир. Поэтому в анализах советской политики на Западе центральное место занимают два вопроса: 1) кто будет наследником Брежнева? 2) какую внутреннюю и внешнюю политику поведет новое молодое руководство?

На эти вопросы ждали ответа от XXVI съезда в феврале 1981 г., но ждали напрасно, ибо эти вопросы, на первый взгляд вполне законные и правомерные, при ближайшем рассмотрении оказываются бесцельными. Это было интересно и для правильного анализа направления будущей политики очень полезно знать, кто будет наследником Ленина, наследником Сталина, но кто будет наследником Хрущева уже было мало интересно, а кто же будет наследником Брежнева еще менее интересно, и даже безошибочное знание имени наследника Брежнева нам ничего не дало бы в деле разгадки направления его будущей политики. Почему? Да очень просто. Ленина окружали люди, каждый из которых был ярко выраженной политической индивидуальностью и представляли собою определенное направление и стиль политической мысли в общих рамках партийной линии. Сталина окружали, хотя и менее яркие, но все же политически мысля-

шие личности со своим определенным профилем, отличающим одного от другого. После Хрущева ко власти пришли не политики, а *политические бюрократы*, поразительно похожие один на другого по своей бесцветности и политической неопределенности. Скажем, мы точно угадали, что после Брежнева будет Кириленко или Черненко, Романов или Горбачев — что же нам дает это знание в отношении его будущей внутренней и внешней политики? Абсолютно ничего, ибо они для наблюдателей не определенные личности, которые выдвинулись в силу каких-то выдающихся качеств, а серые члены правящей клики. Вполне возможно, что тот или другой из них в отличие от Брежнева развернется, по примеру Хрущева, в яркую личность, но это не может случиться раньше, чем он займёт пост генсека.

Второй вопрос — какую политику поведёт молодое поколение партийных руководителей — уже в самой своей постановке содержит ошибку, ибо при данной системе молодое поколение никогда не придет к власти, пока оно не постареет. Допустим, члены Политбюро, возраст которых за 70 лет, все ушли со сцены один за другим в течение какого-нибудь года или двух. Кто же на их место придет? Те “молодые”, которые стоят в очереди у двери в Политбюро в аппарате и Секретариате ЦК с твердым решением и, главное, с властью в руках, никому не уступят этой своей очереди! Какой средний возраст этих “молодых” — ответ дан выше — им 65 лет. Они потянут за собою своих ровесников на других уровнях пирамиды власти. За первой очередью стоит уже вторая очередь “молодых” — секретари обкомов и крайкомов, которым тоже в среднем 64 года. Этот процесс станет автоматическим, если не произойдут экстренные события вроде “дворцового переворота”. Однако этот автоматический процесс не является процессом механическим, он приносит с собою и нечто существенно новое в том смысле, что компетентность и мобильность руководства, с каждой сменой его состава, повышается, его способность реагировать на нужды времени обостряется. Это может привести к победе реформаторских тенденций если не в руководстве, то в широких кругах партии.

Эти тенденции будут тем сильнее, чем слабее станут позиции догматиков. Уже в нынешнем руководстве можно проследить противоборство позиций государственников-прагматиков, с

одной стороны, идеологов-догматиков, с другой. Брежнев не находится ни в одной из этих групп, он удачно лавирует между ними. Догматикам не принадлежит завтрашний день даже внутри партии. Они не только идейно, но и физически доживают свои дни, а новое поколение идеологов, которое стоит в очереди к вершине идеологической власти может оказаться способным пойти против многих "табу" старых догм. Достаточно сослаться на общеизвестный факт — во-первых, они действительно молодые, вокруг 50 лет, во-вторых, и, это очень важно, они в большинстве своем кандидаты и доктора наук, отлично владеют главными европейскими языками и знают Запад по постоянным личным контактам. К этому слою принадлежат и все эти "международники" Замятины, Фалины, Заградины, Арбатовы, Иноземцовы, Зародовы. Они уже сейчас оказывают свое влияние на общую политику. Язык и мыслительные категории, заимствованные ими из западной литературы, начинают переключиваться в советскую литературу, в некоторых случаях даже и в партийные документы (они же ведь реабилитировали и социологию с ее пока что ограниченными "опросами общественного мнения"). Они, конечно, не откажутся от обычной и обязательной марксистско-ленинской фразеологической тарбарщины, но они слишком уж хорошо знают из сравнительного анализа дел в СССР и на Западе, в чем корень зла во внутренней политике страны. Поэтому могут давать разумные советы по модернизации сложившейся системы. Однако это не будет ни "конвергенцией", ни "деидеологизацией" по двум причинам: 1) большевизм на протяжении трех поколений настолько иммунизировал свой властный аппарат против любых внешних влияний, что даже разумные советы по изменению деталей системы инстинктивно настораживают его, видя в этом посягательство на монополию власти партаппарата и таким образом толкают его еще более вправо; 2) большевизм выработал у своих водителей поразительную преемственность уникального образа мышления, в фокусе которого находятся не интересы общества, не интересы государства, а интересы собственной власти.

Если перейти к прогнозам во внешней политике будущего руководства, то мне представляется, что превращение Советского Союза во время правления Брежнева в военную супердер-

жаву уже открыло новую эру в мировой политике: прикрываясь детантом и пользуясь безнаказанностью за свои очередные агрессивные акты, Советский Союз решил включить в сферу своего влияния всё, что находилось до Второй мировой войны под влиянием западных держав, то есть страны третьего мира. Эту политику, имеющую первые существенные успехи на трех континентах — в Азии, Африке и Латинской Америке — новое руководство будет не только продолжать. Больше этого — оно постарается осуществить стратегическую концепцию Ленина покорить Запад через покорение его колониального (теперь уже бывшего) тыла еще в данном столетии. Вовсе не обязательно, чтобы это происходило при прямом участии Советской армии, как в Афганистане; это может происходить при помощи методов, которые завещал тот же Ленин: организация "освободительных войн", "революционных переворотов" плюс новое изобретение брежневского руководства — "заместительские войны" и подрывные акции сателлитов Кремля, чтобы сам Советский Союз не оказался непосредственно втянутым в конфликт с США. Поэтому и стратегическая доктрина преемников Брежнева будет та же, что и сейчас — любыми усилиями и любой жертвой добиваться и впредь военного превосходства на суше, море, в воздухе, космосе не обязательно для развязки войны, но обязательно для оказания устрашающего политического и психологического давления как на "слабые" страны свободного мира, так и на все страны третьего мира. Уже наметившаяся сложная и лукавая игра Кремля в Европе, особенно вокруг Западной Германии, чтобы оторвать Европу от Америки, а Германию от Европы, наиболее успешно поведет новое руководство. После этого исторический поединок в плане знаменитого ленинского "кто кого?" будет происходить у СССР только с одной Америкой.

Вот в разработке плана этого поединка представители названной выше новой идеологической смены партии и заграничная сеть столь же квалифицированных резидентов советской разведки будут играть выдающуюся роль. С их отличным знанием сильных и слабых сторон западной системы, с их возрастающим резервуаром специальных и специализированных кадров для стран третьего мира (которые основательно

изучают как историю, так и языки местных народов), новая "идеологическая мафия" Кремля и диверсанты КГБ планомерно и целеустремленно работают по включению "третьего мира" страну за страной в орбиту советского влияния. Ничего этому Запад не может, да и не хочет противопоставить. Наоборот, до сих пор Запад боролся там с правыми "реакционными" режимами, оказывая моральную и материальную поддержку только левым "прогрессивным" силам, то есть по существу поддерживая затаенные цели советской глобальной экспансии в самых различных уголках земного шара.

А. Авторханов

ИМЕТЬ МУЖЕСТВО ВИДЕТЬ

Мы печатаем русский текст статьи А. И. Солженицына, которая по-английски была напечатана в журнале "Форэн Аффферс". С статьёй А. И. Солженицына редакция полностью согласна. РЕД.

Уровень политической полемики заставляет выслушивать весьма плоские, а притом дружные обвинения — например, что я идеализирую прошлое России, не знаю историю собственной страны, а уж тем более не понимаю Америку и всё современное человечество, ибо мало разговариваю на бензоколонках. Я предупреждал против злостных искажений русской истории, — мне приписали это как исчерпывающую систему взглядов. Историей русской революции я занимаюсь более 40 лет, сейчас оканчиваю восьмитомное повествование, которое начнёт выходить по-русски через 2 года, по-английски, может быть, через 5. В объёмном художественном анализе открываются куда более коренные пороки и ошибки многовекового русского развития, чем могут мне представить мои горячие оппоненты по газетной поверхности или привременной страсти. Конечно, художнику не место в политической полемике, она огрубляет аргументы — но больно слышать легковесные безответственные суждения, произносимые с научным видом, а между тем поражаться беззащитности и ненаходчивости современного Запада перед мировой ситуацией — прежде всего в составе идей и уровне их исполнителей. При таком течении трудно найти покой отложить высказывание ещё на 5 лет.

Жизнеспособность всякой системы хорошо характеризуется её приемчивостью к критике. Я всегда был уверен, что американ-

ская система жаждет критики и даже любит её. Уверенность поколебалась после моей гарвардской речи, когда в потоках гнева прессы отчётливо прозвучало: "не рассуждай, замолчи и даже убирайся прочь!" Никак не ожидал встретить такую тональность и на страницах "Форэн Афферс" (г. Тривс). Я не "читаю нотации", я передаю коммунистический опыт. Мне-то лично проще всего замолчать и предоставить заботу о будущем Америки исключительно единомышленникам мистера Тривса. Когда они испытают всё на себе, — у нас будет полное понимание. Но боязнь критики и свежих мыслей — роковая черта обречённых систем.

Статья Тёрстона — как будто специально написана показательной иллюстрацией к моей статье: как легко западного человека дурачить в СССР. Юмористично звучит его ссылка на "личный 10-месячный опыт" наблюдаемого иностранца в советской столице, в отработанных условиях советской "показухи", — опыт, который он отважно противопоставляет полувековому коренному опыту жителя в запретных глубинах страны. Вот и результат: его открытие о "советском патриотизме" и "гордости материальным прогрессом" (металлургии? военной промышленности?), когда нечего есть, — оскорбительно звучит цитатой из "Правды" или "Женьминьжибао". Спор о локальных и искажаемых Тёрстоном юридических деталях прежних русских десятилетий никак не вмещается на страницы "Форэн Аффэрс" и в эту дискуссию. Но поразишься, с какой опрометчивостью он заключает о "социалистических симпатиях" России на основе "выборов" в Учредительное Собрание — уже после большевицкого переворота, когда не социалистические партии реально были жёстко ограничены. Он механически переносит американское понятие "выборы" в крестьянскую Россию 1917 года, не понимавшую даже этого процесса "выборы", не готовую ни к какому сознательному голосованию. (В 1945 американцы спрашивали советских: "так если вы недовольны Сталиным, отчего вы его переизбираете?")

Более неловко чувствуешь себя, когда такой советолог, как профессор Далин, внушает нам, что живое полувековое наблюдение за скрытыми глубинами советских пространств не столь важно, как вникнуть в мотивы тех, кто направляет советскую

политику, — а для этого, очевидно, нужны только встречи с ними в Москве и анализ "Правды". Но сам же Далин в другом месте соглашается, что деятели СССР скрывают свои мотивы. Результаты таких бесед мы и видим на сплошных многолетних промахах Запада. Видел ли профессор Далин своими глазами предмет своего изучения — пространства этой порабошённой страны и жителей провинции и деревни? По каким данным он так уверенно судит о неоскудении русской деревни и подъёме уровня советской жизни? Его суждения о Луне были бы точней, ибо доклады астронавтов надёжней. О советской провинции, где не хватает картофеля до весны, а других продуктов вообще не знают (и это, мистер Далин, никак не "гипербола", вам только трудно это вообразить), наш оппонент серьёзно пишет, что там распространена гордость за успехи космонавтов и шахматистов. Или вознаграждает нас расцветом "безопасной" для правительства культуры, — какой именно? Гуманитарная пропитана ложью, "точная" поставлена на службу войне, — что ж остаётся от "культуры"? (А в провинции и такой нет).

Законное желание г. Далина узнать, откуда взялись при утаённой советской статистике цифры погибших в СССР. Но цифры профессора статистики Ивана Курганова были опубликованы в Соединенных Штатах 16 лет назад ("Новое Русское Слово", 12.4.1964) на языке, доступном профессору Далину, — и странно, что он их не заметил. О новых подсчётах наших потерь Иосифом Дядькиным, сейчас арестованным, можно прочесть в "Уолл Стрит Джорнал", 23.7.1980. Порядок этих цифр — десятки миллионов — совпадает у обоих авторов. Конечно, ещё много времени пройдёт, пока мы получим уточнённые данные: советская пасть не выдаёт тайн, даже и в доверительных беседах функционеров.

Далее нам предлагают (г. Лёбль) не вдаваться в историю возникновения коммунизма в СССР, а судить лишь о сегодняшней угрозе. Но во всех областях знаний установлено, что всякое явление можно понять только зная историю его развития. От того, считать ли сегодня коммунизм (в том числе кубинский, вьетнамский, китайский) явлением исключительно русского происхождения или интернациональным и даже метафизическим, — определяются совершенно разные ответы на

него: губительная ли капитуляция, идущая со времён Ф. Рузвельта, или попытка твёрдого стояния. Утверждение мистера Лёбля, что коммунизм так же национален по природе, как и национал-социализм, совсем не убедительно: тот никогда и не проявлял себя интернациональным, а только национальным, ввёл понятие "высшей нации"; и не выжигал и не вырезал прежде всего жизнь "своей" нации, как это делает в каждой стране каждый коммунизм с первого шага. И именно поэтому (как никогда не делает хитрый коммунизм) нацизм открыто заявил, что идёт обратить народы СССР в своих рабов, — и на этом, как правильно пишет Лёбль, потерпел поражение. Однако Лёбль приписывает моей статье свою тенденциозную трактовку, что только украинцы и прибалты готовы были поддержать Гитлера, — я же свидетельствую, что и все захваченные русские области ожидали от этой войны себе освобождение, и Красная армия потому бежала с такой лёгкостью. Но Гитлер объявил войну именно русскому народу, не оставляя ему выхода. И именно этот совет повторно предлагают сегодняшнему Западу те, кто считает нависшую над миром опасность не коммунистической, а русской. И этот совет будет иметь тот же уничтожительный результат.

В тоталитарных государствах самой разрушительной деятельностью считается и более всего преследуется — восстановление исторической правды. Но в условиях Запада этой цели достичь нельзя, если разрешать себе высказывания недобросовестные и даже неграмотные. Тот же Лёбль: "в конце прошлого века русское правительство было союзником всех деспотических правительств". Интересно — каких именно? Справка: в конце прошлого века (с 1892) Россия имела единственного союзника — республиканскую Францию, с 1907 — Англию. "Царские мечты о мировом господстве захватили души русского народа". В XIX веке единственный "царь", который мечтал о мировом господстве, был Наполеон. Более нигде такой феномен не наблюдался, кроме необъятной Британской империи на пяти материках. Где в русской литературе, искусстве и народном фольклоре Лёбль может указать жажду мирового господства? Каким другим способом он подслушал это из "душ русского народа"? "Русская культура на первом месте повсюду в Советском Союзе". Мистеру Лёблю простительно не знать, что

такое русская культура, но не следует судить по газетной наслышке. Я свидетельствую, что русская культура разгромлена и уничтожена с ненавистью в первое же советское десятилетие.

Сегодня под псевдонимом "русской культуры" выступает антинациональная и атеистическая советская культура — притом на испорченном изгаженном русском языке. Интересы коммунистической Москвы — "в первую очередь русские интересы", — пишет Лёбль в споре против моей статьи, даже видимо не прочтя целых разделов её. Я именно указываю, что никакая нация под советским господством не разорена в такой степени, как русская.

Впрочем, подобные безответственности мы обнаруживаем и у более видных американских лиц. Руководитель русского цикла Принстонского университета профессор Стефан Кохен пишет ("Нью Репаблик", 29.12.1979): "за период 1-й и 2-й пятилетки (то есть 1928-1937) в основном отсталое общество было преобразовано в преимущественно промышленное, получившее доступ ко многим благам современного государства всеобщего благополучия"! Фантастическое высказывание! Будь оно известно у меня на родине, его восприняли бы как глумление: это всё сказано о десятилетии всеобщего разорения, голода, хлебных карточек в мирное время, 6 миллионов голодных смертей на одной Украине, 15 миллионов уничтоженных крепких крестьян, конца сельскохозяйственного изобилия, конца промышленности изделий массового потребления, отсутствия по всей стране одежды, обуви, тканей, домашних предметов, — с заменой на тяжёлую индустрию и показные для иностранцев магазины в Москве. В эти годы пещерного оскудения и озверения, которые Кохен сравнивает со всеобщим благополучием, — населению моей страны казался утерянным чудом последний предвоенный 1913 год. И к изобилию того "царского" года наша страна и издали не приближалась за минувшие 70 лет.

Если такой промах может допустить руководитель всего русского обучения ведущего университета, — удивляться ли, что один из кандидатов в президенты США Э. Кеннеди, недавно выразился, что стеснения в мясе несколько не страшны советскому руководству: оно "просто" будет кормить население

курами. Человек, который претендует направлять мировую политику и экономику, не знает такого простого, что в СССР куриное мясо — на вес золота, что его нигде нет, невозможно достать даже для диетического больного.

Это парение в сфере иллюзий, этот как будто нарочитый самообман — характерная черта западной прессы и многих западных политических деятелей: верить только в желаемое и словесно заклинать, чтобы осуществлялось именно оно. Так "Нью-Йорк Таймс" в июне 1945 собственным авторитетом подтверждала — для какой же цели? — что катынские убийства совершены не коммунистами, а гитлеровцами. Это, с тех пор, едва не всеобщее желание иметь дело с иллюзиями, а не с фактами, и доверчивое приятие недобросовестных сплетен о русской и советской истории — закрывают глаза Западу в нынешний грозный момент, закрывают возможность понять истинное положение и найти пути спасения. Запад как будто не х о ч е т знать истины до того момента, когда знать её будет уже поздно.

2

Статья профессора Таккера явно выражает не только его личные взгляды, но устойчивые взгляды целой среды, весьма влиятельной, даже определяющей для направления американской политики: приходят ли к власти демократы или республиканцы, тот или иной президент, — все ведущие эксперты и советчики набираются из этой среды. (И характерно, что проф. Далин присоединяется к существенным опорным пунктам статьи проф. Таккера.)

Центральная точка здесь — непонимание природы коммунизма: как концентрации непримиримого и динамического Зла (ведь слово "зло" теперь считается ненаучным, и даже неприличным, ни "зла", ни "добра" нет, а есть только плюрализм равноценных мнений); как явления интернационального и всеисторического (лишь крайний полюс социализма), а вовсе не локально русского. От этого — непонимание всего нынешнего советского феномена.

Кто вчитается внимательно в статью Таккера, — увидит, что Таккер испытывает сочувствие к "чистому" коммунизму, к

ранним ленинским годам его и, конечно, никакого осуждения марксистскому учению. Ему, быть может, неловко выразить это сегодня прямыми словами, но это — во всей композиции его мышления. Для того и понадобилось ему передвинуть всё зло коммунизма на сталинские годы и от них потянуть хобот в поисках происхождения в русский XVI и XV век. За ленинскими годами Таккер отрицает даже насильственную систему ГУЛага, отрицает принудительность труда в ленинских концлагерях, и даже оправдывает их тем, что в них заключались будто бы лишь "противники большевицкой власти", — а не просто подряд все яркие личности, и кто не нравился большевикам по происхождению и личному поведению. (Это всё достаточно изложено в "Архипелаге ГУЛага", и я предлагаю профессору Таккеру решиться на то, на что не решилась советская власть: прямо опровергать "Архипелаг" по пунктам).

Пора же, наконец, называть вещи своими именами: что октябрьский переворот Ленина и Троцкого против слабой русской демократии был бандитским. Что он был произведен с большой финансовой помощью вильгельмовской Германии. Что коммунизм первых лет был такой же грязной, коварной, жестокой, бесчеловечной системой, как потом и сталинский. Что заслуга изобретения многомиллионного насильственного ГУЛага принадлежала Троцкому (принудительные "трудармии"), и ему же — бессмертное изобретение первых "газовых камер" (баржи, потопляемые в море с сотнями людей), и ему же массовые расстрелы собственных военнообязанных, не идущих воевать за большевиков. И народный геноцид на Дону — расстрел более 1 миллиона 200 тысяч гражданского казачьего населения — принадлежит тем же двум бессмертным авторам. Весь замысел: пропагандно наделить крестьян землей и тут же отобрать её вместе с урожаем — Ленин. Объявить войну зажиточному крестьянству (ниже уровня среднего американского фермера), и с тысячными расстрелами крестьян, Ленин. Согнать крестьян в управляемые коммуны и артели — Ленин. Подавить всякую печать, кроме коммунистической, — Ленин. Разгромить независимое рабочее движение ("съезды заводских уполномоченных") и профсоюзы — Ленин и Троцкий. Неумеренно эфемистично называет Таккер такой строй "автори-

тарным”, — а слово “тоталитарный” он не может выговорить в отношении к нему.

Читая полную переписку Маркса и Энгельса, опубликованную по-русски (такая возможность у проф. Таккера есть), — можно было бы изумиться крайней беспринципности и бессовестности этих заговорщиков и их яростной “ортодоксальности” (“русская черта” по Таккеру), если б не иметь перед глазами более поздних множественных примеров. В их взглядах мы уже узнаём и лютый атеизм как главный стержень мировоззрения, и лютую нетерпимость и злобу ко всем остальным партийным направлениям и даже к некоторым славянским народам, взятым в целости. А вот из их известных высказываний:

“Существует лишь одно средство сократить, упростить и сконцентрировать кровожадную агонию старого общества и кровавые муки родов нового общества, только одно средство — революционный терроризм”.

(К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения (на рус. яз.), 2-е издание, т. 5, стр. 494).

“Мы беспощадны и не просим никакой пощады у вас. Когда придёт наш черёд, мы не будем прикрывать терроризм лицемерными фразами”. (Там же, т. 6, стр. 548.)

“Народная месть прорвётся с такой яростью, о которой и 1793 год не может нам дать никакого представления”. (Там же, т. 2, стр. 515).

“Противодействовать попыткам буржуазии внести успокоение, вынуждать демократов привести в исполнение их теперешние террористические фразы... Не только не выступать против так называемых эксцессов, против случаев народной мести к ненавистным лицам или официальным зданиям... но и взять на себя руководство ими”. (Там же, т. 7, стр. 263.)

“Насилие (то есть государственная власть) — это тоже экономическая сила”. (Там же, т. 37, стр. 420.)

“Политическая свобода — ... хуже, чем самое худшее рабство”. (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, М, 1929-1953, Госиздат, т.2, стр. 394.)

“Смотря в будущее я вижу нечто такое, что будет сильно отдавать изменой отечеству; вот это для нас фатально”. (Там же,

т. 22, стр. 138.)

“В одно прекрасное утро наша партия благодаря беспомощности и вялости всех остальных партий вынуждена будет стать у власти... Мы будем вынуждены проводить коммунистические опыты и делать скачки, о которых мы сами отлично знаем, что они несвоевременны... Прежде чем мир будет способен дать историческую оценку подобным событиям, нас станут считать... чудовищами, на что нам, конечно, наплевать”. (Там же, т. 25, стр. 187.)

Маркс и Энгельс не раз повторяли, что, “став у кормила власти, мы вынуждены будем разыграть 1793 год”.

И Ленин никогда не скрывал своих исторических истоков и не приписывал им происхождения из русских традиций. Он и постоянно цитировал и клялся именами, и применял на деле Маркса и Энгельса (что, однако, не делает коммунизм немецким явлением). И, следуя им, открыто и многократно восхищался якобинским террором — и массовыми казнями и массовым потоплением обречённых. Он говорил: “террор обновляет страну” и не скрывал, что следует Бабёфу: побеждённые классы полностью уничтожить. (Но это не делает коммунизма и французским.) Именно во Французскую революцию возникла расправа по классовой принадлежности. И названия и форма “революционных трибуналов” и даже “чрезвычайных комиссий” (по-советски ЧК) заимствованы от якобинцев (не от Ивана IV из XVI века). Сходство теории и тактики большевиков и якобинцев имеет школьную наглядность для всякого, кто только пожелает перечитать те исторические материалы. (До всех подробностей: запрещение свободной печати; уничтожение фракций; “диктатура как лучшая форма свободы”; монолитное единство всего населения; слияние государственного аппарата с партийным, а партийный подчиняется диктатуре одного лица; и даже — продовольственные отряды, грабящие крестьян, разрушение церквей, переливка колоколов, отнятие церковных ценностей.)

Странно, что проф. Такер как будто никогда ничего об этом не слышал и не задумывался над этой прямой обнажённой преемственностью. В изложении, претендующем быть научным, он применяет совершенно несерьёзный довод в доказательство “исконно-русского” происхождения большевизма: так полагал

Бердяев!..

Уже, кажется, давно ни в какой науке не считается аргументом ссылка на авторитет. Осмелимся возразить, что философия Бердяева вообще есть весьма капризное творчество. В течение своей жизни он по меньшей мере два, а в чём и три раза менял свой образ мыслей почти на 180 градусов*, выступая против своих прежних взглядов как против чужих. Его книга о коммунизме в России не есть объективное историческое исследование, не анализ исторических фактов, а претворение его индивидуальных философских переменчивых установок, законченных тем, что он вывесил на своём доме советский красный флаг. Многие общемировые процессы (как подмена религиозного творчества социальным) он искусственно приписывает одной России. Не останавливается перед тем, чтобы человеконенавистнический марксизм назвать "этическим учением", о Марксе и Ленине заявить, что они "хотели добра", — это звучит кощунственно над трупами замученных миллионов и перед рылом сегодняшнего мирового завоевателя. Бердяев признаёт, что в русской истории были "перерывы органического развития", — и тут же, сам себе противореча, всё строит на "органической традиции", по удобству то от Московской Руси, то исключаяющей её Петербургской.

Однако Бердяев писал в 1937 году, когда ещё не выступил весь исторический объём явления. Но как можно в 1980, при 25 коммунистических странах на 4 континентах и во всех расах, — продолжать считать, что коммунизм (и его Интернационал Террора, разветвлённый ещё в 20 странах) — определился русскими чертами?

Идея Таккера, что сталинский период коммунистического Левиафана создан заимствованием из XVI и XVIII веков русской истории, не только ненаучна, но производит впечатление импрессионистической фантазии.

Неужели это научный аргумент: что Сталин, для того, чтобы рубить головы своим врагам и наводить ужас на население, нуждался в примере Ивана Грозного? А без Грозного — он бы не догадался? Мировая история даёт мало примеров тираний?

*См., например, — Н. Полторацкий, "Бердяев и Россия". Нью-Йорк, 1967

Глубокие познания, что тиран должен держать народ в страхе, Сталин мог почерпнуть из первого школьного учебника по всеобщей истории, а может быть — из истории грузинского феодализма, а ещё раньше — из собственного лукавого и злобного нутра: что-то, а именно это он от рождения понимал, ему ничего не надо было читать. Или, пишет Таккер: ГУЛаг происходит от насильственного труда при Петре I, — оказывается, насильственный труд изобретен в России! А почему же не от египетских фараонов? А ближе по векам: демократические Англия, Франция и Голландия применяли насильственный труд в своих колониях, а США — даже на собственной территории, и все — позже Петра. А уж гребцы на галерах — хрестоматийны. (К чему приводит Таккер отрывок из Кеннана-старшего — совершенно не ясно, разве: доказать, что в дореволюционной России и каторга была так же открыта иностранным наблюдателям, как и суд? Можно не полениться найти у французских романистов ещё более яркое описание каледонской каторги, — и что это доказывает относительно 5-й республики? Когда в Англии впервые вышел (1881) перевод "Записок из Мёртвого дома" Достоевского, один из ведущих журналов отмечал отсутствие строгости, которое "привело бы в ужас английского тюремщика".* Исконной русской чертой объявляются и захваты территорий, — хотя Англия имела захватов побольше, и Франция немало, значит ли это, что английский и французский народы хищны по своей природе? И уж тем более колхозы — всемирная социалистическая идея коммуны — объясняется как проявление русского крепостного права.

Неужели это научный метод: объявить перенос приёмов управления и учреждений через 4 столетия — при отсутствии каких-либо конкретных носителей, передатчиков, партий, сословий, лиц, вперепрыг через тотальное уничтожение всех общественных институтов в 1917, — какой-то мистический перенос, очевидно, через кровяные гены? (Или, как изящнее выражается проф. Далин, — "что-то в русской почве, созданное наследственностью или средой".) И тут же рядом "не заметить" прямое

*The Athenaeum, № 2788, 2 апреля, 1881, стр. 455. Более тяжёлые условия английских заключённых по сравнению с заключёнными русскими отмечали и другие журналы.

наследование всего через 5-10 лет всех нужных традиций и готовых учреждений! — от Ленина и Троцкого: того же самого ЧК-ГПУ-НКВД, тех же самых "троек" вместо суда (причём тут Александр III?), того же самого (уже в наличии) ГУЛага, той же самой 58-й статьи, того же самого массового террора, той же самой партии, той же самой идеологии, — в пределах того же поколения и через живых носителей, успевших убивать там и здесь, и тот же самый принцип индустриализации (подавить потребности народа и съесть его тяжёлой промышленностью), выдвинутый Троцким? (Нет никакой "двусмысленности" в наследии Ленина и Троцкого, которую ищет Далин.)

Я отказываюсь приписать профессору Таккеру такую невероятную слепоту! Я вынужден увидеть в этом сознательную попытку обелить ранний коммунистический режим, будто все его дьявольские преступления и учреждения вообще не существовали, а созданы позже Сталиным, который будто бы "разрушал" большевизм, — и почерпнуты якобы из русской традиции. Какую такую "революцию сверху" (избитый марксистский термин у Таккера) совершил Сталин? Он честно и последовательно углублял и укреплял доставшееся ему ленинское наследство в его же формах. Но даже если бы Таккеру (и многим его единомышленникам) удалось бы доказать что ЧК, ревтрибуналы, институт заложников, ограбление народа, тотальное насильственное единство мнений, партийная идеология и диктатура взяты не у своих коммунистов и не у якобинцев, но у Ивана IV и Петра I, — то и тут бы Таккер просёкся с "русской традицией". Дело в том, что для национальных мыслителей России оба эти царя были предметом порицания, а не восторга, а народное сознание, фольклор, решительно осудили первого как злодея, второго как атихриста. Что Пётр I р а з р у ш а л русский быт, обычаи, сознание, национальный характер, подавлял религию (и встречал народные бунты) — это лежит на поверхности, это всем известно.

Неужели это исконная русская традиция: коммунистическая подрывная деятельность во всём мире, система экономического саботажа, идеологического разложения, террора и восстаний? Горячая сегодня среднеазиатская точка даёт нам понять разницу. Да, бухарский эмират (не Афганистан) был захвачен Россией — в том XIX веке, когда и все демократические страны

Европы с моральной лёгкостью позволяли себе любые завоевания. (И Англия пыталась, но не сумела, взять Афганистан). Мне горько и стыдно, что и моя страна участвовала в общеевропейском насильственном покорении слабых народов. Но за 50 лет российского протектората в Средней Азии был мир: не подавлялась религия, быт, личная свобода — и не было движения к восстаниям. А едва захватил власть Ленин, — он с 1921 года готовил, под видом "революционной федерации", захват Турции, Персии и Афганистана. А с 1922 в Хивинской и Бухарской областях в ответ на методы коммунистов вспыхнула мусульманская повстанческая война, как сегодня в Афганистане, и продолжалась 10 лет, и подавлена уже при Сталине безмерными расправами над населением. Вот чья "традиция" — вторжение в Афганистан.

Справка Таккера (поддержанная и Далиным), что слово "сталинизм" изобретено в 20-х годах троцкистской фракцией в борьбе со Сталиным, — мне конечно известна. Но называть сегодня "сталинизмом" осуществлённую 25-летнюю эпоху гигантского коммунистического государства — значит отвлекаясь прикрывать непримиримую античеловеческую сущность коммунизма — главную угрозу сегодняшнему миру.

Оттого, что коммунизм — явление интернациональное, значит ли, что вовсе исключаются какие-либо его национальные признаки или обстоятельства? Не совсем, ибо коммунизму приходится действовать на живой земле, в среде конкретного народа и поневоле пользоваться его языком (для своих целей калеча его). В Китае преследуют стенные плакаты, а в СССР — самиздат. Русское городское население насильственно выгоняют работать на картофельные поля, а кубинское — на сахарный тростник. В СССР уничтожали население ссылкой в тундру, а в Камбодже — в джунгли. В Югославии провели манёвр одним способом: Тито поспешно совершил массовые убийства 1945 года, — а затем притворился барашком, чтобы получить западную помощь. А Чаушеску виртуозно достиг доли внешнеполитической независимости, — но укреплением внутреннего тоталитарного духа выше 100%. По восточногерманскому коммунизму ясно, что страна не должна объединяться, а по северокорейскому так же ясно, что должна. (Не знаю, откуда

взял Далин, что по моему мнению всякий итальянец, голосующий за коммунистов, или всякий узбек, принудительно вовлечённый в партию, теряет свою национальность? У меня сказано: "люди, отдавшие себя коммунистическому р у к о в о д с т в у, уходят душой от своей нации и от человечества вообще", — и профессор Далин мог бы не делать этого ошибочного переноса. "В ряде случаев коммунизм служит инструментом для развития национальных движений и интересов", — уверяет Далин, и так действительно думали в Штатах относительно Северного Вьетнама. Но теперь-то, кажется, разуверились? (Теперь-то всем ясно, что ни в Эстонии, ни в Польше, ни в Монголии и нигде никогда коммунизм не служил национальным интересам?) В дополнение к коммунистической пропаганде — отчего не использовать ловко ещё и национальную? — этим коммунистические правительства не брезгуют. Но значит ли это, что "коммунизм во всех странах разный"? Нет, он во всех одинаковый: везде тоталитарный, везде с подавлением личности, совести, и даже уничтожением жизни, везде с идеологическим террором и везде агрессивный: конечная цель мирового коммунизма, всех видов коммунизма захватить всю планету, в том числе и Америку. Можно понять кремлинологическую кастовую обиду профессора Далина, что так неприятно упрощается проблема, хотелось бы видеть более тонкие градации в увлечённости вождей идеологией, — но идеология влечёт их помимо личных убеждений, — например, бессмысленно и неудержимо влечёт на мировой захват, не нужный им самим лично: как в фанатизме захватывают они Анголу, Абиссинию, Афганистан. Плохую услугу оказывают американской политике те, кто предлагает играть на "тонких вариациях" между разными коммунизмами.

Меня пытаются опровергнуть моим личным опытом: вот как заметно развивается коммунизм: при Сталине Солженицын сидел в тюрьме, при Хрущёве — напечатали "Ивана Денисовича", а при Брежневе — выслали. Удобный бродячий сюжет, он кочует из статьи в статью, прикочевал и к Таккеру! — потому ли, что не могут найти другого за 63 года благодетельного примера, чем "Иван Денисович"? (А не появивсь "Иван Денисович" — ещё лучше: или вовсе не было при коммунизме лагерей, или рус-

ский народ не способен сам о них сказать.) Но пример Хрущёва — это то самое исключение, которое ещё строже подтверждает правило: изо всех коммунистических правителей он единственный был свергнут внутренними партийными силами именно за то, что он единственный иногда отступался от коммунистической догмы в сторону человечности, уж Ленин-Троцкий-Свердлов-Сталин-Молотов-Брежнев в сторону человечности никогда не делали ни шагу. Но и Хрущёв был верен марксизму в его главном сатанинском стержне: в истребительной ненависти к религии.

Тактические манёвры у коммунизма можно найти и покрупней, чем "Иван Денисович", — НЭП, обманное "восстановление" понятия родины и церкви Сталиным, "борьба за мир" во времена американской ядерной монополии, "пусть цветут сто цветов", "мирное сосуществование", даже уход из Австрии, теперь "разрядка", — но это всё показывает не изменение природы коммунизма, а его маневренную гибкость и беспощадность.

Полемизируя со мной, Таккер — да и Далин — избежали кардинального вопроса, а жаль: коммунизм ("чистый", марксистский) — зло или нет? Способен он подобреть и излечиться? Угрожает он, как удав, удушением всему остальному миру или нет?

От этого вопроса Таккер уклонился. Зато он спешит предупредить мир о несравненно большей опасности: "остро-злокачественной форме национализма", которая "прорастает" разгромленный, обезглавленный, в порошок истёртый, при последних вздохах своей жизни русский народ.

3

Плодоносность политической теории определяется её практическими результатами. Теория о том, что коммунизм есть явление по своей природе национально-русское, что коммунизм и русский народ едины и надо воевать против них соединённо, есть не только повторение обезумелой гитлеровской тактики, которая в самой себе несёт поражение. Но она и в других отношениях питает иллюзиями вместо реальности: она заставляет видеть в нынешнем коммунистическом СССР наследника

прежней России, а значит "нормальное" государство, которое стремится к обеспечению интересов своих и своего населения, — а потому с ним можно действовать традиционно, вступать в разумные переговоры, договоры, компромиссы, делить сферы влияния. А это совсем не так: никакое коммунистическое государство не заботится об интересах своего населения, и не зависит от его мнения, — и готово хоть полностью этим населением пожертвовать, чтобы достичь интернациональной победы. (Может быть, это виднее поблизости, на примере Кубы.) Поэтому с коммунизмом невозможен никакой реальный компромисс, его не возможно ни задобрить, ни подкупить, ни умиротворить, — и вереницей уступок западный мир лишь ухудшает своё положение. Советская держава отнюдь не преследует своей государственной выгоды, советские народы только страдают от бесконечной мировой агрессии и растраты капиталов и людских жизней по всем материкам, — но ничто, ни даже личность правителей, не может остановить свойства коммунизма расширяться.

Для коммунистических стран нетерпимо само существование на Земле других стран с преимуществами экономики или свободы, невыносим этот завидный для населения пример другой жизни, — такие страны необходимо подавить и завоевать. Коммунизма нельзя объяснить на дипломатическом, юридическом, экономическом языках.

Но самый большой успех, достигнутый коммунизмом, — даже не военный, а пропагандный: что остальной мир верит в его смягчение и в "хорошие" варианты коммунизма. Что западный мир послушно принимает даже язык коммунизма: называет тиранические режимы Восточной Европы "народными демократиями", подрывную войну по расшатыванию Запада изнутри — "разрядкой". В первые месяцы коммунистической Камбоджи по тону из Пном-Пеня иные западные газеты попугайски называли начавшийся там геноцид — "крестьянской революцией". Да советские агенты имеют свободу даже на страницах крупнейших американских газет высмеивать, что никакой советской агрессии не существует вовсе, расслаблять американцев ложью, что коммунизм — не интернационален и никому не угрожает. Напротив, западная читающая масса уже и пове-

речь не может, что в Советском Союзе и в Китае — по сегодня всеобщее недоедание и нет главнейших товаров для населения, во многих снабжение по карточкам, — а считает это "пропагандой" врагов коммунизма. 35 лет идет реальная война, веренища западных отступлений, отдано более 20 стран, — а на Западе все согласно называют эту Третью Мировую войну — "мирным сосуществованием". Меняются президенты, государственные секретари, эксперты Белого Дома и Госдепартамента, а новых идей нет, идеи всё те же: проводить всё более "тонкие различия" между разными коммунизмами, группировками и их лидерами, и балансировать на них, — то есть неуклонно сползать в пропасть ступенями уступок и капитуляций. (И ещё следующие, быть может, зреют сегодня в Государственном Департаменте.) Теперь мы слышим настойчивую "новую" идею: предупреждают бояться не того давящего катка, который прокатал уже полчеловечества и скоро прокатает вторую, — но бояться возрождения национальной России к своему излечению.

Новых идей нет. Мудрено им и вспыхнуть в самодовольной секулярности, замкнутой сама на себя.

Теория тонких различий в разных коммунизмах (или по Далину: "значительных вариаций внутри коммунизма", "вариаций, градаций и перемен", "более дифференцированного и сбалансированного понимания", "искусного подхода") в вопросах более крупных, чем продажа партии товара, мало сказать бесполезна, — она для Запада губительна. Перед лицом всеуничтожающей мировой силы, нависающей уже над самой Америкой, предлагается: верить, что коммунизм вдруг переменится к доброму и откажется от агрессии; что существуют "миролюбивые советские руководители" (особенно — Брежнев); что есть принципиальные расхождения в Политбюро; что сменился их поколение — и всё смягчится... Надеяться, что коммунистические правительства Восточной Европы и Азии вдруг выйдут из повиновения Москве (пример Албании или Северной Кореи не слишком укрепил Запад, пример Румынии не принёс добра её народу), и для того подкупать их торговыми льготами (облегчая финансовое бремя СССР). Что расколется европейское коммунистическое движение (не слишком долго французская компартия играла в самостоятельность, и все

компартии в момент оккупации готовно предоставят кадры для управления своими странами). Что вьетнамский, кубинский, ангольский, абиссинский и другие рассыпаемые по земле метастазные коммунизмы будут проводить свою национальную политику и охотно дружить с Соединёнными Штатами. Что коммунистическое движение увязнет в исламе.

В цепи этих несбыточных надежд пока не осуществилась ни одна, кроме советско-китайского раскола, на котором и строятся теперь надежды и планы Соединённых Штатов. Уж Китай — мыслится, как будто это и вовсе не коммунистическая страна, как будто там нет тоталитарного угнетения своего миллиарда людей. А Китай — как Советский Союз в 30-е годы, — остро нуждается в западной технической помощи и для того старается изобразить собой приличное государство. Но в глубинах Китая, для народа, поддерживается прежняя неприязнь к Америке и отвращение к американскому образу жизни, — и поворот против Соединённых Штатов будет для властей осуществим в одну ночь. Да даже и сегодня, твёрдый во внешних действиях, как всякий коммунизм, Китай уже потребовал снять защиту с Тайваня, а вот и предложил американцам убираться из Южной Кореи. Придёт время, Китай взвесит: стоит ли ему сталкиваться с СССР, а не выгодней ли сговориться? (Нынешняя отмена культа Мао в Китае — уже шаг в этом направлении). И в отношении Китая просчёт американской дипломатии всё тот же: его рассматривают как "нормальное" государство, а это только — корпус коммунистической агрессии, для которой сегодня просто ещё нет сил.

35 лет Соединённые Штаты и весь Запад идут дорогою добровольных поражений — треть столетия! Это движение уже исторических масштабов, и оно не пройдёт даром. Соединённые Штаты начинали это отступление ещё при подавляющем превосходстве своих сил, а сегодня в Вашингтоне спохватились, что баланс мировых военных сил — уже против Запада, перевес весов пропустили по благодущию и самодовольству. Если не устояли тогда — то теперь устоять труднее. Нагонять — труднее. Но самая большая слабость — не военная, а психологическая. От молодых людей призывников и до руководителей государства все надеются на хороший исход и рообеют принять

самоотверженные и смелые решения, — до тех пор, пока это станет уже поздно: когда придётся биться за собственную территорию. Запад морально не готов к конфликту и борьбе, не готов дать себе отчет, как далеко, если не бесповоротно, зашла опасность. Запад всё питает надежды на ложную "разрядку" — наиболее удобную форму затяжной победоносной войны для СССР. Советские вожди и предпочитают захватывать все мировые позиции именно в форме "разрядки", терроризма и государственных переворотов, — зачем им всеобщая война, особенно атомная? (Атомная война, я думаю, уже исключается — к счастью для человечества — из обоюдной стратегии: советские вожди становятся основательно уверенны, что завоюют мир и без неё, а Запад морально не сможет применить атомное оружие первым, — да и что такое был бы западный атомный "успех"? уничтожение не столько своих действенных врагов, сколько потенциальных союзников — порабошённых народов.) Под видом "разрядки" Западу ещё удаётся оттягивать прямое столкновение, но с тем, что оно произойдёт в обстановке куда более тяжёлой для Запада. Скоро Соединённые Штаты узнают горячий и свою близкую южную границу: уже и так 20 лет прямо в американский живот наставлен кубинский пистолет. Теперь Соединённые Штаты ещё немного помогут, как уже и делается, никарагуанским коммунистам и панамским революционерам, — уже палач Кастро похвалил их за это — и Южный фронт против Соединённых Штатов будет готов. Кубинский пистолет, 20 лет беспрепятственно наставленный на Америку, каждый день демонстрирует миру и унижение американских принципов, и степень американской слабости. Сегодняшняя американская внешняя политика — утлое, робкое лавирование, угождение и задабривание возможных врагов. (Но не поможет оно ни в Зимбабве, ни в Анголе, ни в Никарагуа, и атомное снабжение Индии не отвернёт её от СССР, пустой лотерейный номер.) И даже те, кто предлагает твёрдую позицию относительно коммунизма, удерживают иллюзию, что коммунизм можно обратить к внутренним демократическим реформам. Всерьёз — никогда.

Только если признать неотвратимость мировой опасности, интернациональность коммунистической задачи от самого начала, понять, что решающего конфликта с коммунизмом

западному миру избежать не удастся и уже откладывать осталось недолго, — только в этом случае Запад способен будет перейти к открыто-принципиальной и гордой защите свободы во всём мире — от Кубы до Тибета, до Волги и до Берлина, а не сделок с угнетателями. Только вняtie в тотальную непримиримость коммунизма даёт единственную трезвую надежду на спасение человечества при стольких уже загубленных и сланных позициях. Зрение состоит в том, что все народы, порабождённые коммунизмом, от кубинского под вашим боком и до русского в противоположном бастионе, суть жертвы коммунизма и враги коммунизма, а потому — естественные ваши союзники. Запад так чуток к пожеланиям народов Третьего мира — и так глух к чаяниям народов коммунистических стран.

Единственная и глубокая политика Соединённых Штатов может состоять не в заигрывании с каждым переворотчиком в шатко-нейтральной стране, не в угождении каждому советскому эмиссару, который представляет не население, а свою правящую клику, не в игольчатом балансировании между мнимо соперничающими коммунистическими фракциями — но: открыто стать на сторону всех порабождённых народов против поработившего их всемирного коммунизма. Открыть пропагандное наступление такой же силы и проницательности, как 60 лет ведут коммунисты против вас, и не трепетать, что в ответ будет браниться лживая "Правда". В моей статье я и поражался, как бездумно отбросил Запад мощную невоенную силу эфира, зажигающий эффект которой в коммунистической мгле даже не может вообразить западное сознание. Так можно установить прямой контакт с подневольными народами и способствовать росту их самосознания и высвобождения. (Радиостанции и телестанции Запада в их сегодняшнем виде совсем не готовы к такой роли. А, например, "русская секция" радиостанции "Свобода", несмотря на многолетнюю работу, из-за своей принципиальной чужести и даже враждебности русскому национальному сознанию катастрофически утеряла контакт с русским населением и русскими интересами.) Для всего этого нужна крутая ломка традиционной межгосударственной "вежливости", но коммунисты давно её растоптали, да и в Тегеране мы видели цену ей.

Для спасения Запада из сегодняшнего положения нужно

вырваться из рутинного процесса, нужны смелые решения выдающихся руководителей.

Я мог бы и не спешить со всеми этими аргументами. Уже становится ясно, что ни одна моя статья, ни десять моих статей, ни десятеро таких, как я, — не посильны перенести Западу наш кровавый выстраданный опыт и даже нарушить тот эйфорический комфорт, который царит в американской политической науке. Я мог бы не спешить, потому что уже на пороге те события, которые сами бесповоротно откроют Западу его просчёты.

Вермонт

Александр Солженицын

НЕ ОПЫТ РАЗДОРА, НО ОПЫТ ЕДИНСТВА

*Конференции по русско-украинским отношениям в Торонто,
Гарвардскому Украинскому Исследовательскому Институту*

Многоуважаемые господа!

Сердечно благодарю Вас за приглашение на конференцию. К сожалению, уже многие годы интенсивность моей работы не позволяет мне выезжать и принимать участие в общественных мероприятиях.

Но Ваше приглашение дает мне повод и право высказать некоторые соображения письменно.

Я совершенно согласен, что русско-украинский вопрос — из важных современных вопросов, и во всяком случае решительно важен для наших народов. Но я считаю губительным тот накал страстей, ту температуру, которая вокруг него вздувается.

В сталинских лагерях мои русские друзья и я всегда были заедино с украинцами, и мы стояли одной стеной против коммунизма, и между нами не возникало упреков и обвинений. А в последние годы созданный мною Русский Общественный Фонд широко помогает энкам украинцам или литовцам никак не меньше, чем русским, — да не знает он национальных различий, но

только — жертвы коммунизма.

В нынешней повышенной страсти — нет ли эмигрантской болезни, потери ориентировки? Против коммунизма реально делается очень мало (да и большие группы эмиграции все еще отравлены социалистическими утопиями), а вся страсть кидается на обвинение братьев. Я предлагал бы не преувеличивать, насколько эмиграция понимает и представляет истинные настроения своей метрополии, особенно кто оттуда давно или даже родились за границей. И если Ваша конференция начинает основательный диалог о русско-украинских отношениях, то надо ни на минуту не потерять из виду: отношения между *народами*, а не между эмигрантами.

И обидно, что этот спор быстро теряет всякую нравственную высоту, всякую мыслимую глубину, все исторические объемы, а сводится только к лезвию: сепаратизм или федерация (как будто по ту сторону этой струны уже не будет ни одной проблемы). Может быть, и от меня хотят услышать только этот единственный ответ?

Я неоднократно высказывался и могу повторить, что никто никого не может держать при себе силой, ни от какой из спорящих сторон не может быть применено насилие ни к другой стороне, ни к своей собственной, ни к народу в целом, ни к любому малому меньшинству, включенному в него, — ибо в каждом меньшинстве оказывается свое меньшинство. И желание группы в 50 человек должно быть так же выслушано и уважено, как желание 50 миллионов. Во всех случаях должно быть узнано и осуществлено *местное* мнение. А поэтому и все вопросы настоящему могут быть решены лишь местным населением, а не в дальних эмигрантских спорах при деформированных ощущениях.

Эта здешняя искаженная атмосфера, увы, уже известна. Но приведу характерный пример. Год назад в американском журнале "Форэн Афферс" я напечатал статью, все содержание и смысл которой был: упасти Запад от того, чтобы величайшее интернациональное и уже полуторавековое (если не двухвековое, от якобинцев) зло коммунизма успокоительно понимать как русское национальное явление. Я подчеркивал, что в с е народы, захваченные коммунизмом в любое десятилетие и в любой части

планеты, являются (и могут стать) *жертвами* его. Казалось бы, в наше время, когда коммунизм уже гнойно роится на четырех континентах и захватил полмира, среди *каждого* народа найдя себе и добровольных слуг, — такое ложное предубеждение не могло бы держаться, и особенно у людей и наций, близко коснувшихся коммунизма. Но к изумлению моему некоторая часть украинской общественности в Соединенных Штатах реагировала на мою статью (не содержащую ни слова худого об Украине) — бурно враждебно и совершенно парадоксально. Укажу, например, на статью Л. Добрянского, помещенную в "Конгрешенал Рекорд", июнь 1980 г., затем брошюру "Порабощенные нации в 1980", изданную американским комитетом Украинского Конгресса. За то одно мое утверждение, что русский народ, *как и все остальные*, поработен коммунизмом (и никаких претензий на особенные в чем-нибудь права русского народа), — *только* за это я был осыпан вереницей обвинений в "воинствующем национализме", "русском шовинизме", и даже подведен под "коммунистического квислинга". Статья Добрянского переполнена иступленной, навязчиво-повторительной ненавистью к русским, предлагает понимать Россию по Марксу, а нынешний коммунизм называет *мифическим!* Так же и брошюра использует о России ходячую ленинскую формулу. Авторы брошюры и сегодня настаивают, что, например, континентальный Китай и Тибет захвачены русскими, и русский народ является всеобщим в мире поработителем (очевидно сам от того процветая?). Летом 1980 в Баффало на украинском митинге в "Неделю поработенных наций" ведущий оратор развивал это так: Солженицын безучастен к поработенным народам, он *больной, нуждающийся в лечении* (хорошая советская формулировка!). **К о м м у н и з м э т о м и ф!** — возглашал он. — Весь мир хотят захватить не коммунисты, а русские. (Чья рождаемость подорвана ниже критического уровня, миллионные массы бедствуют от голода, а старателей религиозного и национального самосознания бросают в тюрьмы).

Эти настойчивые возглашения, что "коммунизм — миф", могут только всех нас сделать рабами на 5 континентах и на 10 поколений вослед. Протрезветь Америке о мировом коммунизме оказывается не надо, а проблемы самой нет.

Да, господа, в *такой* атмосфере, в *таком* ослеплении — ничего нельзя обсуждать, и бесплодны будут всякие диалоги и конференции. Прочный анализ современности и будущего может жидиться только на понимании того, что коммунизм есть зло интернациональное, историческое и метафизическое, а не московское. (И всякий социалистический аспект — всегда прикрывает и смягчает злодейскую необратимость коммунизма).

Слушаешь этих самоуверенных нападкиков и изумляешься: правда ли, что они причисляют себя к христианам? Но сеять ненависть между народами — не приведет к добру никакую сторону. Взаимная доброжелательность должна опережать и превышать всякую остроту доводов. Никакой постановки никакого национального вопроса нельзя признать вне принципа самоограничения и раскаяния.

Мне особенно больно от такой яростной нетерпимости обсуждения русско-украинского вопроса (губительной для обеих наций и полезной только для их врагов), что сам я — смешанного русско-украинского происхождения и вырос в совместном влиянии этих обеих культур, и никогда не видел и не вижу антагонизма между ними. Мне не раз приходилось и писать, и публично говорить об Украине и ее народе, о трагедии украинского голода, у меня немало старых друзей на Украине, я всегда знал страдания русские и страдания украинские в едином ряду подкоммунистических страданий. В моем сердечном ощущении нет места для русско-украинского конфликта, и если, упаси нас Бог, дошло бы до края, могу сказать: никогда, ни при каких обстоятельствах ни сам я не пойду, ни сыновей своих не пушу на русско-украинскую стычку, — как бы ни тянули нас к ней безумные головы.

Но в толще населения, ежедневно страдающего от коммунизма, *нет* взаимной нетерпимости, все вопросы видятся и глубже, и ответственней. И наши взаимные проблемы XX века не решаются единственно тем, что когда-то одна наша ветвь попала под господство татарское, а другая под польское, или выяснением, кто же был Илья Муромец на службе в Киеве — русский или украинец. Русско-украинский диалог не может идти лишь по одной линии различий и разрывов, но и — по линии трудно отрицаемой общности. Из страданий и национальных

более наших народов (всех народов Восточной Европы) надо уметь извлечь не опыт раздора, но опыт единства. Шесть лет назад я уже попытался выразить это в обращении к страсбургской конференции народов, порабощенных коммунизмом, я прилагаю сейчас его дополнением и прошу Вас также огласить на Вашей конференции.

Вот — все, что я мог бы сказать в предлагаемой Вами дискуссии.

Это письмо я считаю открытым.

С самыми добрыми пожеланиями,

А. Солженицын

Апрель, 1981

КОНФЕРЕНЦИИ НАРОДОВ, ПОРАБОЩЕННЫХ КОММУНИЗМОМ

Шлю мою дружескую поддержку вашей попытке выразить слитный голос Восточной Европы в парламентском центре Западной, еще удерживающей свою шаткую свободу. Единство народов Восточной Европы — может быть, последняя надежда этого континента. Еще не рухнувший Западный мир в своей устоявшейся надменности не замечает, как опускается и опускается он со всех ступеней реальной силы и умственного влияния, развиваясь в провинциальный угол планеты. Вот уже и голоса Восточной Азии добавились к голосам Восточной Европы — но мир, не изведавший глубин страдания, — глух, пока удары этого истребления не поразят его самого наповал.

Мы с вами знаем, что коммунизм не есть чье-либо национальное изобретение, но — органическая гангрена, заливающая все человечество. Беспечной и безграмотной подменой слова "советский" на слово "русский" еще и сегодня относят преступления и новые замыслы мирового коммунизма к народу, пострадавшему от коммунизма раньше всех, дольше всех и вместе со своими тесными братьями по горю, народами СССР, потерявшему от насилия шестьдесят шесть миллионов человек! (Не считая сорока четырех миллионов — от пренебрежительного ведения войны. Курганов.) Наученные муками, не дадим нашим национальным болям превзойти сознание нашего единства! Настра-

давшись от лютого насилия — никто из нас никогда да не применит его к соседям; будем искать формы отношений выше, чем знает современный мир: не взаимного терпения, но — взаимного великодушия.

Я желаю вам успеха в этом сплочении угнетенных наций и в расширении числа тех, кого вы представите в будущем. Даже только эмиграция из порабощенных стран составляет — миллионы. Соединясь друг с другом при полном доверии, не позволяя себя усыпить расслабляющей эмигрантской безопасностью, никогда не забывая наших братьев в метрополиях, — мы составим и голос, и силу, влияющую на ход мировых событий.

27 сентября 1975

АМЕРИКАНСКИЙ ЛИБЕРАЛ И СОВЕТСКИЙ ДИССИДЕНТ

Сравнительно небольшая группа эмигрантов покинула СССР исключительно из-за идейной оппозиции советскому режиму. Эти люди, конечно, враждебны тоталитаризму и марксистской философии. Однако американские либералы с изумлением обнаружили, что беженцы из-за железного занавеса, которых они всегда рассматривали как своих идейных единомышленников, обычно не разделяют американскую философию либерализма (слово, которое в США звучит почти как похвала).

Ниже я суммирую основные различия между мировоззрением "среднего" образованного, умеренно-либерального американца и советского интеллигента-антикоммуниста, которого нельзя назвать либералом, но который не принадлежит к "ультра-правой" группе русских диссидентов. Мой анализ, естественно, будет носить несколько схематический характер.

Подавляющее большинство советских эмигрантов с благодарностью отмечают, что США встретили их благожелательно и помогли на первом трудном пути адаптации. Люди, покинувшие Советский Союз, не могут не заметить огромного контраста между полунищими условиями жизни в советском полицейском государстве и той свободой и изобилием, которые все еще процветают в Соединенных Штатах, несмотря на экономические и политические проблемы этой страны. Советские эмигранты хотят быть лояльными американцами и с гордостью принимают гражданство США, которые они считают самой сильной и прогрессивной страной, защищающей права угнетенных групп во всем мире.

Однако эмигрантов поражает, что американцы с трудом могут понять сущность причин, заставивших их покинуть СССР, и почти ничего не знают о странах социализма. Все эмигранты говорят, что политические суждения американцев, даже весьма образованных — крайне наивны.

В течение нескольких десятилетий беженцы из-за железного занавеса рассказывали американцам, что любой коммунистический режим — это гигантский концентрационный лагерь. Однако американские интеллектуалы, в особенности "левые", заявляли, что это голоса "реакционеров". Повторяя советскую пропаганду, они утверждали, что благодаря коммунистической революции СССР достиг огромного прогресса, создав передовую мощную индустрию. Им отвечали, что эта индустрия полностью милитаризована и не удовлетворяет нужд советских людей и что без революции и жертв Россия достигла бы технического прогресса. Но "левые" на Западе твердят, что социализм освободил рабочий класс и уравнил в правах женщин.

Советские диссиденты пытались объяснить им, что рабочие в СССР имеют теперь меньше прав, чем до революции, что советские "юнионы" защищают интересы государства и, что женщина при социализме закрепощена, так как вынуждена работать, чтобы прокормить семью, которую муж содержать не может потому, что его зарплаты на это не хватает (больше половины советских женщин выполняют тяжелую физическую работу, и они часто не могут позволить себе роскоши иметь детей). Западные "розовые" утверждают, что огромным преимуществом советской системы является бесплатная медицинская помощь и образование. Им отвечают, что медицинская и образовательная системы в СССР не бесплатны, так как государство забирает нужные для этого средства из кармана трудящихся, что правящий класс получает наилучшую медицинскую помощь, а дети элиты учатся в закрытых привилегированных школах. Американские "советологи" долгое время с восторгом сообщали, что национальные проблемы в СССР разрешены. Они не хотели слушать рассказов о росте враждебности разных этнических групп, о геноциде проводимом в отношении определенных меньшинств (татар Крыма, прибалтийских и некоторых Кавказских этнических групп), об усилении русского шовинизма,

о грубом государственном антисемитизме, близком по духу к нацизму.

Ведущие американские эксперты с серьезным видом объясняют американцам, что надо успокоить советских лидеров, которые просто напросто подозрительны и боятся американской военной мощи, и поэтому США должны разоружаться. Понадобился печальный опыт Венгерских, Чехословацких событий, крушение детанта, новые агрессивные акты СССР в Азии и Африке, свидетельства таких людей, как Солженицын, чтобы общественность Америки начала более трезво оценивать реальность. Однако и до сегодняшнего дня многие американцы верят, что советское руководство озабочено лишь укреплением обороны своей страны, что, несмотря на некоторые ошибки и злоупотребления советское общество достигло "значительного прогресса" и что в других странах социализм уже не совершит этих "ошибок". Идея, что социалистическая система не имеет никаких положительных свойств чужда американскому мышлению и традиционной американской "объективности". Многие американцы склонны использовать упрощенную схему: "Простые люди во всех странах хороши, только правительства мутят воду". Это убеждение поддерживается традиционной американской нелюбовью к правительству, бюрократам и политикам. С другой стороны, "восемнадцатого века (Локковский) рационализм господствует над американским мышлением, — пишет американский исследователь Веллер. — Согласно этой доктрине, мир может вступить на путь всеобщей вечной гармонии, если ко всему подходить в духе разума и доброй воли... Эта доктрина имеет своих адептов везде на Западе, но только в США она превратилась в не требующую доказательств самоочевидную истину, несмотря на то, что исторический опыт противоречил ей. Каждое новое разочарование рассматривалось только с той точки зрения, что следует делать новые, более серьезные попытки к достижению успеха. Эта вера была приобретена американской нацией в период ее формирования... Каждое новое поколение слышало это с детства". Именно поэтому американцам трудно доказать противное.

Такой подход фактически игнорировал наличие агрес-

сивных иррациональных, разрушительных тенденций влияющих на международную политику. Воспитанные на этих наивных идеях американские президенты неоднократно становились жертвами Советов, которые исходили из ленинского принципа, что капиталистические страны можно и нужно обманывать. Американское правительство и американский народ все еще не понимают, что в борьбе с тоталитаризмом нельзя опираться на политику "чистых рук" и на доверие к договорам. Это приводит только к поражениям.

Кроме того, американцам все еще неясно, что диктаторские режимы могут быть установлены везде, тогда как для демократии нужны определенные исторические, социальные и психологические условия. С дефектами американской либеральной философии связаны многочисленные провалы американской внешней политики. Эта политика привела к тому, что США не препятствовали укреплению большевизма в России (хотя они могли легко это сделать в 1917-1921 годы), что они отдали Восточную Европу Сталину после второй мировой войны, что они позволили Советской империи добиться военного и стратегического преимущества в течение последних двух десятилетий.

Беглецы из социалистических стран настойчиво доказывали американцам, что страны Варшавского пакта, под руководством СССР, настойчиво стремятся к одной хорошо продуманной цели, тогда как американская политика непоследовательна, в связи с чем США почти утратили моральное лидерство в западном мире.

Советские эмигранты отмечают, что американская позиция ослаблена внутренними разногласиями, нерешительностью президентов, оглядывающихся все время на общественное мнение, борьбой партий, юнионов и группировок, преследующих свои эгоистические интересы. В американской печати, издающейся на русском языке, можно было найти сотни статей, в которых указывалось, что США совершенно напрасно поддерживали "демократические движения" в отсталых странах, которые в конечном счете оказывались прокоммунистическими и антиамериканскими (достаточно вспомнить о Кубе). В других случаях США не выполняли своих обязательств перед друзьями

и союзниками, надеясь, что все наладится само собой, в духе здравого смысла (последним примером такой наивной и нерешительной политики был, например, отказ в поддержке шаха, приведший к иранской катастрофе). В-третьих, они заигрывали с врагами, полагая, что проявление доброй воли, любезные улыбки и декларации о разоружении смогут изменить природу агрессивных тоталитарных государств и демократизировать их. Американцы привыкли уважать чужие обычаи, взгляды и образ действий. Они рассчитывают на взаимную терпимость и компромиссы. Лидерам США было непонятно, что агрессор уважает *только силу*. Они никогда не стремились выяснить закономерности движений, типа советской, вьетнамской или иранской революций, которые подчиняются не здравому смыслу, а иррациональным эмоциям.

Советские диссиденты считают, что свои концепции внешней политики американцы строили и строят на фальшивом оптимизме и вере в "честное соревнование", целью которого является традиционный англо-саксонский экономический профит или установление спортивного рекорда на основе соблюдения правил игры. Поэтому американцам трудно уяснить сущность советского стремления к установлению мирового господства любыми средствами и любой ценой. Они не понимают природы коммунизма и советского империализма. Как сказал мне один молодой "советолог", закончивший Гарвард: "Я не верю, что русские хотят разгромить США и захватить мир, разве у них не хватает своей земли и своих собственных проблем?" К сожалению, эту поражающую советских эмигрантов наивность разделяют многие видные "советологи" и даже — до недавнего времени — сотрудники Государственного Департамента. Многие из них не знают русской истории и не понимают советской стратегии. Американские либералы осуждают сталинский террор, но в еще большей мере "правые режимы". Либералы гневно протестовали против "грязной" войны во Вьетнаме, проигрыш которой, по мнению советских диссидентов, и наиболее разумных американцев, был толчком к серии непрерывного ухудшения военно-политического положения США. Американские студенты устраивают митинги протеста против террора в Чили, апартеида в Южной Африке и "белого расизма", но они стыдливо молчат,

когда Вьетконг отправляет сотни тысяч людей в концлагеря, Камбоджийские коммунисты уничтожают треть народа, а диктаторы в Африке практикуют террор и черный расизм. В интеллектуальных кругах Америки существует удивляющий советских диссидентов политический конформизм и табу на определенные темы. Советские эмигранты считают, что определенные круги американских средств массовой информации "промывают мозги" широкой публики, придавая чрезмерный, истерический характер естественным протестам против злоупотреблений администрации, армии, Си-Ай-Эй или против недостаточной безопасности атомных электростанций.

Советского диссидента, знающего об огромных возможностях и колоссальном аппарате советской секретной службы, не оставляет мысль, что советские агенты помогают в организации этих кампаний, расшатывающих стабильность американского общества, подрывающих его единство, ослабляющих экономику и обороноспособность страны.

Однако их американские друзья считают такие подозрения "паранойей". Советские политические эмигранты, которые считают Америку последним бастионом свободы, уверены, что политика детанта была близорукой и опасной, что умиротворение советской империи привело к усилению ее агрессивности, и что только постоянное американское вооружение и твердая внешняя политика могут предотвратить термоядерную войну. Эти взгляды до недавнего времени встречали поддержку только американских "ястребов" и лишь теперь американское общественное мнение начинает сознавать их справедливость. Флирт западных либералов с революциями и социализмом вызывает раздражение у современной русской интеллигенции, которая помнит печальную судьбу русских либералов, игравших в такую же игру до 1917 года, а затем поплатившихся жизнью за это в "Архипелаге ГУЛаг". В виде протеста против революционной риторики, которая ничего не дала русскому народу, кроме страданий и смерти, многие советские диссиденты стремятся найти смысл жизни в религии, патриотизме, консерватизме, тогда как "прогрессивные" американцы считают, что эти ценности уже устарели.

Советских эмигрантов неприятно удивляет то, что Солже-

ницын назвал упадком мужества Запада (как признал и болгарский Понтий Пилат трусость тягчайшим пороком), ослабление веры в моральные принципы, снисходительность американского общества к росту преступности, сексуальной свободе подростков, антиамериканской и прокоммунистической пропаганде. Они считают, что такая свобода чрезмерна и опасна для общества. Большинство образованных американцев терпимы к любым политическим взглядам, почти безразличны к внешнеполитическим событиям, стремятся жить спокойно и давать жить другим. Они не склонны к правому или левому экстремизму. Их поражает страстный характер антикоммунизма русских. Американцы сочувствуют политическим идеалистам, но они слишком заняты своим бизнесом и политически активны только тогда, когда затрагиваются их интересы. Они не верят, что коммунизм угрожает США и предпочитают избегать разговоров на эти темы. Антикоммунизм же у них ассоциируется не с борьбой против советского тоталитаризма, а с "маккартизмом".

В то же время советские политические эмигранты стремятся выполнить гражданский долг. Они доказывают своим американским друзьям, что те слепы и не понимают угрозы, нависшей над свободным миром.

Конечно, многие советские люди более авторитарны. Они привыкли по-манихейски делить мир на "белое" и "черное" и рассматривать все события с точки зрения полезно ли это "нашему делу" (в данном случае антикоммунизму). Приехав в США, они расценивают все с точки зрения укрепления американской мощи. Такой тип мышления чужд американцу, который привык ругать свое правительство и обвинять США во всех международных неудачах. Однако споры между советскими диссидентами и американцами обычно оказываются безрезультатными. Во-первых, американцы обычно не любят спорить на такие "бесмысленные" темы и чужие проблемы их мало волнуют; во-вторых, понять друг друга мешают отсутствие у американцев опыта революции, кровавого террора и экономической депривации. Наконец, у американцев все еще существует ностальгическая привязанность к таким словам, как "революция" и "социализм", в то время как русские антикоммунисты считают, что революция и социализм в любой стране

завершались и будут завершаться тоталитаризмом и нищетой.

Но дело не только в том, что русские "вообще" более консервативны или авторитарны, а американцы "вообще" более прогрессивны и демократичны. До революции русская интеллигенция была не менее либеральна, чем американский интеллектуальный эстаблишмент сегодня. Последнему кажется, что он вносит новое прогрессивное начало в общественную жизнь. Но всё, что говорят радикалы в Америке сегодня, уже говорилось в России в начале этого века. Тогда революционная русская интеллигенция озлобленно критиковала правительство, бюрократов и капитализм, высмеивала буржуазную мораль и консерватизм, издевалась над патриотизмом, обвиняла во всех грехах полицию, армию, иронически относилась к церкви, требовала сексуальной свободы. Однако после тяжелого опыта большевизма наследники русской интеллигенции круто повернули назад и осознали, что разоблачать социальную систему и лишить народ традиционных ценностей относительно легко, но заменить духовный вакуум, ведущий к упадку и коррупции общества, — очень трудно.

Обо всем этом пишут некоторые русские эмигранты в США, но их неохотно печатают; немногие их слышат и еще меньше понимают. Даже советологические центры игнорируют мнение советских специалистов и предпочитают изучать советскую жизнь на основании официальной советской информации и трудов своих либеральных американских коллег. Эта трудность в передаче своего политического опыта свободному миру вызывает чувство разочарования у русских политических эмигрантов. У них нередко возникает странное ощущение, напоминающее некоторые устрашающие переживания спящего человека, который пытается сопротивляться угрозе и не может поднять руки, порывается кричать, но никто его не слышит. В свое время Ленин, ухмыляясь, заметил, что западные капиталисты напоминают слепо-глухо-немых, которых легко обвести вокруг пальца. К сожалению, в этом отношении (и, пожалуй, только в этом) "гениальный провидец" оказался прав. Воистину, как гласит античная мудрость, кого боги хотят наказать, того лишают разума. Остается, правда, надежда, что наметившийся в США, в самое последнее время, поворот в сторону политики

здорового смысла, здорового консерватизма и сопротивления советской экспансии окажется началом того движения, которое спасет западное общество.

Борис Сегал

”ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ, А НЕ ПАРТИЯМ”

К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ
КРОНШТАДТСКОГО ВОССТАНИЯ

Прошло шестьдесят лет с тех пор, как было подавлено восстание кронштадтских матросов, но память об этом событии все еще не дает покоя советским историкам. Не так давно о Кронштадтском восстании появилась монография С. Н. Семанова ”Ликвидация антисоветского кронштадтского мятежа 1921 года” (Издательство ”Наука”, 1973) и статья И. М. Шишкиной в сборнике ”Правда истории и домыслы советологов” (Лениздат, 1977).

И Семанов, и Шишкина утверждают, что кронштадтские повстанцы оказались орудием в руках контрреволюционеров и стран Антанты, но в то же самое время признают, что восстание было проявлением ”недовольства мелкобуржуазных слоев населения, прежде всего крестьянства”. Подчеркивая политическую и идеологическую значимость восстания, Семанов цитирует Ленина, который сказал, что для большевиков эта ”контрреволюция” была ”более опасна, чем Деникин, Юденич и Колчак вместе взятые”. Семанов также предупреждает, что повторение идеологических ересей, подобных кронштадтской, возможно и теперь; причем в качестве примера он указывает на Пражскую весну 1968 года.

Так что же произошло в Кронштадте в марте 1921 года, что так тревожит Семанова и его единомышленников? Чтобы воскресить в памяти читателя события того времени, я обрисую общее положение в Советской России накануне восстания, коснусь петроградских забастовок, послуживших прямым толчком к восстанию, и остановлюсь на том, как началось, развивалось и закон-

чилось выступление кронштадтцев и каковы были его последствия.

К 1921 году советская власть укрепилась внутренне и внешне. К этому времени были сломлены главные силы Белых армий и других антибольшевицких группировок, было заключено перемирие с Польшей и была снята союзная блокада. Наряду с этим, однако, после многолетней войны и междоусобицы Советская Россия изнемогала от огромных человеческих жертв и хозяйственной разрухи. Тяжелым бременем легла на плечи крестьянства, подавляющего большинства населения, политика военного коммунизма, установившая среди прочих мер продразверстку.

В ответ на введенную продразверсткой принудительную продажу государству сельскохозяйственных излишков крестьяне стали обрабатывать лишь землю, необходимую для удовлетворения собственных нужд. Таким образом, из-за продразверстки и разорения, вызванного гражданской войной, посевная площадь европейской России сократилась в конце 1920 года на две пятых по сравнению с 1913 годом. За тот же период сельскохозяйственная продукция уменьшилась более чем наполовину, а поголовье скота — примерно на одну треть.

Продразверстка, нередко сводившаяся к конфискации не только "излишков", но и запасов крестьян для собственного пользования и даже их инвентаря, привела в конце концов к вооруженному сопротивлению. В августе 1920 года в Тамбовской губернии вспыхнуло Антоновское восстание, на подавление которого были брошены крупные силы Красной Армии. Аналогичные крестьянские волнения произошли в Поволжье, на Украине, на Северном Кавказе, в Белоруссии и Западной Сибири.

В то же самое время ухудшалось положение и в городах. К концу 1920 года промышленное производство, равно как и запасы топлива и сырья, резко понизилось; транспортные средства пришли в полный упадок. Нехватка железнодорожного транспорта задерживала доставку продовольствия в города и вынудила власти посадить рабочих и других горожан на полуголодный паек. Продовольственный кризис усугублялся еще и тем, что при военном коммунизме была запрещена частная торговля и исчез свободный рынок, в результате чего товарообмен между городом и деревней фактически прекратился. Инфляция росла безудержно, и за один лишь 1920 год цена на хлеб возросла более

чем в десять раз. По мере того, как деньги теряли покупательную способность, все больший процент зарплаты выплачивался продуктами. Но продовольственный паек зачастую не удовлетворял минимальных потребностей, что заставляло рабочих и их семьи уходить в деревню на поиски пропитания. Из-за всего этого между октябрём 1917 и августом 1920 года население Петрограда сократилось с двух с половиной миллионов до семисот пятидесяти тысяч. За тот же период Москва лишилась почти половины своих жителей, а общая численность городского населения России уменьшилась примерно на одну треть. Крестьяне и ушедшие в деревни рабочие сетовали на тяготы военного коммунизма, и это недовольство перекинулось на их родственников и земляков в армии и на флоте.

Вдобавок ко всем другим невзгодам зима 1921 года выдалась на редкость суровая. Итак, холод, голод и крутой режим военного коммунизма создали чрезвычайно напряжённую обстановку в крупных городских центрах, особенно в обеих столицах — Москве и Петрограде.

22 января 1921 года правительство объявило, что хлебный паек в городах будет уменьшен на одну треть. Из-за этого в середине февраля в Москве начались рабочие сходки. За сходками последовали забастовки и демонстрации, на которых рабочие требовали отмены военного коммунизма.

Не успели стихнуть беспорядки в Москве, как начались забастовки в Петрограде. Расположенный далеко от пищевых и топливных баз, Петроград страдал ещё больше Москвы от холода и голода. Система неравного распределения продовольствия, которая отдавала предпочтение одним группам населения в ущерб другим, усиливала раздражение. Недовольству способствовали слухи, что партийцам выдают новую обувь и одежду.

23 февраля рабочие Трубочного завода в Петрограде вынесли резолюцию, требовавшую увеличить паек и немедленно распределить всю имевшуюся на складах обувь и теплую одежду. На следующий день они бросили работу и вышли на улицу. На Васильевском острове к ним примкнули другие рабочие и студенты. Эта толпа в две тысячи с лишним человек вскоре была разогнана красными курсантами, без кровопролития. 25 февраля рабочие Трубочного завода вновь появились на улицах и стали

призывать своих товарищей на других предприятиях бросить работу. Забастовали рабочие табачной фабрики "Лаферм", обувной фабрики "Скорход", Балтийского и Патронного заводов. Затем забастовка перекинулась на мастерские Адмиралтейства и Галерную гавань. Собирались толпы и громко предъявлялись требования, в результате чего вызывались курсанты для разгона демонстрантов.

Использованные большевиками средства против забастовок не ограничились посылкой курсантов для разгона забастовщиков. 24 февраля, в день демонстрации на Васильевском острове, Петроградский комитет партии сформировал Комитет обороны из трех человек. Комитет немедленно приказал всем партийным организациям города создать в каждом районе для борьбы с беспорядками собственные революционные тройки. В тот же день исполнительный комитет Петроградского совета, под председательством Григория Зиновьева, объявил чрезвычайное положение; запрещались выход на улицу после 11 часов вечера и уличные собрания. 25 февраля Петроградский совет, Совет профсоюзов и Комитет партии выпустили совместное обращение "К рабочим Красного Петрограда", увещевавшее оставаться на работе и не действовать "на руку контрреволюционерам". На следующий день Петроградский совет собрался для обсуждения дальнейших мер. На собрании выступил комиссар Балтийского флота Н. Н. Кузьмин, сообщивший о тревожном настроении матросов и предупредивший о возможных беспорядках в случае прекращения забастовок. В результате Петроградский совет объявил локаут Трубочного завода и фабрики "Лаферм" и лишил их рабочих продовольственного пайка. Остальным рабочим приказали вернуться на работу, угрожая в противном случае применить к ним те же меры. Тем не менее, забастовки продолжались, и по мере их распространения расширялись требования рабочих. В частности, рабочие стали требовать удаления с фабрик и заводов вооруженных коммунистов и роспуска трудовых армий, в некоторых случаях прикрепленных к крупным предприятиям. 27 февраля на улицах Петрограда появилась листовка следующего содержания:

"Необходимо коренное изменение всей политики власти и, в первую очередь, рабочим и крестьянам нужна свобода. Они не хотят жить по

большевицкой указке, они хотят сами решать свою судьбу. Товарищи, поддерживайте революционный порядок. Организованно и настойчиво требуйте:

Освобождения всех арестованных социалистов и беспартийных рабочих. Отмены военного положения, свободы слова, печати и собраний для всех трудящихся. Свободных перевыборов завкомов, профсоюзов и советов.

Созывайте собрания, выносите резолюции, посылайте к властям делегатов, добивайтесь осуществления ваших требований”.

На следующий день после появления этой листовки, забастовали шесть тысяч рабочих Путиловского завода. В тот же день рабочие-социалисты Невского района расклеивали по городу прокламацию, заканчивающуюся словами:

”Мы знаем, кто боится Учредительного Собрания. Это те, кому грабить нельзя будет, а придется еще отвечать перед народными избранниками за обман, грабеж, за все преступления.

Долой же ненавистных коммунистов! Долой советскую власть! Да здравствует Всенародное Учредительное Собрание”.

К третьему марта, однако, большевикам удалось сломить петроградское забастовочное движение. С одной стороны, возымили действие локаут, лишение рабочих продовольственных пайков, аресты рабочих-активистов, а также эсеров и меньшевиков, агитировавших среди рабочих или в том подозреваемых. С другой стороны, тому способствовали выдача дополнительных пайков рабочим и солдатам и доставка в город экстренных запасов продовольствия. Заградительные отряды, стоявшие вокруг Петрограда, перестали отнимать у рабочих пищевые продукты. Правительство объявило о закупке угля за границей и о разработке планов по замене продрозверстки продналогом. Красноармейцев, прикомандированных к работе на предприятиях, демобилизовали и отпустили в деревни.

Тем временем, вести о петроградских забастовках дошли до Кронштадта. 26 февраля экипажи двух линкоров — ”Петропавловска” и ”Севастополя” — созвали митинг, на котором решили отправить в Петроград делегацию для обследования положения. По своему прибытии кронштадтские уполномоченные увидели, что фабрики и заводы окружены войсками и красными

курсантами. Рабочие, остававшиеся на местах, боялись говорить с кронштадтцами из-за присутствия охраны. Вернувшись в Кронштадт, уполномоченные доложили о своих наблюдениях собранию, состоявшемуся 28 февраля на борту "Петропавловска". Выслушав их показания, собрание приняло следующую резолюцию:

"Заслушав доклад представителей команд, посылаемых Общим Собранием с кораблей в Петроград для выяснения дел в Петрограде, постановили:

1. В виду того, что настоящие Советы не выражают волю рабочих и крестьян, немедленно сделать перевыборы Советов тайным голосованием, причем перед выборами провести свободную предварительную агитацию всех рабочих и крестьян.

2. Свободу слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов и левых социалистических партий.

3. Свободу собраний и профессиональных союзов, и крестьянских объединений.

4. Собрать не позднее 10 марта 1921 года беспартийную Конференцию рабочих, красноармейцев и матросов города Петрограда, Кронштадта и Петроградской губернии.

5. Освободить всех политических заключенных социалистических партий, а также всех рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заключенных в связи с рабочими и крестьянскими движениями.

6. Выбрать Комиссию для пересмотра дел заключенных в тюрьмах и концентрационных лагерях.

7. Упразднить всякие Политотделы, так как ни одна партия не может пользоваться привилегиями для пропаганды своих идей и получать от государства средства для этих целей. Вместо них должны быть учреждены с мест выбранные культурно-просветительные комиссии, для которых средства должны отпускаться государством.

8. Немедленно снять все заградительные отряды.

9. Уравнять паек для всех трудящихся, за исключением вредных цехов.

10. Упразднить коммунистические боевые отряды во всех воинских частях, а также на фабриках и заводах разные дежурства со стороны коммунистов, а если таковые дежурства или отряды понадобятся, то можно назначить в воинских частях с рот, а на фабриках и заводах по

усмотрению рабочих.

11. Дать полное право действия крестьянам над всею землею так, как им желательно, а также иметь скот, который содержать должен и управлять своими силами, то есть не пользуясь наемным трудом.

12. Просим все воинские части, а также товарищей военных курсантов присоединиться к нашей резолюции.

13. Требуем, чтобы все резолюции были широко оглашены печатью.

14. Назначить разъездное бюро для контроля.

15. Разрешить свободное кустарное производство собственным трудом.

Председатель Бригадного Собрания Петриченко
Секретарь Перепелкин”.

Вот эта резолюция и является, по всей вероятности, одной из главных причин идеологического беспокойства советского историка С. Н. Семанова, который упоминался ранее. В своей пространной монографии Семанов несколько раз ссылается на эту резолюцию, но не приводит ее текста. Причины такого умалчивания объясняются, вероятно, тем, что ”Петропавловская резолюция” бросала вызов большевикам не с правых, ”реакционных”, позиций, а с истинно левых, советских. Резолюция отвергала монополизацию власти большевиками, но не призывала к свержению советской власти. Она требовала восстановления советской демократии под лозунгом ”Вся власть Советам, а не партиям”, а не предлагала созыва Учредительного Собрания, восстановления ”буржуазных” политических партий и т. д. Она апеллировала к народным массам, отражая их недовольство и чаяния.

Большевики не замедлили откликнуться на ”Петропавловскую резолюцию”. Они срочно командировали в Кронштадт М. И. Калинина, председателя ВЦИК’а, и комиссара Балтийского флота Н. Н. Кузьмина, которые присутствовали 1 марта на митинге пятнадцати тысяч матросов, солдат и рабочих, собравшихся на Якорной площади. Митинг проходил под председательством П. Д. Васильева, председателя местного совета. После того, как представители кронштадтских уполномоченных, ездивших в Петроград, доложили о своей поездке, собравшимся была зачитана ”Петропавловская резолюция”. Калинин и Кузьмин выступили с резким осуждением документа, но были освистаны. Затем, С. М.

Петриченко, матрос с "Петропавловска", предложил проголосовать резолюцию, которая и была одобрена всем собранием, за исключением Калинина, Кузьмина и Васильева. Калинин покинул митинг и вернулся в Петроград, но собрание продолжалось. Оно решило созвать совещание на следующий день для обсуждения предстоящих выборов в местный совет, а также проголосовало за посылку в Петроград делегации из тридцати человек с тем, чтобы предложить тамошним солдатам и рабочим послать беспартийных представителей в Кронштадт для ознакомления на месте с настроением и требованиями кронштадтского гарнизона.

Второго марта в Доме Просвещения собралось около трехсот делегатов, в большинстве беспартийных. На повестке дня, как уже упоминалось, стоял вопрос о перевыборах в местный совет. Петриченко открыл собрание, которое избрало президиум из пяти человек. Первыми выступили Кузьмин и Васильев. Вместо того, чтобы успокоить возбужденную аудиторию, Кузьмин ее еще больше возмутил. Он говорил об обманчивой позиции кронштадтцев, об опасностях двоевластия, утверждал, что Польша, воспользовавшись неурядицей, может расторгнуть перемирие и возобновить военные действия, уверял, что Петроград успокоился, и предупреждал, что большевики не откажутся от власти добровольно и будут бороться до последнего. Речь Васильева, мало отличавшаяся от выступления Кузьмина, не улучшила общего настроения. Поэтому, после их речей, собравшиеся решили, что Кузьмину и Васильеву нельзя доверять, выпроводили их из зала вместе с комендантом крепости и посадили всех троих под арест. Несмотря на этот явный антибольшевицкий шаг, собрание позволило рядовым членам партии оставаться в зале и участвовать в прениях. Затем Петриченко предложил вновь зачитать "Петропавловскую резолюцию". Предложение было принято, и резолюция одобрена подавляющим большинством голосов.

Когда собравшиеся в Доме Просвещения подошли к обсуждению перевыборов в местный совет, какой-то матрос с "Севастополя" объявил, что 15 подвод с войсками, вооруженными винтовками и пулеметами, движутся по направлению к Дому Просвещения. Это сообщение, оказавшееся совершенно неверным, усилило беспокойство и воинствующее настроение делегатов и побудило их проголосовать против принятого накануне решения о

посылке делегации в Петроград. Кроме того, они постановили превратить состоявший из пяти человек президиум собрания во Временный революционный комитет (Ревком). Тут же Ревком уполномочили немедленно взять под контроль Кронштадт и Кронштадтскую крепость, в состав которой входили все укрепления на острове Котлин и его окружности. Вслед за этим Петриченко сообщил о приближении вооруженного отряда из двух тысяч человек (что тоже оказалось неверным), и взволнованные делегаты разошлись. Из предосторожности Ревком перебрался на борт "Петропавловска".

Поздно вечером 2 марта все корабли, форты и батареи Кронштадтской крепости признали Ревком, и его отряды без единого выстрела заняли все стратегически важные пункты. Мало того, Первый воздухоплавательный морской дивизион в Ораниенбауме, находившийся в нескольких километрах от крепости на южном берегу Финского залива, примкнул к Ревкому и послал в Кронштадт своих представителей.

С 3 марта Ревком стал выпускать ежедневную газету "Известия Временного революционного комитета матросов, красноармейцев и рабочих города Кронштадта", которая выходила без перерыва по 16 марта. Газета освещала повседневную жизнь крепости, помещая на своих страницах приказы Ревкома, сводки военных действий, траурные объявления, уведомления о выдаче продовольствия и т. д. Она также печатала большевицкие донесения и комментарии о Кронштадте, перехваченные по радио, и предлагала своим противникам публиковать сообщения кронштадтцев (чего не случилось). В ее передовицах и статьях подчеркивалась преданность кронштадтцев свободно избранным советам, разоблачалась тирания большевиков, осуждалась политика правых и отвергались обвинения в измене. Многие эти темы нашли свое отражение в лозунгах газеты: "Вся власть Советам, а не партия", "Власть Советов освободит трудовое крестьянство от ига коммунистов", "Советы, а не Учредительное Собрание оплот трудящихся", "Ленин сказал: 'коммунизм — это Советская власть плюс электрификация', а народ убедился, что большевицкий коммунизм — это комиссародержавие плюс расстрелы", "Долой контрреволюцию слева и справа!" и др. Нигде в газете не попадает лозунг "Советы без коммунистов", который советский

историк С. Н. Семанов приписывает кронштадтцам. С одной стороны, Семанов говорит, что "вся 'идейная платформа' кронштадтского 'ревкома' укладывается в пресловутый лозунг 'Советы без коммунистов'", но с другой, он отмечает, что "в 'Известиях ВРК Кронштадта' и в других сохранившихся документах мятежников прямого упоминания этого лозунга нет".

В своей первой передовой кронштадтские "Известия" писали, что недавние беспорядки в Москве и Петрограде показали, что правительство лишилось доверия масс и грубо пренебрегло их законными требованиями. "Эти волнения, эти требования, — говорили "Известия", — голос всего народа, всех трудящихся. Все рабочие, моряки и красноармейцы ясно в настоящий момент видят, что только общими усилиями, общей волей трудящихся можно дать стране хлеб, дрова, уголь, одеть разутых и раздетых, и вывести республику из тупика". Эти настроения и чаяния масс, утверждала газета, отражены в "Петропавловской резолюции". Далее передовая описывала, как и почему был сформирован Ревком, и заканчивалась следующим воззванием к населению Кронштадта:

"Товарищи и граждане! Временный Комитет озабочен, чтобы не было пролито ни одной капли крови. Им приняты чрезвычайные меры по организации в городе и крепости и на фортах Революционного порядка.

Товарищи и граждане! Не прерывайте работ. Рабочие, оставайтесь у станков, моряки и красноармейцы в своих частях и на фортах. Всем советским работникам и учреждениям продолжать свою работу. Временный Революционный Комитет призывает все рабочие организации, все морские и военные части и отдельных граждан оказать ему всемерную поддержку и помощь. Задача Временного Революционного Комитета дружными и общими усилиями организовать в городе и крепости условия для правильных и справедливых выборов в новый Совет.

Итак, товарищи, к порядку, к спокойствию, к выдержке, к новому честному социалистическому строительству на благо всех трудящихся.

Председатель Вр. Рев. Комитета Петриченко, секретарь Тукин".

Воззвание Ревкома поддержали многие местные коммунисты. Одни сформировали Временное бюро РКП, которое, хотя и не отказывалось от большевизма, призывало членов партии оста-

ваться на местах и подчиняться распоряжениям Ревкома. Другие же открыто критиковали партию и порывали с ней. По советским данным, за время восстания в Кронштадте 341 моряк, 255 красноармейцев, 178 рабочих и 71 служащий вышли из состава РКП.

Третьего марта Ревком воспретил выезд из Кронштадта без разрешения и объявил осадное положение; запрещался выход на улицу после 11 часов вечера, аннулировались военные отпуска и всем организациям было приказано формировать революционные тройки. На следующий день Ревком переселился в Дом Народа, где организовал свой штаб. В тот же вечер 202 делегата от кронштадтских воинских частей и фабрик, очевидно те же люди, которые заседали накануне в Доме Просвещения, собрались в Гарнизонном клубе. Под возгласы "победим или умрем!" они постановили вооружить всех рабочих для несения внутренней охраны, так как матросы и солдаты гарнизона попросили себе боевые назначения. Кроме того, чтобы помочь Ревкому справиться с нагрузкой, делегаты увеличили его состав, избрав десять новых членов. Большинство членов Ревкома состояло из матросов с "Петропавловска" и "Севастополя", причем некоторые из них прослужили на флоте много лет. Так, например, председатель Ревкома С. М. Петриченко поступил на флот в 1912 году, а его заместитель, В. Яковенко, сражался на баррикадах в 1917 году. Ф. Патрушев и П. Перепелкин, так же как Петриченко, служили на флоте с 1912 года, а Г. Ососова и С. Вершинина призвали одного — в 1914, а другого — в 1916 годах. Утверждения некоторых советских авторов о том, что состав кронштадтских матросов сильно изменился к 1921 году по сравнению с 1917-м не совсем соответствует действительности. По подсчетам того же С. Н. Семанова, 79,2 процента экипажей "Петропавловска" и "Севастополя", главных вдохновителей Кронштадтского восстания, начали службу до 1917 года. А в октябре 1917 года матросы "Петропавловска", "Севастополя" и других кронштадтских кораблей были рьяными сторонниками большевиков, получивши, с легкой руки Троцкого, прозвище "краса и гордость революции".

Ранним утром 3 марта на подкрепление Первого воздухоплавательного морского дивизиона в Ораниенбауме, примкнувшего к кронштадтцам, из крепости туда были направлены 250 человек. Но встреченные на подступах к Ораниенбауму пулемет-

ным огнем, они вернулись. Тогда же три делегата воздухоплавательного дивизиона, возвращавшиеся на свою базу из Кронштадта, были задержаны Чeka. Тем временем всем коммунистам в Ораниенбауме выдали оружие и дополнительные продовольственные пайки. Вдобавок, комиссар ораниенбаумского гарнизона вызвал подкрепления из Петрограда. В пять часов утра прибыл бронепоезд с отрядом курсантов и тремя батареями легкой артиллерии. Казармы воздухоплавательного дивизиона были окружены, и находившиеся в них люди — арестованы. После продолжительных допросов сорок пять человек были выведены из казарм и расстреляны в лесу. (Следует отметить, что содержащиеся под арестом в Кронштадте во время осады коммунисты остались невредимы).

Пятого марта председатель Реввоенсовета РСФСР Лев Троцкий предъявил кронштадтцам ультиматум следующего содержания, подписанный также главнокомандующим Красной Армией С. С. Каменевым:

“Рабоче-крестьянское правительство постановило вернуть незамедлительно Кронштадт и мятежные суда в распоряжение Советской Республики. По сему приказываю всем поднявшим руку против социалистического отечества немедленно сложить оружие. Упорствующих обезоружить и предать в руки Советских властей. Арестованных комиссаров и других представителей власти немедленно освободить. Только безусловно сдавшиеся могут рассчитывать на милость Советской Республики. Одновременно мною дается распоряжение подготовить для разгрома мятежа и мятежников вооруженной рукой. Ответственность за бедствия, которые при этом обрушатся на мирное население, ляжет целиком на головы белогвардейских мятежников. Настоящее предупреждение является последним.

Предс. Рев. Воен. Сов. Респ. Троцкий, Главком Каменев”.

В тот же день большевицкие самолеты сбросили на Кронштадт листовки. В листовках защитникам крепости угрожали, что если они не сложат оружия в течение двадцати четырех часов, то их “перестреляют, как куропаток”. Ультиматум Троцкого и листовки вызвали гневную реакцию кронштадтских “Известий”. Газета писала: “Довольно! Трудящихся больше не обмануть! Ваши надежды, коммунисты, тщетны и угрозы бес-

сильны. Девятый вал Революции Трудящихся поднялся и смоег гнусных клеветников и насильников с оскверненною их деятельностью Советской России, а милости вашей, господин Троцкий, нам не надо!" Возмущению кронштадтцев способствовало также решение петроградского Комитета обороны держать заложниками семьи кронштадтцев в Петрограде в отместку за трех большевицких руководителей, арестованных в Кронштадте 2 марта. Петроградский Комитет обороны заявил, что "если хоть один волос упадет с головы задержанных товарищей, за это ответят головой названные заложники". Спустя два дня кронштадтский Ревком потребовал, в свою очередь, освобождения заложников в течение двадцати четырех часов и обещал не следовать примеру большевиков и не брать заложников, потому что "такой прием, хотя бы и в отчаянной злобе, — самый позорный и подлый во всех отношениях". Требования сторон не были удовлетворены.

Шестого марта большевицкие власти прибегли к новой тактике. В телеграмме Ревкому Петроградский совет предложил отправить на переговоры в Кронштадт делегацию из партийных и беспартийных. Ревком ответил, что не верит в беспартийность петроградских представителей, и, в свою очередь, предложил, чтобы вместо этого петроградские заводы и фабрики, воинские части и матросы избрали своих представителей в присутствии кронштадтцев, которых пошлют в Петроград для наблюдения за беспристрастностью выборов. Кроме того, Ревком поставил условием, чтобы в составе правительственной делегации было больше 15 процентов коммунистов. В контрпредложении Ревкома тоже говорилось, что ответ Петроградского совета ожидается к шести часам вечера 6 марта. Ответа не последовало.

Все это время усиливалась боеспособность Петрограда и прилегающей к нему территории. Из разных районов страны стягивались курсанты, отряды Чека и армейские части. 5 марта командующим Седьмой армией и всеми войсками петроградского военного округа был назначен М. Н. Тухачевский. Но в Седьмой армии не было больше боевого духа. С окончанием военных операций против белых солдаты, в большинстве из крестьян, стремились домой, в деревню. К тому же они, надо предполагать, разделяли недовольство своих земляков по отношению к воен-

ному коммунизму и могли поддаться агитации кронштадтцев. Чтобы повысить их боевой дух, командование выдало им дополнительный продовольственный паек и обмундирование. Все же, из-за неуверенности в лояльности Седьмой армии, в передовые колонны на штурм крепости выделили курсантов и отборные части коммунистов. Особым отрядам Чека поручалось прикрытие тыла.

Крепость тоже готовилась к штурму. Среди ее боеспособного населения имелось около тридцати тысяч матросов и солдат и две тысячи вооруженных штатских. Кронштадт и остальные форты были хорошо укреплены и имели на вооружении сто тридцать пять пушек и шестьдесят восемь пулеметов. На двух линкорах — "Петропавловске" и "Севастополе" — имелось по дюжине двенадцатидюймовых и шестнадцати 120-миллиметровых орудий. Таким образом, они намного превосходили вооружение Красной Горки, наиболее укрепленного большевицкого форта на материке, у которой было всего четыре действующих двенадцатидюймовых орудия. С другой же стороны, обоим линкорам, стоящим по соседству, было трудно маневрировать среди льда. Остальные находившиеся в гавани восемь судов были малозффективны из-зи отсутствия ледоколов. Крепость отделяла от побережья, расположенного на расстоянии от 8 до 20 километров, обледенелая равнина Финского залива.

Двадцатичетырехчасовой ультиматум правительства, позже продленный на одни сутки, истек 7 марта. Рано утром, в шесть сорок пять, большевицкие батареи открыли огонь, нацеленный в основном на пристровные форты. Когда последние ответили тем же, Красная Горка вступила в бой, на что откликнулись двенадцатидюймовые орудия "Севастополя". Через некоторое время артиллерийская дуэль прекратилась из-за плохой видимости, вызванной снегом и туманом. Но на следующий день перед рассветом большевики начали штурм. Пехота в белых халатах двинулась по льду одновременно с северного и южного берегов. Впереди шли курсанты, за ними отборные армейские части, тыл прикрывали вооруженные пулеметами чекисты. Прилегающие к Кронштадту форты и батареи встретили наступающие войска сильным огнем. Некоторые подразделения Красной Армии дошли до ближайших фортов, но были вскоре отброшены назад. Когда погода прояснилась, батареи большевиков возобновили

обстрел. Им ответили тяжелые орудия Кронштадта, повредившие небольшой участок железной дороги между Ораниенбаумом и Петергофом и вызвавшие пожар нескольких построек. В то же время большевицкие самолеты совершили налет на Кронштадт, но причинили мало ущерба: одна бомба упала на город, повредив дом и ранив тринадцатилетнего мальчика.

Не сумев преодолеть сопротивление кронштадтцев и понеся большие потери, большевики отступили. Главными причинами неудачи были, видимо, чересчур поспешная подготовка наступления и недостаточная численность войск. Кроме того, некоторые красноармейцы не хотели стрелять в восставших, и в нескольких случаях, несмотря на угрозы чекистов-пулеметчиков, войска отказывались наступать из ледобоязни. Из тысячи с лишним командиров и солдат, попавших в плен к кронштадтцам, 240 попросили зачислить их в боевые части защитников крепости, потому что хотели "стать защитниками рабочих и крестьян не только Кронштадта, но и всей России".

Как отклик на штурм Кронштадта, Ревком выпустил следующее заявление:

"Итак, грянул первый выстрел... Стоя по пояс в братской крови трудящихся, кровавый фельдмаршал Троцкий первый открыл огонь по Революционному Кронштадту, восставшему против владычества коммунистов для восстановления подлинной власти Советов.

Без единого выстрела, без капли крови мы, красноармейцы, матросы и рабочие Кронштадта, свергли владычество коммунистов и даже пошадил их жизнь. Под угрозой орудий они снова хотят навязать нам свою власть.

Не желая кровопролития, мы предложили прислать к нам беспартийных делегатов Петроградского пролетариата, чтобы они увидели, что в Кронштадте идет борьба за власть Советов. Но коммунисты скрыли это от рабочих Петрограда и открыли огонь — обычный ответ мнимого рабоче-крестьянского правительства трудовому народу на его требования.

Пусть знает весь мир трудящихся, что мы, защитники власти Советов, стоим на страже завоеваний Социальной Революции.

Мы победим или погибнем под развалинами Кронштадта, борясь за правое дело трудового народа.

Трудящиеся всего мира нас рассудят, а кровь невинных падет на голыи опьяненных властью изуверов-коммунистов.

Да здравствует власть Советов!

Временный Революционный Комитет Кронштадта”.

Кронштадтцы также обвинили большевиков в нарушении перемирия. По сообщению кронштадтских “Известий”, вечером 8 марта группа коммунистов с белым флагом направилась к Кронштадту из Ораниенбаума. Два члена Ревкома, Вершинин и Куполов, верхом, без оружия, поскакали им навстречу. Когда Вершинин приблизился к группе, его стянули с лошади и уташили; Куполов сумел вернуться в крепость. Возмущенная этим поступком газета писала: “Выкинутый во время военных действий белый флаг, означает временную приостановку их для ведения переговоров между противниками. Так было всегда у всех народов. Но не так у коммунистов. Они флаг мира превращают в знак предательства и под прикрытием его совершают свои гнусные дела”.

Между 9 и 11 марта большевики неоднократно пытались прорвать оборону крепости, но каждый раз отступали с большими потерями. С 15 до 17 марта, то есть за двое суток до начала второго штурма, они прекратили все сухопутные операции, но продолжали воздушные налеты и артобстрел.

Во время осады Кронштадта у большевиков возникли затруднения в тылу. В Петергофе был раскрыт антибольшевицкий заговор среди курсантов. 16 марта на некоторое время взбунтовались бойцы 27 Омской дивизии в Ораниенбауме. 7 марта рабочие петроградской фабрики “Арсенал” одобрили “Петропавловскую резолюцию” и призвали своих товарищей на других предприятиях в поддержку Кронштадту объявить всеобщую забастовку. В тот же день в Петрограде распространялась приписываемая меньшевикам листовка, в которой говорилось:

”Мы не можем и не должны спокойно слушать грохот пушек. Мы должны вмешаться и положить конец кровопролитию.

Требуйте немедленной приостановки военных действий против матросов и рабочих Кронштадта. Требуйте от власти немедленного вступления с ними в открытые и гласные переговоры при участии делегатов от крупных фабрик и заводов Петрограда”.

Петроградские анархисты пошли еще дальше. В своей листовке, появившейся на улицах 9 марта, они призывали рабочих: "Бросайте работу, выбирайте делегатов, посылайте в Кронштадт для того, чтобы совместным путем свергнуть самодержавных коммунистов". Но все эти выступления ни к чему не привели.

Большевицкая пропаганда, направленная против кронштадтцев и начатая с первых дней восстания, набирала темпы. Большевики всячески пытались доказать, что восстание было "контрреволюционным заговором", а не стихийным выступлением. Они утверждали, что матросы, подпав под влияние меньшевиков и эсеров в своей среде, предательски действовали в согласии с белогвардейцами, которые, в свою очередь, были связаны с эмигрантским заговором в Париже при ближайшем участии французской контрразведки. 15 марта большевицкой пропаганде было дано мощное оружие в виде постановления X съезда партии, открывшегося в Москве 8 марта. Постановление объявляло о замене продразверстки продналогом; оно знаменовало собой конец военного коммунизма и начало НЭП'а. Это решение повысило боевой дух красноармейцев, в большинстве из крестьян.

Настроение кронштадтского гарнизона оставалось приподнятым примерно до середины марта. Несмотря на постоянный обстрел, ущерб, нанесенный крепости, был невелик и потери незначительны. До 10 марта только четырнадцать человек было убито и четверо ранено. Со временем, однако, потери стали расти: 14 и 16 марта состоялись коллективные похороны. Вечером 16-го двенадцатидюймовый неприятельский снаряд разорвался на "Севастополе", убив четырнадцать матросов и ранив тридцать шесть. Отсутствие массовой поддержки в стране, непрекращающийся огонь и тающие запасы продовольствия, медикаментов и топлива постепенно подтачивали дух и физическую выносливость защитников крепости. Несмотря на первоначальный отказ от заграничной помощи (включая и политическую поддержку, предложенную лидером эсеров Виктором Черновым) кронштадтцы согласились 16 марта принять от русского Красного Креста в Финляндии продовольствие и медикаменты. Но груз этот не дошел по назначению, ибо к этому времени Красная Армия уже была готова нанести сокрушительный удар.

Для второго штурма Кронштадта большевикам удалось сосредоточить 50 000 человек — более чем вдвое превышающих численность войск, участвовавших в штурме 7 - 8 марта, — и намного улучшить организацию тыла. Кроме того, к участию в операции были привлечены лучшие красные командиры — И. Ф. Фелько, П. Е. Дыбенко, В. К. Путна, Я. Ф. Фабрициус и бывшие царские офицеры Е. С. Казанский и А. И. Седякин. Говоря о царских офицерах, следует обратить внимание на то, что некоторые советские источники приписывают царским офицерам ведущую роль в кронштадтском восстании. Имеющиеся данные опровергают это, ибо, как уже было отмечено, кронштадтский Ревком состоял главным образом из матросов с двух линкоров — "Петропавловска" и "Севастополя". С другой стороны, верно то, что повстанцы, так же как и большевики, пользовались услугами военспецов, в числе которых были А. Н. Козловский и Е. Н. Соловьянов. Но тут нужно отметить, что бывшие царские офицеры, сражавшиеся на стороне большевиков против кронштадтцев, включая главнокомандующего Красной Армией С. С. Каменева и командующего Седьмой армией М. Н. Тухачевского, играли значительно более заметную роль, чем А. Н. Козловский, Е. Н. Соловьянов и другие, оказавшиеся в рядах повстанцев. Вообще же, по признанию того же советского историка С. Н. Семанова, в Красной Армии служило много бывших царских офицеров, в основном младших чинов. Но он также говорит, что среди них были и высшие чины. "Достаточно вспомнить, — пишет Семанов, — имена А. А. Брусилова, М. Д. Бонч-Бруевича, А. И. Егорова, С. С. Каменева, И. И. Вацетиса и др."

Второму и последнему штурму Кронштадта предшествовала канонада, начавшаяся в два часа дня 16 марта и продолжавшаяся целый день. Защитники крепости отвечали сильным огнем с фортов и двух линкоров. Вдобавок к обстрелу с берега, большевицкие самолеты бомбили крепость и форты. К полуночи артиллерийский обстрел прекратился. В три часа утра 17 марта начался штурм.

Наступление проводилось с севера и юга. Северная группа продвигалась вперед двумя колоннами, из Сестрорецка и Лисьего Носа. Первыми объектами колонны из Лисьего Носа были близлежащие форты № 5 и № 6. После ряда атак и контратак, они были

вскоре захвачены. К полудню, несмотря на упорное сопротивление, все номерные форты, расположенные к северу и северо-востоку от острова Котлин, пали. Тем временем, колонна, шедшая из Сестрорецка, приблизилась к форту Тотлебен, самому северному из всех. Последовали продолжительные рукопашные схватки, и форт Тотлебен, так же как и соседний с ним форт Красноармеец сдались наступающим войскам ранним утром 18 марта.

Южная группа войск вышла из района Ораниенбаума в четыре часа утра 17 марта и двинулась четырьмя колоннами к городу Кронштадту. Еще в темноте 79-я стрелковая бригада достигла южной окраины города и захватила несколько внешних батарей, но вскоре была вынуждена отступить, потеряв более половины состава убитыми и ранеными. В то же время, 32-я стрелковая бригада, при поддержке 95-го и 96-го стрелковых полков, ворвалась в город к северу от Петроградских ворот. Почти одновременно с этим, 187-я стрелковая бригада вошла в Кронштадт через сами ворота; за ней вскоре последовали 167-я и 80-я бригады. Оказавшимся в стенах города наступающим войскам пришлось ожесточенно сражаться буквально за каждый дом. В четыре часа дня повстанцы контратаковали, но 27-му кавалерийскому полку и прибывшему к этому моменту из Петрограда отряду партийцев-добровольцев удалось отбить атаку. Позднее из Ораниенбаума в Кронштадт подоспела артиллерия, открывшая сильный огонь по кронштадтцам. Вечером часть северной группы войск ворвалась в Кронштадт с северо-востока, захватила штаб-квартиру крепости и сомкнулась с южной группой, которая к тому времени заняла центр города.

Три члена кронштадтского Ревкома В. Вальк, Павлов и П. Перепелкин попали в плен к большевикам во время второго штурма крепости, а четвертый — С. Вершинин, как уже упоминалось, был захвачен 8 марта. Остальные члены Ревкома во главе с С. М. Петриченко и группа военспецов — А. Н. Козловский, Е. Н. Соловьянов и другие — вечером 17 марта бежали по льду в Финляндию, в Териоки. За последующие сутки в Финляндию перебежало восемь тысяч человек, в большинстве моряков. Перед бегством они уничтожили или повредили тяжелые орудия и оборудование укреплений. Узнав о бегстве своих предводителей, оставшиеся на местах матросы "Петро-

павловска" и "Севастополя" не взорвали линкоры вопреки данному им приказу. Вместо этого, они арестовали своих командиров и сдались большевикам.

По подсчетам американского консула в Выборге, Красная Армия потеряла в кронштадтской операции десять тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Потери повстанцев, по советским данным, исчислялись в шестьсот человек убитыми, более тысячи раненых и две с половиной тысячи пленных.

Комендантом кронштадтской крепости после ее падения был назначен Павел Дыбенко, один из активных участников штурма. Этот бывший матрос "Петропавловска" получил чрезвычайные полномочия для расправы с восставшими. В Кронштадте сразу же началась перерегистрация членов партии, стала выходить новая газета "Красный Кронштадт", "Петропавловск" и "Севастополь" были переименованы в "Марата" и "Парижскую коммуну", а Якорная площадь стала называться площадью Революции.

Никого из захваченных в плен кронштадтцев не судили открыто, но 20 марта большевики сообщили о расстреле 13 человек — пяти младших командиров "из бывших дворян", одного бывшего священника и семерых матросов "из крестьян". Их обвиняли в подстрекательстве к восстанию, хотя никто из них не был членом кронштадтского Ревкома и никто не играл заметной роли в деятельности повстанцев. Другие пленные были заключены в лагерь и тюрьмы.

Советское правительство потребовало от Финляндии выдачи бежавших туда кронштадтцев, но финны отказались и поместили их в беженские лагеря, где провиантом и одеждой их снабжали американский и британский Красный Крест. Некоторые беженцы работали одно время на постройке дорог и т. п. Однако беспроектность лагерного существования и тоска по родине вынудили многих вскоре вернуться домой. Есть сведения, что их, так же как и захваченных в Кронштадте, отправили в тюрьмы и лагеря.

Руководитель восстания С. М. Петриченко оставался в Финляндии до 1945 года. Вначале он занимался антибольшевицкой деятельностью, сотрудничая с некоторыми русскими эмигрантскими группировками в Европе, но впоследствии стал совпатриотом. Он вернулся в СССР после Второй мировой войны

и сразу же был отправлен в концлагерь, где и умер между 1946 и 1947 годами.

Глядя ретроспективно, становится очевидным, что Кронштадтское восстание было обречено на неудачу. К моменту восстания Финский залив был все еще покрыт толстым слоем льда, что позволило Красной Армии развернуть массовое наступление пехоты. Московские и петроградские забастовки выдохлись, и истрадавшееся и деморализованное население страны не способно было более идти на новые жертвы. Кроме того, сами кронштадтцы, твердо веря в свою правду и рассчитывая на скорое и бескровное падение большевизма под давлением всенародного возмущения, не хотели и, по причинам военно-стратегическим, не могли перейти в наступление.

Кронштадт был изолирован. Вопреки утверждениям советской пропаганды, никакой поддержки от европейских держав Кронштадт не получил. Напротив, некоторые западные страны в какой-то мере содействовали большевикам в тот момент, когда Кронштадт погибал. Так, 16 марта 1921 года Великобритания заключила торговый договор с Советской Россией, в тот же день в Москве был подписан договор дружбы с Турцией, а 18 марта большевики заключили мирный договор с Польшей.

Попытки советских авторов обвинить русскую эмиграцию в Европе в том, что она участвовала в кронштадтском "заговоре", крайне не убедительны. Действительно, многие русские эмигранты сочувствовали повстанцам и хотели бы им помочь, но, застигнутые врасплох внезапным развитием событий, не смогли оказать кронштадтцам никакой своевременной материальной и политической поддержки. Советский историк С. Н. Семанов признает "неэффективность действий" русских эмигрантов, но рассуждает о том, что случилось бы, если бы восстание затянулось. Его коллега И. М. Шишкина пытается приписать американскому историку Полу Эйвричу признание в вероятности заблаговременной подготовки Кронштадтского восстания с помощью русских эмигрантов. В доказательство этому Шишкина ссылается на приложенный к книге Эйврича документ "Докладная записка по вопросу об организации восстания в Кронштадте", написанный в конце января - начале февраля 1921 года. В этой секретной докладной записке Русского Национального Центра в Париже обсужда-

ется план действий на случай восстания в Кронштадте, которое, по мнению ее анонимного автора, должно было начаться весной 1921 года. Однако, изучив этот документ и связанные с ним обстоятельства, Эйврич приходит к выводу, что "никаких признаков не было обнаружено, говорящих за то, что докладная записка была когда-либо использована на практике или что до восстания существовали какие-либо связи между эмигрантами и матросами".

Эйврич, так же как и некоторые другие западные историки, считает, что Кронштадтское восстание было для большевиков вопросом жизни и смерти. Ленин, по его словам, "понял, что мятеж не был изолированным эпизодом, а частью целой сети волнений, включавших восстания в деревне, беспорядки на фабриках и растущее брожение в вооруженных силах. Из-за Кронштадта, отметил он (Ленин), экономический кризис военного коммунизма превратился в 'политический' и будущее большевизма повисло в воздухе". Чтобы предотвратить крушение большевизма, Ленин провел НЭП: заградительные отряды были упразднены, продразверстка снята, торговля между городом и деревней возобновилась и частное предпринимательство было в какой-то мере восстановлено. Но вынужденный из-за Кронштадта пойти на экономические уступки, Ленин использовал тот же Кронштадт для усиления власти партийной монополии и укрепления партийной дисциплины. Остатки других, входивших в Советы партий, — меньшевиков и эсеров — были окончательно разгромлены, большевицкий "демократический централизм" в его прежнем понимании прекратил свое существование, и по инициативе Ленина началась чистка, в результате которой из компартии исключили около трети ее членов. Таким образом, был пройден еще один этап на пути к дальнейшему укреплению тоталитарной коммунистической диктатуры, что привело в конце концов к сталинизму.

В начале этой статьи я упомянул, что С. Н. Семанов в написанной им в 1973 году работе проводит параллель между Кронштадтским восстанием и попыткой чехословаков в 1968 году построить "социализм с человеческим лицом". В данный же момент напрашивается еще одна параллель — события в Польше. Не является ли массовое движение польских рабочих и крестьян воплощением того, за что боролись — и за что так дорого запла-

тили — кронштадтские матросы и солдаты шестьдесят лет тому назад?

Н. В. Моравский

БИБЛИОГРАФИЯ

Avrich, Paul. Kronstadt 1921. Princeton: Princeton University Press. 1970;

Chamberlin, William Henry. The Russian Revolution 1917-1921. 2 vols. New York: The Macmillan Company, 1935.

Pollack, Emanuel. The Kronstadt Rebellion: The First Armed Revolt Against the Soviets. New York: Philosophical Library, Inc. 1959.

"Правда о Кронштадте". Издание газеты "Воля России", Прага, 1921.

Семанов С. Н. "Ликвидация антисоветского кронштадтского мятежа 1921 года". Издательство "Наука", Москва, 1973.

Шишкина И. М. "Правда истории и домыслы советологов". Лениздат, Ленинград, 1977.

Советская историческая энциклопедия, 1961. "Антоновщина".

Советская историческая энциклопедия, 1965. "Кронштадтский анти-советский мятеж 1921".

Swiek, Michael. "Antonovshchina." Seminar paper, Georgetown University, 1978.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

/ 1821 - 1881 /

Бывают люди, которые, побывав в горняцком лифте, говорят, что они исследовали шахту. Кое-кто из них, возможно, готов спуститься и на дно ее. Но доподлинно шахту знает тот, кто в ней работает и знает ее этажи, коридоры и ответвления. В какой-то степени этот пример относится и к Достоевскооведам. Для некоторых из них Достоевский представляет собой интересный объект для патолого-эротических наблюдений; другие интересуются им как психо-патологическим типом; но, кажется, надо быть русским и православным, чтобы пойти за ним, как Данте с Вергилием, в нижайшие глубины человеческого духа, изведать все закомки его темных недр, чтобы затем пережить восторг духовного возрождения и освобождения. Такими спутниками Достоевского были, напр., Мережковский и Бердяев, но не был, на мой взгляд, Шестов, который в своем эссе "Власть идей" немилосердно и несправедливо раскритиковал того же Мережковского за ложное якобы понимание идей великого писателя. И совершенно справедливо пишет Н. Бердяев, что для того чтобы познать Достоевского, надо суметь как бы отождествиться с ним, надо смотреть на человека его, Достоевского, глазами.

Хотя Достоевский, подобно другим русским мыслителям прошлого века, прошел на своем жизненном пути различные этапы: эстетизм, психологизм, социализм, но этапы эти у него имели не отвлеченный, а экзистенциальный характер; можно сказать, что он лично, собственным опытом, проник в пневмо-психо-соматическую реальность человека, все изведать сам, все

пережил, а затем поведал другим.

Значение Достоевского велико не только потому, что после различных искушений он отыскал путь ко Христу, но и потому, что он до дна, до отказа, исследовал все возможности пути *вне* Христа и с гениальной проникновенностью, художественно — а потому и чрезвычайно убедительно — показал, что *все пути* вне Христа в лучшем случае приводят в тупик, в худшем же — к гибели. Он взорвал устоявшееся мнение, что гуманизм сам по себе, в отрыве от христианства или вопреки ему, может стабилизироваться на одном из этапов своего развития (оптимальном), и показал, что гуманизм естественно вырождается в "гоминизм", в антропотеизм и, наконец, в голую, беспринципную, сатанинскую жажду власти *над* людьми. Роковая диалектика непреодолимо ведет к положению, в котором "все позволено" и, следовательно, *ничего нет святого*. Идеология "вседозволенности" в любой области — эротической, социальной, политической — обуславливает переход *зла* из состояния потенции в состояние осуществленности, т. е. *является воплощением метафизического принципа зла*.

Достоевский — диалектик умозрительный и экзистенциальный. Поэтому отдельные его мысли надо рассматривать в их окончательном синтезе. Достоевский — не ученый систематик-философ, а писатель, пишущий о Боге и человеке. Правда, и философия, в конце концов, устремляется к тому, чтобы объяснить понятие Бога и явление человека. Но эти две темы Достоевский исследует не в гносеологической перспективе, а в перспективе пневматологической, психологической и аксиологической. И все это — вокруг оси — человеческой свободы. Свобода ведь один из драгоценнейших даров Творца человеку и... самый опасный. Свобода есть непреложное условие богоподобия и, вместе с тем, возможность сатаноподобления.

Тема двух путей, излюбленная в эпоху патристики, вспыхивает новым блеском в творчестве Достоевского и открывается с новой глубиной. Свобода первой степени — свобода выбора, свобода же второй степени — осуществленный выбор добра. Первая влекущая, но призрачная и роковая; вторая — требующая подвига, но истинная. Не сказал ли Христос: "...бремя Мое легко... познайте истину и она сделает вас свободными... Я есмь путь, истина и жизнь!""?

В своей прекрасной книге "Миросозерцание Достоевского" Н. Бердяев пишет, что учение о человеке *до* Достоевского и *после* него — уже не то же самое. Было античное понимание человека, было святоотеческое, было средневековое, было ренессансное, было гуманистическое... К этим аспектам учения о человеке прибавилось новое — достоевское.

Человеческая единица есть личность, а не коллектив, поэтому Достоевский, когда пишет об обществе, то переносит на него индивидуальную проблематику, соответственно умноженную. Законы нравственности так же обязывают общество, как и отдельного человека: это те же самые законы. Нравственная же проблематика витает между тезисом-рабством и антитезисом-свободой, между гетерономией и автономией. Это — когда мы рассматриваем человечество безотносительно к Богу. Но на самом деле ситуация много сложнее. Из соотношения тезиса с антитезисом возможны два синтеза: *анасинтезие* (вверх), как *теоантропономия*, и *катасинтезие* (вниз), как *антропотеономия*, или, по-русски, как богочеловеческая законность и как человекобожеская законность. В государственном плане и масштабе *теоантропономия* выражается в *теократии*, а *антропотеономия* соскальзывает в *сатанократию*. У Достоевского, само собой разумеется, нет этих несколько тяжеловесных терминов, но они, как нам кажется, с предельной сжатостью, *кодообразно* передают содержание того, что Достоевский художественно изображал на страницах своих сочинений.

Его формула, его сердце человека является полем битвы между божественным началом и началом сатанинским, динамична и тоже диалектична. Такова же и историософия у Достоевского: история есть функция двух начал, божественного и человеческого; она есть производная от двух величин — божественного замысла о человечестве и свободного принятия или отвержения его людьми. Ниже мы убедимся, что эта историософия окрашена в православные и русские тона, но, прежде того как вести речь о мессианизме Достоевского, отметим его заслугу в обличении *лжемессианизмов*.

По Достоевскому, возможны три основных типа лжемессианизма и все они либо отрицают Христа, либо борются с Ним. Рассмотрим их поочереди.

1. Первый из лжемессианизмов — это утопия земного рая ВО ИМЯ Христа, но ПОМИМО Христа, известная под названием Легенды о Великом Инквизиторе.

Мы не будем здесь обсуждать литературную сторону этой легенды, но сосредоточим свое внимание на ее "метафизике". Основная тема легенды — безличная, абстрактная любовь к человечеству. Развивая ее он дает ответ на два вопроса: а) почему Бог не создал людей счастливыми, т. е. детерминированными к добру; и б) если этот мир, вернее — человечество, есть некая неудача Творца, то что может человек сам, руководясь *идеей* добра, сделать, чтобы исправить его.

На первый вопрос ответ ясен: если бы человек был *создан благим*, то был бы лишен богоподобного свойства — свободы, творческой свободы, выражающейся прежде всего в созидании своей собственной личности. Такой человек не отличался бы от животного, от предусмотренного во всех деталях автомата, робота. Бог хочет, чтобы человек стал *сыном Божьим*, а не рабом. Но этот царственный дар опасен для рабского сознания. Ведь сказал Господь: "Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет" (Матф. 13.12). Это сказано в притче о талантах. Здесь и намек на "социалистическую справедливость" и "уравниловку", которая на словах ратует за равенство во всем, а на деле забирает у заботливых и умело трудящихся и отдает (когда хочет) нерадивым.

Опасной бывает свобода и по следующим причинам: "Добро не может быть принудительным, нельзя принудить к добру. Свобода добра предполагает свободу зла. Свобода же зла ведет к истреблению самой свободы, к перерождению в злую необходимость. Отрицание же свободы зла и утверждение исключительной свободы добра тоже ведет к отрицанию свободы, к перерождению свободы в добрую необходимость. Но добрая необходимость не есть уже добро, ибо добро предполагает свободу". Поэтому "христианская мысль... славлена двумя опасностями, двумя призраками — злой свободы и доброго принуждения".¹

1. Бердяев, "Миросозерцание Достоевского", ИМКА-Пресс, 1968, стр. 67-68.

Центральная фигура легенды — это Великий Инквизитор, духовное лицо, аскет, пожалевший человечество и пожелавший дать ему максимальное счастье, сняв с него ответственность того выбора, о котором говорится в притче о талантах. Он решил позаботиться о благе не избранных только, или, по словам Христа — “благию часть избравших”, — но о среднем и низшем человеке, обыкновенном “хлебопоядателе”, т. е. о тех, кто не чувствует тоски по богочеловечеству, не мечтает об обожении, но предпочитает сытое и спокойное довольство, наподобие скота у хорошего хозяина. Это — ставка на понижение человеческого достоинства, ибо цель ее — достижение психофизического благосостояния. Здесь нет места для Логоса или Пневмы...

Почему Достоевский в “Братьях Карамазовых” назвал героя этой легенды Инквизитором? Папская или Римская Инквизиция была следственным и карательным органом, установленным в XII/XIII в. для преследования уклоняющихся в ересь или занимающихся не дозволенными римской Церковью занятиями — колдовством, магией, светскими науками и т. п. Преследование заключалось в том, что увещаниями и пытками служители инквизиции принуждали обвиненных отказаться от своих мнений и, если обвиненные делали это неискренно, т. е. делали вид, что раскаиваются, но затем продолжали свое дело, то считалось, что ЛУЧШЕ ТЕЛО ЕРЕТИКА ПРЕДАТЬ ОГНЮ и тем спасти его душу, чем позволить ему продолжать грешить. Особенной жестокостью отличалась испанская инквизиция. Что было ересью, а что — нет, определял местный инквизитор, т. е. судья в духовном сане. Так погибли многие ученые (Джиордано Бруно, напр.) и даже святые (Жанна д’Арк), а прославленный Галилей был принужден отказаться от мнения, что Земля вращается вокруг Солнца. В Англии, бывало, сжигали тех, кто читал “Отче наш” по-английски, а не по-латыни. Пыткам и кострам было предано множество людей. Инквизиция покоилась на двух принципах: на абсолютном авторитете католической Церкви и на мнении, что христианство можно осуществлять в принудительном порядке. К этому примешивалось свойственное католичеству стремление к прозелитизму, который принимал иногда совсем уродливые формы. Так, напр., считалось, что если упорствующий иноверец даже во сне будет окроплен освященной

водой и будет произнесена над ним соответствующая крещальная формула, то таинство будет действительным в силу принципа "экс опэра опэрато".

Ясно, что все эти мнения и практики сильно претили "апостолу свободы" — Достоевскому. В личности Великого Инквизитора он олицетворил худшую сторону католической Церкви: авторитет, принуждение, всяческий "захват душ". Новым является в этой легенде то, что Великий Инквизитор осуществляет свои цели не физическим принуждением, не пытками и казнями, а теми средствами, от которых отказался Иисус Христос, будучи искушаемым от дьявола в пустыне: насыщением людей, подавлением авторитетом, прельщением тайной. Припомним его слова, обращенные к молчащему Христу:

"Вместо того, чтобы овладеть свободой людей, Ты увеличил ее им еще больше. Или Ты забыл, что спокойствие, даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. И вот, вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда, Ты взял всё, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людей, и потому поступил как бы не любя их вовсе" (...) "Ты не сошел со креста... потому что не хотел поработить человека чудом, и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника перед могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут Ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками". (...) "Столь уважая его (человека), Ты поступил как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него потребовал... Уважая его мнение, мнение его и потребовал бы, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подл" (...) "Ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной великолепной жертвы их во имя Твое. Но вспомни, что их было всего несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие. Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров" (...) "Ты

обещал им хлеб небесный, но может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени с земным? И если за Тобою, во имя хлеба небесного, пойдут тысячи, десятки тысяч, то что станет с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? (...) Во имя этого самого хлеба земного и восстанет на Тебя дух земли и сразится с Тобой и победит Тебя и все пойдут за ним... На месте храма Твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня”.

Что же надеется дать людям сам Великий Инквизитор?

Если люди откажутся от свободы и передадут ответственность за все в руки *власти*, то — говорит Великий Инквизитор — “мы дадим им тихое смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их, наконец, не гордиться, ибо Ты вознес их и тем научил гордиться... Мы заставим их работать, но в свободные от работы часы мы устроим их жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, ибо они слабы и бессильны...”

Так, сохраняя христианское “декорум”, взяв абсолютную власть в свои руки, церковь сможет создать то, от чего отказался Христос: дать людям *авторитет*, перед которым они смогут преклониться, кому они смогут “вручить совесть” и таким “образом соединиться, наконец, всем в бесспорный, общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей”.

Так, в легенде о Великом Инквизиторе Достоевский развенчал *миф земной теократии*.

II. Второй лжемессианский вариант, разоблаченный Достоевским, это *гуманистический тип утопии*, основанный на человеческой любви друг к другу, любви, не пронизанной божественной благодатью. Это — мирозерцание гуманистов типа Руссо, утверждающих вопреки библейскому учению (и вопреки древнему, зоологическому закону), что человек человеку волк, что человеческая природа сама по себе блага и что предоставленная самой себе, она ничего иного, кроме добра, не принесет.

Описание такой утопии Достоевский вкладывает в уста Версилова, в "Подростке".

"Я представляю себе, мой милый, что бой уже кончился и борьба улеглась. После проклятий, комьев грязи и свистков, настало затишье и люди остались *одни*, как желали: великая прежняя идея оставила их; великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их, отходит, как то величавое, зовущее солнце в картине Клода Лоррена, но это был уже как бы последний день человечества. И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, и разом почувствовали великое сиротство. Милый мой мальчик, я никогда не мог вообразить себе людей неблагодарными и оглупевшими. Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют всё друг для друга. Исчезла бы великая идея бессмертия и приходилось бы заменить ее; и весь великий избыток прежней любви к тому, который был Бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы и землю и жизнь неудержимо и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою переходимость и конечность, и уже особенной, уже не прежней любовью. Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу иными глазами, взглядом любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это — все, что у них остается. Они работали бы друг для друга, и каждый отдавал бы всем все свое состояние и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле ему как отец и мать. "Пусть завтра последний день мой, — думал бы каждый, смотря на заходящее солнце; но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их". И эта мысль, что они останутся, все также любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече. О, они торопились бы любить, чтобы затушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга: каждый трепетал бы за жизнь и счастье другого. Они стали бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как

дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть”.

Как кто, а Достоевский, ясно, не мог верить в такую утопию и написал ее, как пародию, как предельно наивную мечту, в своем прекраснодушии и недомыслии — уже смешную. Это — гуманистическая рецепция библейской мессианской мечты: ”Тогда волк будет жить вместе с ягненокм, а барс будет лежать вместе с козленком; и теленок и молодой лев и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норой аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей горе Моей, ибо земля будет наполнена видением Господа, как воды наполняют море” (Ис. XI,6-9).

Но это наивное поэтическое видение относится к будущему миру, к новому зону, к инобытию нашего земного шара, а может быть, и всей вселенной, ибо — пока земля будет пребывать в своем естественном состоянии, лев никогда не будет есть солому... это для него неестественно. Также и человек в своем *естественном* состоянии, лишенный ”просвещающего его света”, есть лишь высшее животное, которому свойственно не любить друг друга, а воевать и уничтожать один другого. Заповедь *новую* ”да любите друг друга” дал лишь Христос... И если предоставить человеку свободу устраивать мир помимо Бога, то это не будет версировская утопия, а то, о чем пишет современный поэт:

Конец наступит совсем не тогда,
 Когда неожиданно хлынет
 С небес потоком библейским вода
 И всё живущее сгинет.
 Конец наступает уже теперь,
 Бунты грохочут, как бури,
 И человек стал хуже, чем зверь,
 Войну объявив культуре.
 Взрываются бомбы повсюду подряд,
 В библиотеках, музеях,
 И книги горят, картины горят...
 Спасайте же всё скорее!

Ведь гибнут наука и красота
И то, что неповторимо:
Искусство! — Разбита уже Пиета
Каким-то из одержимых...

(Н. Белавина).

Европейская культура есть христианская культура, и даже в настоящее время, когда она перестает быть христианской, она еще долгое время будет отсвечивать все более угасающим светом Христовым.

III. Если утописты типа Великого Инквизитора желают делать добро по-своему, только прикрываясь именем Христа, а утописты типа Версилова мечтают о добре без Христа, то третий тип утопистов, которых Достоевский изобразил в лице "идеолога" Шигалева и его "аппаратчика" Верховенского, выступает против Христа и потому все то, что бы они ни делал, с добром не имеет ничего общего. Да они и не интересуются добром, им "наплевать" на объективно: благо — выдумку слюняев, по их мнению. Для них благо то, чего они желают, независимо от каких-либо моральных кодексов и независимо от средств достижения. Но они не ограничиваются чистым эгоизмом, как это бывает с животными; они хуже животных, ибо практикуют жестокость ради жестокости, зло ради самого зла. Таковыми были в превосходнейшей степени Ленин, Сталин и все те, в ком и через кого в России исполнилось страшное пророчество Достоевского.

Утопия Великого Инквизитора — это метафизика социализма; утопия Версилова — это гуманистическая "мифика" социализма, а то, о чем говорит Шигалев-Верховенский — это методика социализма, проведенного, последовательно и логически, до конца. Последняя была тоже еще лишь утопией во времена Достоевского, но с двадцатых годов нашего века она стала действительностью.

Горько и страшно сказать: первая осуществленная утопия оказалась самой худшей из всех доселе мыслимых и представляемых!

"Революция совершилась по Достоевскому, — пишет Н. Бердяев. — "Он — пророк русской революции в самом бесспорном

смысле этого слова". Он раскрыл идейные основы революции, ее внутреннюю диалектику и дал ей образ. Он из глубины духа, из внутренних процессов постиг характер русской революции (да разве только русской?), а не из внешних событий окружающей его эмпирической действительности.

В творчестве Достоевского мы наблюдаем не только различные этапы человеческой "дизволюции", но и промежуточные ипостаси этого процесса. Так, между Великим Инквизитором и Версиловым, между Версиловым и Шигалевым, имеется ряд персонажей, на примере жизни которых видно, каким образом совершается последовательное скольжение вниз. Из этой портретной галереи мы выберем Ивана Карамазова и Раскольникова, ибо высказываемые ими идеи прямо относятся к человеку, как субъект-объекту историософии.

Есть темы, которые как-будто сопровождают историю, получают различные толкования и навсегда остаются нерешенными. К ним принадлежит тема "теодицеи", т. е. оправдания Бога за существование в мире зла. Человеку свойственно рассудочное, математическое, можно даже сказать — коммерческое, понимание справедливости, несмотря на то, что такой подход порицается Священным Писанием. Вспомним хотя бы притчу о работниках "одиннадцатого часа" (Матф. 20: 1-16). Тему эту развивает и ап. Павел в послании к римлянам: "А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: "зачем ты меня так сделал?" Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?" (9:20-21). В этой жизни человек не разрешит всех сомнений, и не даст ответа на все вопросы. Остается последовать совету Достоевского: "Смирись, гордый человек!" А в результате обретешь "умудренное неведение", о котором так хорошо писал С. Л. Франк в "Непостижимом". И он там же противопоставлял это умудренное неведение "кузьмапругковскому" всезнайству. Еще и еще повторим слова Соломона: "Начало премудрости — страх Господень!" (Притч. 10:10).

Но гуманист не хочет знать этого страха Господня, он хочет

быть справедливее самого Бога. (Не искушал ли прародителей змей предложением — "будьте как боги?".) И вот Белинский первый, если не ошибаюсь, отказывается участвовать в будущем мире гармонии, если гармония эта была бы куплена страданиями других. Ему вторит Иван Карамазов:

"В окончательном результате я мира этого Божьего — не принимаю, и хоть и знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе. Я не Бога не принимаю, я мира Им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять. Оговорюсь: я убежден, как младенец, что страдания заживут, изгладятся, что весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет, как жалкий мираж, как гнусное измышление малосильного и маленького, как атом, человеческого "Эвклидова ума", что, наконец, в мировом финале, в момент вечной гармонии, случится и явится что-то драгоценное, что хватит его на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими крови, хватит, чтобы не только можно было простить, но и оправдать все, что случилось с людьми, — пусть, пусть все это будет и явится, но я-то всего этого не принимаю и не хочу принять (...) Не для того же я страдал, чтобы собою, злодействами и страданиями моими унавожить какую-то будущую гармонию (...) Если все должны страдать, чтобы страданиями купить вечную гармонию, то при чем тут дети, скажи мне, пожалуйста? Совсем непонятно, для чего должны страдать и они и зачем им покупать страданиями гармонию? Для чего они-то тоже попали в материал и унавозили для кого-то будущую гармонию? (...) От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре неискупленными слезками своими к "Боженьке".

Слова эти, прозвучавшие более ста лет тому назад, теперь уже несколько утратили свой блеск новизны и оригинальности, хоть проблема невинных страданий все растет, все ширится... И нет ни окончательного ответа, ни удовлетворительного объяснения ее. Разве что сравнительно новое учение о богочеловечестве, как о кенотическом явлении, может пролить некий свет на это...

Все-таки можно сказать, что наивно призывать Бога к

ответу, исходя из нашей личной расценки того, что чего *стоит*, а чего не *стоит*. Мы имеем два примера-ответа на эту проблему: явление ветхозаветного Иова Многострадального и новозаветного Христа. А Иван Карамазов не углубился достаточно в "философию страдания", хотя это сделал сам Достоевский, для которого позиция Ивана была лишь одной из диалектических ступеней.

Все, сказанное Иваном Карамазовым, является интеллектуализированной сентиментальностью. Не было бы страдания, не было бы и существования. У Ивана Карамазова утрачено чувство пропорций. Абсолютизировать "слезинку" и из-за нее не видеть реальности и неизбежности страданий — это плод больного ума. Да и искренен ли Карамазов, или только резонирует? Он говорит, что Бога он не отвергает, а только мир, Им созданный. Врет он самому себе; это сухая риторика. Для того, чтобы так резонировать, надо уже, до вывода, отвергнуть Бога в интуитивном или интеллектуальном порядке. Разговоры о "слезинке", по ассоциации, вызывают в памяти таких людей, как Робеспьер или Дзержинский... Да ведь и сам Карамазов всеми этими рассуждениями подводит оправдательную базу своему лозунгу "все позволено" и становится отцеубийцей руками Смердякова.

По той же линии отвержения Бога идет и Кириллов в "Бесах", мнящий, что станет богоподобным или даже богом, если найдет в себе волю распорядиться своей жизнью и смертью. И здесь налицо самообман: жизнь ведь ему дана была, а не он ее сотворил, да и смерть существует независимо от его воли — он может только ускорить момент ее пришествия. Богоподобие — невеликое...

Достоевский идет сам и ведет своего читателя, последовательно, все дальше и дальше: Кириллов убивает себя сам; Иван Карамазов убивает своего отца "посредственно", т. е. не собственноручно; а Раскольников в "Преступлении и наказании" утверждает свое "сверхчеловечество фактическим убийством "своего ближнего", пусть никчемного, но все-таки ничем не провинившегося перед Раскольниковым.

"Тема Раскольникова означает уже кризис гуманизма, конец гуманистической морали, гибель человека от самоутверждения

человека”, пишет Бердяев. Человек приносится в жертву “идеи” человека. “Во имя ‘дальнего’, нечеловеческого ‘дальнего’, можно как угодно поступить с ‘ближним’”.

“Достоевский, — продолжает Бердяев, — исследует роковые последствия одержимости человека идеей человекобожества в разных ее формах, индивидуалистических и коллективистических. Тут царство человечности кончается, тут не будет уже пощады человеку (...) Во имя величия сверхчеловека, во имя счастья грядущего, далекого человечества, во имя всемирной революции, во имя безграничной свободы одного или безграничного равенства всех можно замучить или умертвить всякого человека, какое угодно количество людей, превратить всякого человека в простое средство для великой “идеи”, великой цели (...) Человеческому своеволию предоставлено право расценивать человеческие жизни и распоряжаться ими. Не Богу принадлежит человеческая жизнь и не Богу принадлежит последний суд над людьми. Это берет на себя человек, возомнивший себя обладателем сверхчеловеческой “идеи”. И суд его беспощаден, безбожен, бесчеловечен”.

Раскольников испытывает эту идеологию в малом масштабе, как клинический опыт, на одном человеке. В нашем веке она была применена в “практическом” размере, по крайней мере, к 50-ти миллионам людей в России.

Типы Шигалева и Верховенского были “засечены” духовным сонаром Достоевского, который силой своего духа проник из XIX века в век XX. Ведь таких людей в XIX веке еще не было; это было предвосхищением солженицынских “голубых кантов” нашего века.

Говорит Шигалев в “Бесах”: “Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавляю, однако же, что, кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого”. Эту партийную установку развивает дальше аппаратчик Верховенский: “Горы сравнять — хорошая мысль. Не надо образования, довольно науки. И без науки хватит материала на тысячу лет, но надо устроить послушание... Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание, мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы

пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Всё к одному знаменателю, полное равенство... Необходимо лишь необходимое, вот девиз земного шара отселе. Но нужна и судорога; об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу (китайский Шигалев — Мао Дзедун был сторонником революционных судорог каждые семь лет, прим. И. Г.) и все начинают вдруг поедать друг друга, до известной черты, единственно, чтобы не было скучно (...) Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны... Первым делом понижается уровень образования, наук, талантов (...) не надо высших способностей". "В сущности наше учение есть отрицание чести, и откровенным правом на бесчестие всего легче русского человека за собой увлечь можно". А говоря о Федьке Каторжном и ему подобных, в наше время называемых "социально близким элементом", Верховенский продолжает: "Ну, это, пожалуй, хороший народ, иной раз выгоден очень (...). Самая главная сила — цемент, все связывающий, это *стыд собственного мнения. Вот это так сила!*" (выделено нами, И. Г.)

Стыд собственного мнения и *страх*, добавим! Внутренняя постоянная цензура! Не будем продолжать цитат из "Бесов" и комментировать: обширнейший и потрясающий комментарий к ним — это "Архипелаг ГУЛаг" А. И. Солженицына. Так был осужден Достоевским социалистический третий лжемессианизм.

*

Известен факт, что в литературе интересными персонажами бывают люди с пороками и страстями, но не люди добродетельные. Говорят, что сожженная Гоголем вторая часть "Мертвых душ" оказалась неудачной попыткой написать бытовую повесть о людях положительных. С хорошими людьми — хорошо жить, но описывать их — скучновато. На это существуют патерики и добротолубия. Принцип этот, "мутатис-мутандис", можно применить и к историософским концепциям Достоевского. Будучи гениальным изобразителем и изболителем пороков и трагедий человеческого духа, Достоевский не только не создал

ничего монументального в области *положительной* историософии, но даже оказался, отчасти, ложным пророком, поскольку его надежды не оправдались и жизнь разоблачила "народнический мессианиззм", одним из создателей которого был он.

Мессианиззм Достоевского протекает в общем славянофильском русле, с некоторыми особенностями, правда.

Когда Достоевский провозглашал, что *красота спасет мир*, то это не было выражением гуманистического эстетизма с его стороны, а скорее — православный онтологизм, различающий красоту формальную и красоту бытийную, ту, которую позже о. Сергей Булгаков назовет "софийностью". Эстетизм Достоевского граничит уже с пневматологией: "Дух Святой, — говорил он, — есть непосредственное понимание красоты, пророческое сознание гармонии и, стало быть, неуклонное стремление к ней". Красота жизни данного народа, т. е. культура, есть симптом его цельности и творческой способности, его интуитивного восприятия божественной основы мира. "Народы движутся силой, происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Это... есть начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как они же отождествляют; искание Бога, как называю я его проше", — пишет Достоевский в "Бесах". Религиозное принятие культуры есть христианское преобразование ее из слепой сочетанности событий в целенаправленную последовательность, причем цель ее — определена самим Творцом. Со временем Достоевский преодолел этот соблазн "христианского натурализма", так как увидел, что эстетика и красота могут быть двусмысленны.

Несколько мыслей о красоте...

Красота есть функция являющего ее и воспринимающего ее. Поэтому в тварных условиях она может быть положительной, нейтральной и отрицательной. Красота — не детерминирует. По церковному преданию, высший из ангелов, Денница (сын зари, светоносный-люциферос) был прекраснейшим из тварных духов и красота его не спасла. Наши прародители были совращены, ибо прельстились видимым добром: "И увидела жена, что древо (познания добра и зла) *хорошо* для пищи, и что оно *приятно* для глаз и вожеленно... (Быт. 3:6). А также: "...сам сатана принимает вид Ангела света" (II Кор. XI:14). И многие грехи челове-

ческие совершаются *по прельщению*, т. е. вследствие вожделения к прелестному, и само слово "прелесть" имеет два значения: красоты и пленяющей лжекрасоты, обманной красоты.

Тварная красота воспринимается субъективно. (Ведь существует поговорка "дэ густибус нон диспутандум эст", что переводится как — "о вкусах не спорят". А так как в действительности о вкусах сплошь да рядом спорят, то поговорку эту надо перефразировать: "о вкусах *не должно* спорить".)

Возьмем пример из той области, в которой русское чувство красоты выразилось особенно ярко: благолепие и пышность русских православных архиерейских служб... Как ни поражают они своей торжественностью, заимствованной у римско-византийского императорского ритуала языческих времен, они не могут идти в сравнение с прозрачной и чистой красотой, простой красотой Тайной Вечери в Сионской горнице. В них нет *мессианского духа*, хотя есть много надуманного символизма. Гипертрофия формальной красоты в области духовной бывает весьма опасной: только чуткость и чувство меры может предохранить от этого.

О субъективности восприятия красоты свидетельствуют признания о.Сергия Булгакова — как он по-разному воспринял одну и ту же картину Рафаэля — "Сикстинскую Мадонну": то он "молился и плакал" перед ней во время первой "встречи", то узрел в ней лишь дивную человеческую красоту, с "ее религиозной двусмысленностью" и безблагодатностью — несколько лет спустя... "Молиться пред этим изображением? — да это хула и невозможность!"²

2. Прот. С. Булгаков, "Автобиографические заметки", ИМКА-Пресс, 1946, гл. "Две встречи", стр. 103-106. Говоря об искусстве ренессанса, автор замечает: "Его красота не есть святость, но то двусмысленное, демоническое начало, которое прикрывает пустоту, и улыбка его играет на устах Леонардовских героев. (...) К слову сказать, *такую* красоту только и знал Достоевский, свидетельствовавший о наличии в ней и содомских и миротворческих начал, видевший в ней арену борьбы Бога с дьяволом. Про эту красоту Ренессанса нельзя сказать, чтобы она могла "спасти мир", ибо она сама нуждается в спасении."

Со временем сам Достоевский понял это: для Ставрогина идеал Мадонны и идеал Блудницы — одинаково притягательны.

Красота есть функция Истины и Блага. В Боге — красота совершенна, ибо в Нем Истина и Благо — абсолютны и тождественны. В тварном мире эта триада блага, истины и красоты проявляется условно, относительно, фрагментарно. Если в этой триаде истину заменить ложью, то оба остальных элемента искажутся: вместо блага выступит "кажущееся добро", а вместо красоты — "прелесть". Это — при частичной лжи, при частичной ущербности истины. А если из триады устранить всю истину, то кажущееся добро обернется *злом*, а прелесть — *безобразием*.

Устремление к одному только из элементов триады — к истине (философия), к добру (религия) или к красоте (искусство), само по себе — благотворно, но если оно совершается *за счет двух других*, ценой пренебрежения их, то оно искажает правильную духовную перспективу и приводит к рационализму, изуверию и эстетизму.

Мнение Достоевского о целенаправленности исторического процесса двойится. В основном — он верит в то, что история, как взаимодействие божественного и человеческого начала, имеет свою цель. Но иногда у него прорывается сомнение:

"И кто знает, может быть, что и вся-то цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой непрерывности процесса достижения, иначе сказать в самой жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, должна быть не иной что, как дважды два четыре, т. е. формула, а ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, а начало смерти" ("Записки из подполья").

Интересно, что подобную мысль выражают и историософы нашего "сциентифического" века: культуры возникают, растут, цветут и усыхают (или умирают), как цветы в поле, т. е. неизвестно *почему*. Отсюда и формула: "Каждая эпоха имеет свою совершенную ценность перед лицом Господа".

Историософское направление Достоевского можно определить его же словами: "...у нас русских, две родины — Европа и наша Русь". Его он очень четко выразил в своей прославленной

речи на Пушкинских торжествах и в "Дневнике писателя": "Всякий великий народ должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном заключается спасение мира, что он живет на то, чтобы стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их в согласном хоре к окончательной цели, всем им предназначенной".

В этом мессианическом "кредо", выраженном именно в "Дневнике писателя", имеются налицо основные мессианические элементы избранности и призвания. В "пушкинской" речи Достоевский выступает в роли глашатая русской идеи и русского национального сознания, называет русский народ "народом-богоносцем" и подчеркивает его универсальную роль и значение.

В мессианизме Достоевского проявилась присущая ему вообще диалектичность: задача России — спасти Европу, русскому народу присуще величайшее *смирение* и вместе с тем *гордость* по поводу этого же смирения. Бердяев пишет по этому поводу: "Русское национальное самочувствие и самосознание всегда ведь было таким, в нем или иступленно отрицалось все русское и совершалось отречение от родины и родной почвы, или иступленно утверждалось все русское в исключительности и тогда уже все другие народы мира оказывались принадлежащими к иной расе. В нашем национальном сознании никогда не было меры, никогда не было спокойной уверенности и твердости, без надрыва и истерии. И в величайшем нашем гении — Достоевском — нет этой твердости, нет вполне созревшего духовно-мужественного национального сознания, чувствуется болезнь нашего национального духа".

Спорить не приходится, у Достоевского действительно проступает православно-национальная экзальтация, когда в "Дневнике писателя" он мечтает об осуществлении самых дерзновенных идей, выраженных в свое время в идеологии Св. Руси. Правда, что любя Европу, Достоевский не любит европейцев, но, не любя их, он не враждебен им, наоборот, во многих местах утверждает, что им надо помочь. Приведем несколько цитат в доказательство того, что он в противовес славянофилам защищает некоторые позиции западников. Говорит он устами Версилова.

”Они (европейцы) — несвободны, а мы — свободны. Только я один в Европе с моей русской тоской был свободен... Всякий француз может служить не только своей Франции, но даже и человечеству, единственно под тем условием, что останется наиболее французом, равно — англичанин и немец. Один лишь русский, даже в наше время, т. е. гораздо раньше, чем будет подведен общий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех, и у нас на этот счет — как нигде. Я во Франции — француз, с немцем — немец, с древним греком — грек и, тем самым, наиболее русский, тем самым, я — настоящий русский и наиболее служу России, ибо выставляю ее главную мысль”. ”Русскому Европа также драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа также была отечеством нашим, как Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их науки и искусства, вся история их — мне милее, чем Россия. О, русским дороги эти старые, чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим... Одна Россия живет не для себя, а для мысли и знаменательный факт, что вот уже почти столетие как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы”.

В ”Дневнике писателя” Достоевский опровергает мнение, что Россия враждебна Европе. ”Европа — но ведь это страшная и святая вещь, Европа. О, знаете ли вы, господа, как дорога нам, мечтателям-славянофилам, по-вашему ненавистникам Европы, — эта самая Европа, эта страна ”святых чудес”. Знаете ли вы, как дороги нам эти ”чудеса” и как любим и чтим, более чем братски любим и чтим мы великие племена, населяющие ее, и всё великое и прекрасное, совершенное ими. Знаете ли вы, до каких слез и сжатия сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и родной нам страны, как пугают нас эти мрачные тучи, все более и более заволакивающие ее небосклон? Никогда вы, господа, наши европейцы и западники, столь не любили Европу, сколько мы, мечтатели-славянофилы, по-вашему исконные враги ее”.

“Назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть и значит только стать братом всех людей, *всечеловеком* (...). Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и самая Россия, как и удел всей родной земли, потому что наш удел и есть всемирный”.

“Русская душа, гений народа русского, может быть, наиболее способный из всех народов вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви”.

*

Этой мессианической универсальностью Достоевский несколько отличается от большинства славянофилов, не проповедовавших вселенской миссии. Достоевский сознавал, что его мысли не репрезентативны для всего народа, но ведь народ — сам и не высказывается, а лишь — через своих лучших сынов.

“Я не могу не уважать своего дворянства, — говорит Версиров. — У нас создан веками какой-то еще нигде не бывший высший культурный тип, которого нет в целом мире — тип всемирного боления за всех. Это — тип русский, но так как он взят в высшем культурном слое народа русского, то, стало быть, я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России. Нас, может быть, всего только тысяча человек — может быть более, может менее, но вся Россия жила пока лишь для того, чтобы произвести эту тысячу”.

О таких людях пишет Бердяев, правда, в иной связи, в сопоставлении “двух духов, двух типов культуры и внутри Европы и внутри России, на Западе, как и на Востоке. *Избранным русским людям*, величайшим и оригинальнейшим нашим мыслителям и писателям было дано в этой теме что-то острее почувствовать, чем людям Запада, более связанным характером своей культурной истории”.

Высказываясь против понимания Церкви, как авторитета и власти, Достоевский отрицательно относился к папизму, вернее — к “папоцезаризму”. Свое осуждение так понятой теократии он вынес в легенде о Великом Инквизиторе. Каково же было его мнение о соотношении Церкви и Государства? Ему равным образом претил и цезарепапизм. Однако соотношение

божественного начала с человеческим настойчиво требует решения этой проблемы в категориях богочеловечества, а это — область Церкви Христовой.

Достоевский создает свою собственную концепцию теократии и мысли свои вкладывает в уста отца Паисия: "Не церковь превращается в государство. То Рим и его мечта. То третье дьяволово искушение. А напротив, государство обращается в церковь, доходит до церкви и становится церковью на земле. Что совершенно уже противоположно и ультрамонтанству, и Риму и есть лишь великое предназначение православия на земле. От востока земля сия воссияет (...) Сие буди, буди, хотя бы в конце веков".

Это — розовая мечта. История сделала все, чтобы разрушить эту иллюзию. Государство есть власть, почивающая на принуждении. Царство кесаря не может преобразиться в царство Божие, царство Христово, которое "не от мира сего". Ни церковь, ни государство, не могут перенять на себя одна функции другого; ни государство не может растопиться в церкви, ни церковь в государстве. Единственно, что может быть осуществляемо, это "симфония" между государством и церковью, если и не идеальная, то стремящаяся к идеальному равновесию этих двух различных и, можно сказать, противоположных начал. Сие буди, буди!

Из триады: церкви, государства и народа, в нашей истории ни первая, ни второе не оправдали мессианических чаяний, ибо, как это доказал Достоевский, ни папизм, доведенный до предела, ни допетровская идеология "Белого Клобука", ни институт власти "белого царя", ни атеистическое государство, в котором власти "все позволено" — не способны воплотить идеалы мессианизма. Об одном он говорил прямо, о другом, мы можем сделать за него выводы, косвенно.

Игумен Г. Эйкалович

ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ ФИЛОСОФИИ И ФИЗИКИ

Историки советской философии стараются исказить или, по крайней мере, заглушить то, что делалось в период сталинской диктатуры. Правдивое освещение истории советской философии дискредитирует официальное мировоззрение — *эту святая святых*. Ее престиж и так уже к концу 40-х гг. резко упал, особенно в глазах ученых-естественников. Слово "философ" ассоциировалось у них с чиновником, ничего не смыслящим в науке, но который во имя "чистоты" догмы вмешивается в ее дела, активно борясь с ересью. Сталин и его философские помощники превратили философию в дубинку, которую на своей собственной спине чувствовал не один ученый. Так, объявление генетики лженаукой шло под прикрытием философских терминов и фраз. Одна из теорий талантливого ученого и философа А. А. Богданова, признанная теперь предтечей кибернетики, была заклеена как антимарксистская и загублена тоже из чисто "философских соображений". В любой истории советской философии обойти молчанием такой неслыханный обскурантизм невозможно, а дать этому рациональное (с точки зрения официальных советских философов) объяснение выше человеческих сил. Вот и приходится прибегать к софизмам, подтасовкам и прямым искажениям, когда пишется история советской философии и науки.

В 1930 г. начался период "сталинизации" философии. В связи с общей тенденцией замалчивать все, что связано с культом

Сталина, эта проблема, судя по всему, вошла в реестр запретных тем. Кто думает, что Сталин держался только на страхе, тот знает не всю истину: он обладал дьявольской способностью обманывать, замечать следы, говорить одно, а делать другое. И так как философы занимали ключевые позиции в этой пропаганде лжи, центральное место в мозговом тресте по выработке "аргументов", то нельзя допустить, чтобы попытка обелить этих сталинских оруженосцев увенчалась успехом. В этой статье я хочу показать это на примере физики.

Что обскурантизм и сталинская диктатура коснулись физики и физиков — не секрет. В мировой печати это не раз отмечалось. Не один ученый-исследователь или журналист обращали внимание на то, что советские марксисты считали теорию относительности Эйнштейна и квантовую механику "идеалистическими", "антиматериалистическими", враждебными марксизму. Но сейчас — не 30-е годы, когда можно было теорию относительности Эйнштейна называть "еврейской наукой", как это делали фашисты или "идеалистической, махистской", как это делали коммунисты. С некоторых пор это стало "неудобным" для тех, кто старается казаться более уважаемыми, чем варвары 30-х годов. Вот и делаются попытки переосмыслить историю — "сохранить лицо". За это взялись историки советской философии. Так появился целый ряд работ, пафос которых — в утверждении, что к теории относительности и вообще к современной физике в Советском Союзе всегда было "лояльное" отношение. Особенно старается журнал "Философские науки", главным редактором которого является многолетний ответственный работник ЦК КПСС, ректор Академии общественных наук при ЦК — М. Т. Иовчук. Основной аргумент авторов этого журнала сводится к тому, что мнение об отрицании теории Эйнштейна односторонне: оно учитывает лишь одну часть оценок теории относительности, разделяемую далеко не всеми советскими физиками и философами. Для большей убедительности перечисляется ряд известных имен философов и физиков, которые поддерживали теорию Эйнштейна: С. Вавилов, А. Фридман, А. Иоффе, В. Фок, С. Семковский, И. Тамм, Э. Кольман, Б. Гессен и другие (см. Философские науки, 1967, №4, стр. 125).

Подобную самозащиту советским историкам науки приходится осуществлять весьма часто: "грехов", как известно, немало. Порою они берутся за дела поистине непосильные, когда, например, стараются обелить власть имущих в связи с разгромом генетики. Но что, казалось бы, можно предпринять в этом отношении, если всему миру известна трагедия этой науки и ученых, ее создавших? Однако появляются книги, подобные мемуарам Н. Дубинина "Вечное движение" — бессильные попытки "переосмыслить" историю недавних лет. Тем более охотно берутся за "переосмысление" оценок, связанных с теорией относительности: подобного разгрома не было, физики работали, им дали возможность увеличить "оборонную мощь" государства, многие из них действительно высоко ценили Эйнштейна. Официальные советские историки пытаются использовать это, демагогически заявляя: о каком отрицательном отношении к Эйнштейну может идти речь, если Э. Кольман, С. Вавилов, И. С. Тамм, С. Семковский, А. Иоффе, В. Фок так его ценили? Так пытаются увести нашу память от того, что творилось в одну из самых мрачных эпох человеческой истории.

Перечисленные имена свидетельствуют, что теорию относительности отстаивали либо ученые-физики, влиятельные в своей области, но не определяющие официальную точку зрения, либо философы и политики, отстраненные от активной научной и политической деятельности. Не они, следовательно, определяли официальное отношение к теории относительности в советской философии, не их имели в виду, напр., немецкий исследователь Г. Фальк, венский физик Ф. Франк или американский философ Д. Журавский, когда указывали, что, по существу, советские марксисты исходят из того, что теории Эйнштейна "внутренне присущ антиматериализм", за что советские авторы и "обиделись". Официальную советскую точку зрения в течение десятилетий определяли другие люди — именно то новое "философское руководство", которое пришло к власти после 1930 г. Поэтому вопрос об отношении к теории относительности необходимо исследовать так, чтобы не валить все в одну кучу, прикрывая физиком Таммом или деборинцем Семковским — Митина и Максимова, активно и "преданно" выполнявших волю Сталина. Для этого есть один путь: рассмотреть проблему в

условиях 20-х годов и в новых условиях, возникших после 1930 г.

В 20-х гг. шла свободная дискуссия вокруг теории относительности Эйнштейна, которая, в целом получила поддержку истинных ученых. Но когда в конце 1930 г. к власти пришло т. н. "новое философское руководство" во главе с небезызвестным М. Б. Митиным, бывшим много лет приближенным Сталина, положение резко изменилось. Его помощником по "философским вопросам естествознания" был А. А. Максимов. Его роль в создании нетерпимой обстановки для ученых была столь омерзительна, а ненависть ученых к нему выразилась после смерти Сталина столь бурно, что об этом необходимо сказать несколько слов. Иначе нельзя понять, кто в течение десятилетий управлял делами научными, под чьим "покровительством" были ученые.

А. А. Максимов окончил в 1916 г. физико-математический факультет Казанского университета. Однако по специальности почти не работал. Вступив в 1918 г. в большевицкую партию, он посчитал это достаточным, чтобы стать специалистом в области философии, и в 1922 г. начал ее преподавать в Московском университете, а с 1929 г. — в институте Красной профессуры. Таким образом, подготовка его как физика оставляла желать много лучшего, поскольку он эту область давно забросил, а философию никогда не изучал. Он — один из тех, кто считал, что глубокие знания не нужны там, где достаточно громить "буржуазных" специалистов и "буржуазную науку". Вот интересный штрих. В 1923 г. Максимов организовал кружок по изучению диалектического материализма при партийной ячейке физико-математического факультета 1-го Московского государственного университета. Участник этого кружка А. Гольдштейн писал в 1923 г. в философском журнале: "Мы оттачиваем свои материалистические и диалектические зубы не только на позабытом Дюринге, но и на свеженьких модных профессорах, как Берг, Вернадский, Новиков, Эйнштейн и др." ("Под знаменем марксизма", 1923, №4-5, стр. 247). Оттачивал свои зубы и руководитель — Максимов. И когда разгорелась дискуссия вокруг теории относительности, он, конечно, занял антиэйнштейновские позиции. Но пока Максимов выступал как один из участников дискуссии, его экстремизм мало кого трогал, но когда после победы сталинцев в области идеологии он стал незаме-

ни ым авторитетом, к суждениям которого Митин относился весьма серьезно, — он получил огромную власть, которую использовал в качестве душиителя науки. В итоге все крупные советские ученые, особенно физики, именно Максимова считали виновником того обскурантизма, который процветал в научной сфере. Пока был жив Сталин, выступление против Максимова легко было расценивать как атаку против "генеральной линии". Но сразу же после смерти Сталина ученые дали волю своим эмоциям, и ненависть, накопившаяся против обскурантизма, вообще была выплеснута на одного из главных обскурантов Максимова. Тамм, Фок и многие другие крупные ученые-физики обстоятельно, с фактами в руках, показали, кто играл судьбой науки и судьбой ученых. Власти были тоже довольны: лучше, когда ненависть концентрируется вокруг лиц, а не принципов. Максимова отдали в качестве козла отпущения, и в результате многочисленных протестов его отправили на пенсию — случай уникальный по отношению к члену-корреспонденту АН, кем Максимов был начиная с 1943 г. Но это, повторяем, было после смерти Сталина, в середине 50-х годов. Раньше же его мнение рассматривалось как официальная "линия ЦК". Вот причина, почему советские историки философии и науки стараются сейчас замолчать эту дьявольскую разрушительную работу советских философов типа Митина и Максимова: говорить об этом полным голосом — значит, сказать правду об одном из страшных периодов в истории, полном трагедий — людей и идей.

К концу 1930 г., когда победило новое философское руководство, Митин и Максимов были вполне готовы к выполнению роли палачей науки, как их называли видные советские ученые. Можно себе представить, какую "линию" они проводили, облеченные всей полнотой власти, полученной от ЦК, как возглавлявшие надзор над наукой и учеными. И действительно, опасность для науки вырисовывалась буквально с первых дней победы нового философского руководства. В апреле 1931 г. состоялось Всесоюзное совещание Общества Воинствующих материалистов-диалектиков, которое явилось поворотным пунктом в отношениях между философами и учеными в том смысле, что был взят курс на диктат первых по отношению ко вторым. "Обострение классово-борьбы" явилось в то время

ширмой, под прикрытием которой усиливалась борьба против "враждебных сил" во всех порах общественной жизни. В науке это преломлялось в требованиях вести борьбу против "ученых-вредителей" (Базарова, Громана и многих других) и против буржуазных идеалистических теорий. Совещание ОВМД, в частности, отметило, "что овладение наукой и техникой не может быть сведено к простому усвоению культурного наследства буржуазии. Оно включает в себя, как главный момент, неизбежную реконструкцию самой науки и техники на основе диалектического материализма". Эта задача перестройки науки и техники может быть осуществлена лишь путем внутренней переработки самой науки, ее методов исследования и экспериментирования, путем создания новой тематики. (ПМЗ, 1931, №3, стр. 8). Вот эта реконструкция науки и техники на основе диалектического материализма, начавшаяся с самого начала 1931 г., дорого обошлась и науке, и технике, тем более, что протекала она под волевым нажимом невежественных людей. Митин в одной из первых статей, опубликованной им в качестве главы философского фронта в начале 1931, одним абзацем, состоявшим из 6 строк, жестоко "расправился" со всеми создателями физики — гордости 20 в.: Эйнштейном, Планком, Гейзенбергом, Шредингером и другими (см. "Под знаменем марксизма", 1931, №3, стр. 15).

Новое философское руководство усилило борьбу против теории относительности и квантовой механики как реакцию на более умеренную позицию деборинцев в этих вопросах. Об этом свидетельствует передовая одного из журналов ПЗМ, опубликованная в начале 1931 г. — сразу после победы сталинцев. "Старое естественно-научное руководство, — сказано там, — в той или иной степени просмотрело проблему кризиса буржуазной науки. На практике это приводило к некритическому отношению, а подчас к прямому перепеву идеалистических теорий". Уточняя о каких "идеалистических теориях" идет речь, обскуранты от науки прямо указывали на теорию относительности Эйнштейна и квантовую механику — теорий, являющихся сердцевинной современной физики (см. ПЗМ, 1931, №3, стр. 8 и ПЗМ, 1936, №1, стр. 49). На фоне общей тенденции по "завинчиванию гаек" переход к постоянной критике теорий, которые, по мнению философских обскурантов, считались "буржуазными", было чем-то само собой

разумеющимся. С тех пор на протяжении четверти века со страниц газет и журналов, с университетских кафедр ученых — гордость мировой науки третировали и изгоняли из коммунистических "храмов". Это прежде всего относится к Эйнштейну, которого постоянно обвиняли в махизме — обвинение, считавшееся весьма острым, ибо, как известно, Ленин выступал против австрийского философа и физика Э. Маха и его учения (махизма). Начался поход против *всех* новых теорий, составляющих сущность физики 20 века.

Не переставая, громили Эйнштейна, Бора, Гейзенберга, Шредингера, и многих-многих других выдающихся физиков. Не было ни одной новой физической идеи, чтобы она не вызвала соответствующей реакции инквизиторов 20 века. И поскольку многие выдающиеся советские физики глубоко понимали всю пагубность подобных действий, острие критики было направлено и против них. В одной из статей, опубликованных в философском журнале, говорится, что Г. А. Гамов, М. П. Бронштейн, Я. И. Френкель, И. Е. Тамм, А. Ф. Иоффе "раболепствуют перед новейшими продуктами буржуазной идеологии". (см. ПЗМ, 1937, №7, стр. 48).

Следует, однако, отметить, что в области физики философам, при всей их изощренности, труднее было провести их линию, чем в других областях науки. Физики в буквальном смысле организовали "движение сопротивления", и весьма успешное. Они открыто и резко отстаивали свои позиции, защищая Эйнштейна, Бора, Планка, Гейзенберга и многих других "буржуазных" ученых. Философы считали, что это дает им реальную возможность втянуть и физиков в водоворот обвинений, наклеивания ярлыков. Часто казалось, что они преуспевают в этом. Но каждый раз дьявольские интриги разбивались к удивлению неискушенной публики, которая так и не могла понять, почему такие грозные обвинения, одно упоминание которых наводило ужас, почему-то не поражали А. Иоффе, В. Фока, С. И. Вавилова, И. Тамма, престиж которых не только не падал, а все время возрастал. Но это уже — вопреки философам, которые — надо им отдать должное — делали все от них зависящее, чтобы результат был прямо противоположным. Они были уверены, что бьют без промаха в стиле лучших традиций

советских ученых-доносчиков, когда устами Максимова физикам бросали обвинения: "наличие идеалистических пережитков и раболепия пред буржуазной идеологией среди некоторых советских физиков; пренебрежение к материалистическим традициям русских и иностранных физиков; наличие пренебрежения к вопросам практики; опасность смыкания с враждебными СССР элементами" (ПМЗ, 1937, №7, стр. 54). И не их вина, что такой громкий голос не дошел до Сталина: физики сумели убедить последнего, что абстрактная теория Эйнштейна докажет свою практическую силу еще до того как философы закончат подбор аргументов о ее идеалистичности... Сталин отступил, ибо стало ясно, что еще с конца 20-х гг. и особенно в 30-х гг. появилась надежда на высвобождение энергии атомного ядра. Тем более эта охранная грамота защищала физиков в 40-х годах, когда ядерная реакция стала действительностью. Подлинно известно, что, когда Сталин учинил разгром генетиков, многие охотники за ведьмами из числа философов готовили подобную же дискуссию в физике, но каждый раз какая-то высшая сила вспоминала, что имеются дела куда более важные, чем удовлетворять их критическое любопытство. Одним словом, физиков судьба в какой-то мере хранила. Это им придавало определенную долю смелости, и они позволяли себе выступать против философов, порою довольно резко.

Первый сказал свое слово И. Тамм — один из выдающихся советских физиков-теоретиков. Он широко известен не только своими работами по квантовой механике и совместной работой с академиком А. Сахаровым по изучению управляемой термоядерной реакции, но и благородным, честным и открытым характером. Между прочим, это он резко выступил против установившейся практики выбирать в Академию наук партийных руководителей, имеющих весьма отдаленное отношение к подлинной науке. Когда заведующий отделом науки ЦК С. Трапезников, близкий друг Л. Брежнева, пожелал, после избрания последнего генсеком, стать академиком, И. Е. Тамм, как и А. Д. Сахаров, раскрыл всю несостоятельность подобной практики, и Трапезникова забаллотировали. (Кстати, его забаллотировали и в 1979 г.). Еще в 1933 г., будучи членом-корреспондентом АН СССР, Тамм выступил со статьей "О

работе философов-марксистов в области физики”, которая является замечательным обличительным, а главное — правдивым документом, свидетельствующим о роли тогдашнего сталинского философского руководства. Вот коротко основные тезисы этого документа.

По мнению Тамма, основное зло в том, что громадное большинство представителей марксистской философии, работающих в области физических и смежных дисциплин, просто-напросто не знает современного положения науки. В лучшем случае знание этих философов соответствует уровню науки конца прошлого и начала этого столетия. Между тем поразительное развитие экспериментальной техники открыло и открывает целый мир совершенно новых фактов и явлений. Напор этих неумолимых фактов потребовал радикальной реконструкции стройного здания классической физики. Эта реконструкция лишь в самом разгаре, ею живет и дышит современная физика. Однако не только это фактическое положение дел, но даже самая постановка стержневых вопросов современной науки для громадного большинства философов, ставящих себе задачу марксистской реконструкции науки, остается книгой за семью печатями. Философы в своих ответственных выступлениях нередко обнаруживают такую степень научной безграмотности даже не в области новейших достижений науки, а в области элементарных ее основ, за которую не поздоровилось бы рядовому студенту-вузовцу.

Это основное зло влечет за собой и другие. Свое незнание и непонимание многие философы маскируют пышным, но бессодержательным многословием, только затемняющим суть вопросов. Жонглирование словами и терминами, фиксирование внимания на мелочах и тривиальностях, скрытых под квазиучеными словесными нагромождениями, широко проникло в литературу по философии науки. (см. ПЗМ, 1933, №2, стр. 221).

Трудно оценить тот вред, который принесла эта грубейшая вульгаризация науки. Прежде всего это положение оказало чрезвычайно отрицательное влияние на непосредственный ход научной работы. Не будучи в состоянии понять и охватить современное положение физики и смежных дисциплин, разобраться в сущности стоящих перед нами проблем и сущности вызываемых

ими разногласий и отделить здоровые ростки от плевел, большинство философов, работавших в области этих дисциплин, пошло по пути наименьшего сопротивления и выбрало наиболее легкую позицию огульного отрицания ряда крупнейших достижений современной теоретической физики. Им было "несравненно легче" рассыпать направо и налево обвинения самыми общими местами или случайно выдернутыми из контекста цитатами, чем подумать и последовательно защищать какую-нибудь положительную позицию. Такого рода шельмование, по мнению Тамма, не могло не оказать самого погубного влияния на нормальную работу и развитие целого ряда научных направлений. На практике подлинный научный анализ и критика важнейших идеалистических концепций очень и очень часто подменялись гораздо более легкой борьбой с ветряными мельницами (там же).

Что могли официальные философы противопоставить этому глубокому и справедливому анализу? Только ругань и голословные обвинения. Философский журнал, который всецело был тогда вотчиной Митина и Максимова, дал бойкий, но весьма неубедительный "ответ". Он обвинил Тамма в том, что ученый никогда не выступал против "физического идеализма", а наоборот, всегда защищал теоретические взгляды таких физиков, как Гейзенберг, Шредингер, Бор и др. А вот против марксистов Тамм, мол, выступает. Это уже был далеко идущий демагогический прием. Был и пространный намек на то, что "мы будем весьма бдительны к враждебным выступлениям 'критического' характера" (ПЗМ, 1933, №2, стр. 233, 260).

Истинные ученые, независимо от того, выступали ли они с протестами или игнорировали все это, прекрасно, однако, понимали, с кем имеют дело. Разрыв между выдающейся плеядой советских физиков и философским руководством все время увеличивался, ибо ученые понимали, чем грозит "перестройка физики на марксистско-ленинской основе", тем более, если за дело берутся философы типа Максимова и Митина. Одним из тех, кого задело за живое их настойчивые, но лишённые здравого смысла действия, был бакинский профессор В. Кузнецов, заявивший на одной из дискуссий в Азербайджанском нефтяном институте, что он относится к философии

”несколько неodobнительно”. Правда, советские философы, продолжает ученый, могут сказать: ”диалектический материализм — высший этап в развитии философии — сейчас двигает шестой частью земного шара”. ”Это правда, это действительно так, — отвечает Кузнецов. — Но тем не менее философы не могут сказать, что они двинулись дальше того же Демокрита или Гераклита”. (ПЗМ, 1932, №5-6, стр. 13).

А между тем философы продолжали идти своей дорогой, постоянно обрушиваясь на лучших представителей советской науки. В одной из редакционных статей в ПЗМ сказано:

”За последний период времени мы имеем известное усиление активности со стороны антиматериалистических сил среди кадров наших естествоиспытателей. Все чаще и чаще то здесь, то там проскальзывают антиматериалистические выступления, статьи, высказывания. Стоит тщательно просмотреть издания Академии наук, чтобы увидеть, что с этой стороны там дело обстоит весьма неблагополучно”. (ПЗМ, 1932, №5-6, стр. 12). И в качестве примера берутся работы выдающегося советского ученого, основоположника геохимии и биогеохимии — В. И. Вернадского. Поистине: никого они не щадили, для всех находили острое и убивающее слово. И не удивительно, что все сколько-нибудь крупные, не говоря уже — выдающиеся ученые платили им чем угодно, но только не уважением.

Из выдающейся плеяды советских физиков, выступавших против тлетворного влияния философов, одно из ведущих мест принадлежит академику В. Фоку. Он болел душой за свою физику и защищал ее от атак воинствующих невежд на протяжении нескольких десятилетий. Его всегда можно было видеть на самых ответственных собраниях, посвященных ”философским вопросам естествознания”, где, судя по предварительной подготовке философов, он чувствовал, что требуется его личное вмешательство. Он обычно сидел в президиуме, внимательно слушая ораторов при помощи своего слухового аппарата, который, кстати, всегда выключал, как только на трибуне появлялся Митин или Максимов.

Личный друг Бора, Фок неустанно доказывал значение его открытий. И вообще значение квантовой механики, которую философы постоянно третировали как ”идеалистическую”. В 1938 г.

когда требовалось определенное гражданское мужество выступить с самостоятельным, нестандартным суждением, В. Фок публикует статью "К дискуссии по вопросам физики". И основной вопрос, который он поставил в качестве первого же заголовка был: "Противоречит ли квантовая механика материализму?" Эту постановку вопроса следует объяснить. Он характеризует тот эзоповский, подцензурный язык, который в то время установился. Не имея возможности свободно высказывать свои мысли, ученые защищали ту или иную теорию западного ученого под видом того, что она "соответствует диалектическому материализму". Это сразу освобождало от массы неприятностей и придавало необходимую смелость. Ставя вопрос в лоб, Фок смело стал развивать свою мысль, отмечая, что "всякому неискушенному уму ясно, что квантовая механика как верная теория материи не может не согласоваться с материализмом. Однако в философских спорах, — продолжает с сарказмом ученый, — участвуют обычно умы искусственные, и для них дело обстоит не так просто". (ПЗМ, 1938, №1, стр. 149). Ученый хочет бить "искусственные умы" их собственным оружием, поэтому исходит из их собственного же постулата: верная теория — всегда материалистична. Это был самый удачный прием, ибо тогда ученому оставалось только доказать истинность квантовой механики, что он блестяще и сделал. Отвечая Максимову, который в одной из работ Фока усмотрел "идеализм", Фок пишет: "Весь мой 'идеализм' состоит, очевидно, в том, что я считаю принцип дополнительности Бора установленным законом природы. В чем же проявляется здесь материализм Максимова? По-видимому, в том, что он, не тратя труда на доказательства, просто объявляет этот закон природы несуществующим, потому что он не соответствует его, Максимова, представлениям о материи". (там же, стр. 156).

Авторитетное свидетельство Фока — одного из ведущих ученых с мировым именем о том, что все советские физики, причастные к квантовой механике и к теории относительности, сопричислены Максимовым к идеалистам и обвиняются во всех смертных грехах, говорит об обстановке, которую старались создать философские руководители в науке.

Не меньший интерес представляет выступление Иоффе

против тлетворного влияния философов. На научной сессии института философии Комакадемии он во всеуслышание заявил, что "сейчас все-таки существуют выпады, когда философы становятся поперек дороги историческому прогрессу физики и говорят: 'Назад, назад, ничего не допущу, всё идеализм; назад на 30 лет' ". Иоффе назвал вещи своими именами, когда заявил, что "с опаской принимается каждая новая научная теория, каждое новое познание природы. Не только в их толковании, но и в самих теориях имеется идеализм. Это относится и к причинности и к принципу неопределенности и т. д." (ПЗМ, 1934, №4, стр. 65). И далее он говорил нечто такое, что своей простотой и очевидностью только подчеркивало, насколько твердолобы и агрессивны те, к кому его слова были обращены. Не странно ли, говорил ученый, что всех активных физиков, которые стремятся найти те новые представления, которые адекватно выразили бы свойства вне нас существующего мира — что всех этих физиков, без исключения, считают идеалистами. Что-то неладно! И Бор, и Шредингер, и Дирак, и Гейзенберг, и Френкель, и решительно все, кто стремится найти адекватное выражение свойств микрокосмоса, атомного мира, все они идеалисты" (там же, стр. 66). Простые и правдивые слова. Но они так и не дошли до сознания философских бонз: десятилетия после этого, до и после 2-й мировой войны, все еще продолжали поносить и Эйнштейна, и Бора, и Шредингера, и Дирака, и Гейзенберга, и многих, многих других. И все это без всякого сомнения, без малейших признаков совести и наличия не то что разума, но даже простого здравого смысла.

Активно поддержал Иоффе один из видных советских физиков-философов Э. Кольман, много лет проведенный в сталинских застенках и эмигрировавший в 1975 г. в Швецию. Развивая его мысль о том, что философы говорят физикам: "Назад, назад, ничего не допущу", он отмечал, что раздавались и раздаются голоса, ташащие физику назад лет на 50, становящиеся поперек дороги всякому прогрессу, объявляющие теорию относительности, теорию квант и все, что не согласуется с Макковеллом и Фарадеем, идеализмом" (там же, стр. 108). Э. Кольман — один из тех, кто призывал советских философов не ограничиваться одной лишь критикой, но упорно работать "над

овладением всем аппаратом современной науки". Но власть имущие так и не прислушались к этому голосу здравого смысла. Обстановка в науке становилась все хуже и хуже, пока она не достигла своего апогея на печально знаменитой Сессии ВАСХНИЛ 1948 г., а затем в период космополитизма.

Пусть же читатель решит, можно ли то, что С. Вавилов, А. Иоффе, В. Фок, И. Тамм и другие отстаивали теорию Эйнштейна и вообще современную физику от нападков невежд, записать в актив советской философии и ее "сталинского руководства", как пытаются это задним числом сделать советские историки физики и философии.

Проф. И. Яхот

К ВОПРОСУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКСЛИБРИСА В РОССИИ

*Экслибрис! Книжный знак! Ты — лик bibliофила!
Ты — украшение и страж затворниц — книг!
Как жаль, что скрыт от нас торжественный тот миг,
Когда Судьба тебя впервые в мир явила.*

П. Н. Берков.¹

Доказывать полезность экслибриса, как исторического, библиографического источника, как произведения графического искусства нет нужды. Со всех точек зрения он является документом эпохи.

Популярность экслибриса, возросшее количество выставок, исследований и изданий по экслибрису за последние пятнадцать-двадцать лет в СССР совпали с определенной тенденцией — погоней за "приоритетом" страны и в этой области. Путем дезинформации или необоснованных утверждений, или, попросту, не утруждая себя, путем элементарного вымысла эти авторы пытаются доказать уж если не первенство, то, по крайней мере, одновременность возникновения экслибриса на Руси с родиной книгопечатания — Германией. При этом утверждения эти либо никак не связаны с историей возникновения и развития книгопечатания, либо и здесь не обходится без фальсификации.

Поэтому и сегодня вопрос возникновения экслибриса в России остается актуальным. Для того, чтобы объективно, без предвзятости, подойти к решению этого вопроса, необходимо обратиться к истории.

В начале был знак, за ним — слово. Засим — письмо. Затем,

1. Берков П. Н. — Сонет "Экслибрису". Памятка 100 заседания МКЭ. Московский клуб экслибрисистов. Изд-во "Книга". Москва, 1968.

все объединяя, книга. История культуры знает: книги считались волшебными или священными. Их возносили в церемониях. Были книги враждебные: их уничтожали, как живые существа. Ныне им строят дворцы, собирают в единство. Книга в библиотеке или теряет или находит себя. Быть хозяином книг — вечно только гостей — человек должен уметь. Его рабой книга никогда не была и не будет. Но подругой сможет стать всегда. Знак человека на книге может быть и злою печатью, какой в древности клеймили людей. Но книгу и украшали, как признание вечного союза Человека и Книги, создавали искусство книжных знаков, которые мы именуем звонким чужеземным словом экслибрис.²

К поэтической истории возникновения экслибриса, описанной членом-корреспондентом АН СССР А. А. Сидоровым, необходимо добавить, что употребление термина "книжный знак" экслибрису не равнозначно. Понятие книжного знака включает в себя помимо экслибриса еще издательские и типографские марки, суперэкслибрисы, переплетные и книгопродажные знаки и т. д. Таким образом экслибрис — один из видов книжного знака, который по отношению к первому является понятием родовым.

В нашем рассуждении употребление слов "книжный знак" только как экслибрис. Термин "экслибрис", повсеместно принятый среди собирателей книг и коллекционеров книжного знака, в СССР до сих пор еще не нашел точного определения. Различные формулировки его определения, предложенные собирателями и исследователями экслибриса — Е. Н. Минаевым, С. П. Фортинским, С. Г. Ивенским и другими, неудовлетворительны; в них и недостаточная полнота определения, и неточности определения формы и содержания экслибриса, а также надуманные условия. Мы не ставим перед собой целью разбор недостатков этих формулировок, так как это увело бы нас от поставленного вопроса. Поэтому для более определенного рассуждения нами предлагается следующее определение: э к с л и б р и с (в переводе с латинских слов *ex libris* — из книг) — графический ярлык, указывающий принадлежность книги владельцу, может нести

2. Сидоров А. А. — "Экслибрис 77". Альбом экслибрисов. Ленинградский клуб экслибрисистов. Ленинград, 1977.

информацию об интересах, профессии и различных увлечениях владельца.

Когда появился экслибрис? В отношении Европы, полагаем, что нужно согласиться с мнением польского ученого А. Рышкевича, который, анализируя развитие польского экслибриса в XVI веке, делает вывод: "В связи с этим мы можем утверждать, что польский экслибрис принадлежит к числу старейших в Европе. Судя по нынешним данным, более ранними являются только немецкий и швейцарский книжные знаки, к которым был прибавлен в последнее время (недатированный) французский экслибрис 'Bibliotheca Fausti', созданный, как предполагают, в самом начале XVI в".³ Далее А. Рышкевич делает очень важное замечание: "Совершенно необоснованным следует считать при этом включение в рассматриваемую группу рукописных владельческих знаков. Такие владельческие знаки (протоэкслибрисы — прим. В. Ш.) встречаются гораздо раньше и во многих странах".⁴

Когда же появился экслибрис в России? Здесь, до недавнего времени, мнения не расходились: экслибрисы появились в России в эпоху Петра I. Правда с одним только но: первые отечественные исследователи экслибриса В. А. Верещагин и В. Я. Адарюков считали его происхождение от вкладных записей, существовавших якобы в России в качестве единственного знака принадлежности книги и самостоятельного от Европы.⁵

Применение вкладных записей было широко распространено на Руси. Их делали владельцы книг, передавая книги вкладом в монастыри и церкви. Совершая такой вклад, человек хотел указать цель своего пожертвования. Самые ранние владельческие надписи известны на окладах "Евангельских чтений" и "Евангелия недельного", принадлежащих Симеону Гордому (оклад 1343 г.) и Федору Кошке (оклад 1392 г.).⁶ Но предположение, что экслибрисы произошли от владельческих

3. Рышкевич А. Польский книжный знак (экслибрис) до 1900 г. В сб. "Книга и графика". Изд-во "Наука". Москва, 1972 г., стр. 268.

4. Там же.

5. Верещагин В. А. Русский книжный знак. СПб, 1902 г. Адарюков В. Я. Русский книжный знак. Москва, 1922 г.

6. Эти рукописи хранятся в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

записей, неверно. Вот пример вкладной надписи на одном из экземпляров Устава церковного 1641 года издания: "Сее книгу, глаголемую Устав, дал в дом пресвятыя Троицы и Успению Богородицы, и чудотворцу Сергию в Старую Рязань на Облачитцкий монастырь Володимер Прокофьевич Ляпунов по себе и по своих родителях в наследие вечных благ покамест та сия обитель предстоит. А кто в сей обители будет власти... им сее книги Устав не продать, и не заложить и никому из монастыря не отдать; а за меня за Володимира и за жену за мою, и за детей моих при нашем животе Бога молити; а родители наши, которые лежат во обители сей, а по смерти моей и меня Володимира, поминать, как и прочих родителей моих". Конечно, трудно найти здесь общее с экслибрисом, тут больше сходства с завещанием. Существовали и коллективные вкладные записи. Люди небогатые делали скромные вклады, иногда давали в церковь или в монастырь одну книгу, купленную вскладчину от нескольких семей. Так, Евангелие, напечатанное в Москве в 1651 г. (III.3.6.) в 1653 г. положили в церковь Богоявления крестьяне Городищенской волости "...Фрол Андреев да жена его Анна, да Трапезнин Алексей Яковлевич, да жена его Антонида по обещанию своему и по родителям своих для ради поминовения. А дали за сию книгу пять рублей две гривны денег, положили деньги пополам".⁷

Нетрудно заметить явную притянутость и надуманность возникновения экслибриса от вкладных записей, несмотря на то, что их в некоторой степени объединяет желание человека увековечить на книге свое имя, как на чем-то заслуживающем хранения за пределами его личного существования. Но ни по форме, а, самое главное, по содержанию они не имеют ничего общего. Предназначение вкладной записи противоположно значению экслибриса; если вкладная запись — знак отчуждения книги, то экслибрис закрепляет книгу за владельцем. Более логично мнение другого исследователя экслибриса С. А. Сильванского, который утверждал, что русский экслибрис заимствован в эпоху деяний Петровых из Западной Европы.⁸

7. Лукьяненко В. И. Судьбы старопечатных русских книг. Альманах библиофила. Изд-во "Книга", Москва, 1973 г., стр. 189.

8. Сильванский С. А. — Очерки экслибрисоведения. Происхождение

Естественно, ни одна из приведенных версий возникновения экслибриса в России не устраивала "самую передовую" советскую науку. Поэтому тот же Сильванский утверждал: "Однако анализируя экслибрис под углом зрения современности, необходимо признать его социально-отрицательные свойства, так как, будучи по структуре своей знаком индивидуально-владельческим, экслибрис в социалистическом обществе является анахронизмом и прав на существование иметь не может".⁹ Если не может, так и незачем ломать копья — значит экслибрис уже не существует. Правда, нужно знать 30-е годы нашего "революционного" века, когда писалось это утверждение.

Но советская наука не стоит на месте и, наконец, современный ленинградский ученый — археограф Н. Н. Розов находит, то что недоставало до полного счастья всего "прогрессивного человечества". На рукописных книгах из библиотеки Соловецкого монастыря якобы рисованные экслибрисы и делает вывод, что экслибрис появился на Руси до книгопечатания, еще в конце XV века и не связан ни с каким заимствованием.¹⁰ Появление экслибриса до книгопечатания абсурдно, тем более для ученого вооруженного марксистско-ленинской философией. Но лиха беда начало; дальше — больше и, как снежная лавина, посыпались наукообразные выводы. Искусствовед С. Г. Ивенский (он автор пока единственной в стране кандидатской диссертации по экслибрису — прим. В. Ш.) сообщает: "Древнейшим русским экслибрисом считают знак основателя библиотеки Соловецкого монастыря Досифея (около 1490 года)".¹¹

Автор многочисленных статей и книг по экслибрису Е. Н. Минаев вторит ему: "Но несколько лет тому назад при просмотре рукописных книг Соловецкого монастыря на некоторых из них обнаружили рисованный от руки книжный знак, относящегося к русскому экслибрису. Ж-л "Советский коллекционер" №4, 1932 г., стр. 117.

9. Сильванский С. А. — Книжные знаки Н. С. Бом-Григорьевой. Изд-во "Советский коллекционер". Москва, 1932 г., стр. 14.

10. Розов Н. Н. — Когда появился в России книжный знак? В кн. "Археологический ежегодник за 1962 год". Изд-во Академии Наук СССР, Москва, 1963 г., стр. 88-91.

11. Ивенский С. Г. — Искусство книжного знака. Изд-во "Художник РСФСР", Ленинград, 1966 г., стр. 6.

шийся к 1493-1494 гг. Он принадлежал основателю библиотеки монастыря игумену Досифею и был, по-видимому, первым рукописным экслибрисом".¹² И уже кандидат исторических наук сотрудник Института археологии Академии Наук УССР В. С. Драчук доделывает стройную историю возникновения и развития экслибриса в России, орудуя фактами "с потолка", добавляет недостающие XVI и XVII века: "Недавние исследования рукописных книг Соловецкого монастыря показали, что уже тогда существовали экслибрисы. На одной из книг был рисованный знак игумена Досифея, относящийся еще к 1493-1494 гг.". ¹³ Теперь для убедительности нужно что-нибудь найти в следующем веке и он, говоря о развитии экслибриса в Германии в XV-XVI вв., находит: "приблизительно в это же время экслибрис появился и на Украине".¹⁴ Трудно сказать, чего здесь больше: умышленного искажения фактов или незнания. Предположим, что в этом виноват польский экслибрис XVI века, но дальше В.С. Драчук отыскал и в России экслибрисы в XVII веке. Этого мало. Он утверждает о широком распространении экслибриса: "Книжные знаки получают широкое распространение в России лишь в XVII в., с появлением библиотек, принадлежащих светским лицам".¹⁵ Вот теперь все кажется строго научно и обстоятельно и можно делать вывод подобный "аверихинскому" — таким образом русский рисованный знак появился почти одновременно с немецким и более чем на полстолетие обогнал появление экслибриса в таких странах Европы, как Италия, Франция и т.д.¹⁶ Конечно, тут меняется и отношение к экслибрису. Если по "Сильванскому" в 1932 году экслибрис "прав на

12. Минаев Е. Н. — 500 экслибрисов. Экслибрисы художников Российской Федерации. Изд-во "Советская Россия". Москва, 1971 г., стр. 5-6.

13. Драчук В. С. Рассказывает геральдика. Изд-во "Наука", Москва, 1977 г., стр. 65.

14. Там же.

15. Там же.

16. Приносим извинения за то, что этот вывод мы даем в пересказе. Ленинградские таможенники не разрешили нам вывезти многие книги, в том числе и ту, в которой был увековечен сей вывод, объяснив это тем, что данные книги малотиражные. Они же разрешают к вывозу книги, изданные тиражом не менее 50.000 экземпляров и не ранее 1946 г. Книга называется "Первая выставка книжного знака в Туве" и издана в г. Кызыле в 1966 г.

существование иметь не может”, то теперь: “книжный знак в нашей стране снискал общую любовь и стал не только личной печаткой владельца книги, но и предметом красоты, воспитания вкуса, предметом художественных коллекций. Эмоциональность экслибриса удачно выражает возросшую культуру и общественные интересы советских людей. Выставки и личные коллекции книжных знаков можно встретить в самых различных городах нашей страны. В культурном обмене он выступает полпредом малых форм советского искусства за рубежом”.¹⁷ Прекрасно. Приоритет появления экслибриса налицо и кого-то обогнали, возросшая культура и общественные интересы, и стройная система развития. Только вот книгопечатания в России в XV веке не было. А ведь экслибрис родился на смену протоэкслибрису (рисованному от руки на книге владельческому знаку) в XV веке почти в то же время, как и выдающееся изобретение книгопечатания Иоганном из Майнца по имени Гутенбергом. До этого владелец книги, дабы закрепить ее за собой, мог обходиться протоэкслибрисом заказывая на рукописи свой герб. Особенно часто герб помещался в нижней части первой страницы. (Такие гербы встречаются ранее XIV века. Наиболее широкое распространение протоэкслибрис получил в XV веке, даже на печатных книгах и только с середины XVI века он вытесняется экслибрисом). Изобретение книгопечатания позволило в короткий срок значительно увеличить количество выпускаемых книг. Становится накладно рисовать на каждой книге знак владельца, особенно, когда книга становится массовой. На смену протоэкслибрису приходит печатный владельческий ярлык — экслибрис.

Определение книги как “массовой” может у вас вызвать улыбку, но, по данным, приводимым А. Рюппелем в 1501 году, книги печатали в 254 городах Европы, в 1120 типографиях. Тогда только за год было выпущено 40 тысяч названий общим тиражом 12 миллионов экземпляров.¹⁸

17. Дьяконицин Л. Ф. Книжные знаки В. А. Фролова. Изд-во “Книга”, Москва, 1973, стр.5.

18. Ruppel A. Die Bücherwelt des 16 Jahrhundertg und die Frankfurter Büchermesse. Gedenkboek der Plantin-Dagen; Antwerpen, 1956, P. 146. Можно еще упомянуть Людвиг Хайна, описавшего 16299 названий, отпечатанных за XV век.

Ничего подобного в России в то время и значительно позже не наблюдалось. Вот свидетельство англичанина Джильса Флетчера, ездившего в 1588 году в Московию послом королевы Елизаветы к царю Федору Ивановичу, из книги "О государстве русском, или образ правления русского царя (обыкновенно называемого царем московским) с описанием нравов и обычаев жителей этой страны". (Лондон, 1591 г.)

"Несколько лет тому назад, еще при покойном царе, привезли из Польши в Москву типографский станок и здесь была основана типография с позволения самого царя. Но вскоре дом ночью подожгли, и станок с литерами совершенно сгорел, о чем, как полагают, постаралось духовенство". Для большей убедительности приведем данные того, что было издано на Руси в середине XVI века, приводимые современным ученым Е. Немировским: "В 50-х гг. (Иван Федоров — прим. В. Ш.) работал в так называемой Анонимной типографии в Москве, выпустившей семь изданий. 1 марта 1564 г. вместе с Петром Тимофеевым Мстиславцем выпустил первую точно датированную московскую печатную книгу "Апостол", а в 1564 г. — два издания "Часовника". В 1566 г. из-за преследований со стороны церковников вынужден был покинуть Москву".¹⁹ Вот и все первые книжные издания на Руси. Они связаны с именем русского первопечатника Ивана Федорова. Но чудесное начинание на Руси было загублено и для его возрождения понадобились многие годы. Мог ли тогда появиться экслибрис? Вероятность его появления весьма сомнительна, да и нет в нем еще необходимости.

Естественно, что такое положение не может устраивать "самую передовую науку" и до сих пор не прекращаются многочисленные попытки фальсифицировать и историю развития книгопечатания на Руси. В статье кандидата педагогических наук А. Т. Губко "К истокам украинского книгопечатания", опубликованной в 1969 году в журнале "Архивы Украины", названы уже 30 "украинских деятелей", которые будто бы печатали на Украине книги до Ивана Федорова. Опровержение

19. Немировский Е. По следам первопечатника. Ст. в Альманахе библиофила. Выпуск четвертый. Изд-во "Книга", Москва, 1977, стр. 155.

подобных утверждений увело бы нас от основного вопроса, тем более, что эту задачу прекрасно решил Е. Немировский.²⁰

Рассмотрим, что же собой представляет знак игумена Досифея. По форме и содержанию его нельзя отнести к экслибрису. По форме он похож на протозекслибрис, так как нарисован от руки на книге, но не является таковым, потому что не указывает на принадлежность книги владельцу. Ведь в данном случае владелец книг — Соловецкий монастырь. Знак Досифея предположительно мог быть знаком цензора, либо заказчика или издателя, но только не протозекслибрисом и тем более не экслибрисом.



1. Рисунок знака священноинок Досифея (1493 г.) на рукописной книге.

Для чего рисовался знак игумена Досифея? Одно из вероятных объяснений может быть то, что при переписке книг возможность появления ошибок в тексте была достаточно велика. Это могло привести к изменению смысла текста. Поэтому сличение текста и его достоверность, особенно для книг религиозного содержания, были ответственным делом. Вполне вероятно, что такая миссия была возложена на игумена Досифея, а для удостоверения в том, что книга верна, и рисовался этот знак. На одной из книг этого же монастыря под знаком Досифея есть надпись: "Написана бысть кнега сия в лето 6999 (1491) повелением имярек", что в данном случае объясняет предназначение

20. Немировский Е. О библиотеках, книголюбях и ...фальсификаторах. В сб. Альманах библиофила. Выпуск пятый. Изд-во "Книга", Москва, 1978, стр. 171-194.

этого своеобразного издательского знака.

Таким образом можно сделать вывод, что экслибриса на Руси в XV веке не было. В XVI и даже XVII веках, несмотря на "открытия" Драчука, появление экслибрисов в России также не наблюдалось.

Только в Петровскую эпоху, когда в России происходят значительные перемены, когда страна включается в общее русло развития европейской культуры, экслибрисы появились у сподвижников Петра I: Д. Голицина, Я. Брюса и Р. Арескина. Необходимо отметить, что к этому времени экслибрис в Европе получил чуть ли не повсеместное распространение. Его можно встретить на книгах монархов, аристократов, священников, горожан и на книгах общественных учреждений. Не претерпев каких-либо изменений, экслибрис из Европы прижился и в России. Этому способствовали успехи России в книгопечатании, в которых основная заслуга Петра I. Описывая путешествие Петра I за границей в 1697-1699 годах, Т. Быкова справедливо предполагает: "Естественно, что у Петра I могла возникнуть мысль о печатании в Амстердаме книг для России, тем более, что тогда он еще не знал, найдет ли в Москве людей, могущих создать учебную и техническую литературу".²¹ Но вот уже в Описании столичного города С-Петербурга, относящемся к 1716-1717 годам мы читаем: "По правую руку расположена новая типография, что в той стране нечто редкое, ибо там даже за деньги не достать русские или какие бы то ни было книги. И так как очень трудно читаются старинные русские буквы, ибо они с различными сокращениями и удивительными знаками, то это заботами царского величества теперь заметно изменено и вместо прежней плохой введена чистая, хорошо читающая, печать. С помощью ее будут печататься разные книги, особенно библия и катехизис, о чем до сих пор знали мало или ничего не знали".²² Всего же при Петре I было издано около 600 названий

21. Быкова, Т. Издания амстердамской типографии Яна Тесинга. Альманах библиофила. Выпуск 11 изд-во "Книга", Москва, 1975, стр. 161.

22. Описание столичного города С-Петербурга. Перевод с немецкого, Либталь Е. Э., Луппов С. П. Альманах "Белые ночи". Лениздат. Ленинград, 1975, стр. 119-220 Название оригинала "Eigentliche Beschreibung der an der Spitze". Издано во Франкфурте и Лейпциге в 1718 году.

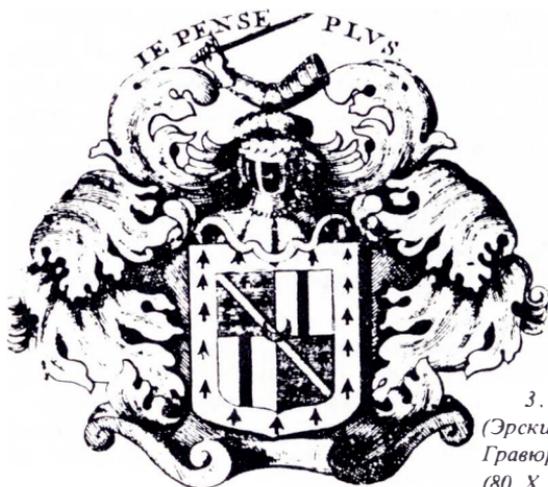
книг. К ним нужно прибавить еще большое количество иностранных книг привозимых из Европы. Появляются частные дворянские библиотеки, а вместе с ними и экслибрис. Первый экслибрис был завезен из Европы Голициным.

Князь Дмитрий Михайлович Голицин (1665-1737) — просве-

Ex Bibliotheca Arcangelina

2. Экслибрис Д. М. Голицина. Наборный ярлык. 1 четв. XVIII в. (4 x 59).

шенный вельможа, видный деятель Петровской эпохи, член верховного тайного Совета имел библиотеку (6000 томов) на русском, английском, голландском, испанском, польском, французском, шведском и латинском языках. Библиотека Голицина "по своему богатству уступала в то время только библиотеке и музею Брюса". Книги библиотеки были снабжены экслибрисом, который представлял собой скромный шрифтовой ярлычок; на нем отпечатано на латинском языке "Ex Bibliotheca Arcangelina" (из библиотеки Архангельское). Время появления экслибриса вероятнее всего нужно отнести ко времени, когда Голицин стал владельцем подмосковного имения Архангельское (1703 г.). В декабре 1736 года императрица Анна Иоанновна, видевшая в нем одного из главных своих противников,



3. Экслибрис Р. Арескина (Эрскин). Художник неизвестен. Гравюра на меди, 1 четв. XVIII века (80 X 90).

приказала арестовать и судить князя. Смертная казнь была Голицину заменена пожизненным заключением в Шлиссельбургскую крепость, вотчины и все имущество конфискованы. Библиотека была доставлена в Канцелярию Конфискации. Часть книг была отобрана в библиотеку Академии Наук, остальные отправлены в Синод для рассылки в училища.

Следующий по времени экслибрис принадлежал Роберту Арескину (Эрскин), лейб-медику Петра I. Англичанин по национальности, он приехал в Россию в 1706 году, был управляющим Аптекарским приказом. Библиотека Арескина, содержащая 4200 томов, после его смерти, в 1718 году поступила в фонд Академии Наук. Явно иностранное происхождение этого экслибриса, представляющего образец английского граверного искусства, позволяет предположить, что владелец привез его с собой на свою новую родину. На знаке изображен герб владельца с девизом "Je pense plus" (Я больше думаю).

Третий экслибрис, считавшийся до революции особенно



4. Экслибрис Я. В. Брюса. Художник неизвестен. Гравюра на меди. 1 четв. XVII века. (86 X 86).

редким, также был гербовым.²³ Владелец его — граф Яков Велимович Брюс (1670-1735 гг.) — фельдмаршал, сподвижник Петра I, сын выходца из Шотландии, родился в Москве, состоял ученым секретарем Петра I, устроитель Навигацкой школы в Москве, президент Берг- и Мануфактур коллегий, один из создателей русской артиллерии. Его имя получило известнейшее издание начала XVIII века — Брюсов календарь, за который в народе он был прозван чернокнижником и предсказателем. Библиотека его, носившая энциклопедический характер, и кабинет древностей поступили в Кунсткамеру. Часть библиотеки, в количестве 1432 томов, была передана после его смерти в Императорскую Академию наук.

Книги библиотеки Я. Брюса украшал гравированный экслибрис. На нем изображен герб владельца с девизом "Fuimus" (были), пожалованный ему вместе с графским титулом в 1721 году, и орден Андрея Первозванного, на цепи которого надпись "За веру и верность". Этим орденом Брюс был награжден после Полтавского боя в 1709 году. Таким образом этот экслибрис появился не ранее 1721 года.

Но есть еще один экслибрис, который может датироваться 1714 — не позднее 1733 гг., то есть ранее экслибриса Брюса. Принадлежал он Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину (1693-1766) — канцлеру при правлении Елизаветы Петровны; в 1733 году Бестужев-Рюмин был возведен в графы, а на его гравированном экслибрисе изображен дворянский жалованный герб с девизом "Semper idem" (всегда тот же). Это свидетельствует, что экслибрис награвирован ранее 1733 года и вполне возможно ранее экслибриса Брюса. Также можно предположить, что знак исполнен русским гравером, так как для иностранных граверов, приглашенных в Россию, такой уровень техники гравирования и рисунка нехарактерен.

Заканчивая обзор первых экслибрисов в России, относящихся к первой четверти XVIII века, хочется рассказать еще об одном экслибрисе, относящемся к более позднему времени. Все

23. В пореволюционные годы несколько десятков экслибрисов с книг Брюса, находящихся в Библиотеке Академии Наук СССР, было отклеено коллекционерами. В результате чего книги Я. В. Брюса оказались обезличенными.

дело в том, что мы говорили о сподвижниках Петра Великого и немислимо не упомянуть имя "любимца и постоянного сотоварища Петра I во всех его военных делах и пирушках" (Ровинский), одного из выдающихся личностей в истории России первой трети XVIII века, сделавшего также большой вклад и в развитие русской культуры, светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова (1673-1729). Его экслибрис представляет — большую гравюру с гербом владельца, но наклеенным на книги не встречался, может быть потому, что библиотека А. Д. Меншикова не сохранилась. Единственный экземпляр этого экслибриса хранится в Государственной Библиотеке СССР имени В. И. Ленина (коллекция экслибрисов А. А. Сидорова). Знак по всей вероятности исполнен отечественным художником и был награвирован в период политического могущества Меншикова при Екатерине I или Петре II, во всяком случае до его падения в 1728 году. Воспользоваться же им владельцу уже вероятно и не пришлось.

Итак, ни в XV, XVI и даже XVII веке, несмотря на различные "открытия", экслибриса в России не было или, во всяком случае, еще не найден. Да и возникновение экслибриса в России до XVIII века маловероятно и, самое главное, не оправдано, так как широкое развитие книгопечатания началось только в бурную революционную эпоху деяний Петровых. Именно тогда, в начале XVIII века появился в России экслибрис под непосредственным влиянием культуры Западной Европы и связанный с возникновением частных дворянских библиотек.

Различные же надуманные теории возникновения экслибриса в России и подобные им выводы не служат пользе и изготовляются с явно определенной целью. Факты и объективный анализ — лучшее против них оружие. И конечно напрасны опасения некоторых "ученых-деятелей". История культуры России не нуждается в приукрашивании и фальсификации.

БИБЛИОГРАФИЯ

JÓZEF MACKIEWICZ. NIE TRZEBA GŁOŚNO MÓWIĆ. Kontra. Londyn. 1980.

Книгу И. А. Мацкевича следовало бы определить, как полифоническую и панорамическую. Само название допускает несколько толкований, оно — символическое: "Не надо громко говорить!" — это красная нить, проходящая через всё повествование: конспирация, конфиденция, денуциация, дезинформация, за каждое неосмотрительно сказанное слово грозит смерть, не только сказавшему, но и его близким, а то и случайным свидетелям. "Не надо громко говорить!" — насилие могущественных "союзников" над совестью поляков. "Не надо громко говорить!" — как эпитафия в мавзолее, воздвигнутом над миллионными гекатомбами, жертвами нечеловеческой Злобы и Ненависти. Впрочем, не "нечеловеческой", а человеческой, как говорит один из эпизодических персонажей книги, ибо *вне* человека такой *ужасной* злобы и ненависти не бывает.

Повествование относится к периоду 1941-1943 гг. — немецкой оккупации Виленщины и Белоруссии, преимущественно на отрезке Вильно-Минск. Территория эта, после падения Польши в 1939 г., занята была советами. Население, в подавляющем большинстве, чаяло освобождения от коммунизма со стороны немцев. В 1941 г. немецкие войска "блицкригом" заняли не только эти земли, но и обширные территории дальше, на Востоке, дойдя до линии Ленинград-Москва-Сталинград-Крым. В немецкий плен попали миллионы советских солдат, многие из них — по доброй воле. Германские завоеватели жаждали полной победы, но относительно того, как эту победу использовать, мнения разделились. Наметились три ориентации. Гитлер и иже с ним (Борман, Гиммлер, Геринг и др., т. е. партия) лелеяли мечту о максимальном *физическом истреблении* местного населения, выселении оставшихся дальше на восток, о порабощении выживших с предоставлением им участи морлоков-рабочих в пользу колонистов "герренфолька". Розенберг (Остминистерium), отправляясь от профессорских теорий и докладов экспертов по делам востока, считал, что советского колосса надо ударить по глиняным ногам — содействовать осуществлению планов всех сепаратистских движений. И только некоторые высшие военные

круги считали желательным сперва победить коммунистов, а затем восстановить "белую Россию", верного себе союзника.

Массовые расстрелы, в первую очередь в необычайных размерах — евреев, а затем и русских, и вообще всех, кто попадал под руку, поощрялись для наведения страха-дисциплины на все население. К этому присовокуплялось национальное унижение: "...ду, польнише (или руссише) Швайн!". И это последнее жгло сердца людей.

Советские аппаратчики, уходя на восток под напором немцев, оставляли на местах "сексотов" местного происхождения; попав на службу к немцам, они вершили свое черное дело. Тех, кто по совести были антикоммунистами, советским агентам легко было принудить к сексотству путем террора, направленного на них и на членов их семейств, захваченных в качестве заложников.

Автор не ограничивается территорией северо-восточной части б. Польши, время от времени он переносит повествование и на территорию Варшавы, живописуя не менее сложную ситуацию в столице, ситуацию парадоксальную, ибо с переломом хода войны, в польское подпольное движение стали поступать приказы из Лондона (польского правительства в изгнании), чтоб для "блага дела", всячески содействовали вчерашнему смертельному врагу — наступающей Красной армии!

Многое еще хотелось бы отметить в рецензируемой книге, но... в ней 559 страниц! Читателя поражает, наряду с осведомленностью и начитанностью автора (около 100 библиографических сносок), его спокойный, беспристрастный тон; в уста своих персонажей, иногда совсем эпизодических, он вкладывает интереснейшие философские мысли и делает наблюдения общечеловеческого значения. О качественной стороне книги свидетельствуют многочисленные отзывы польскоязычной прессы. Да позволено мне будет процитировать несколько таких отзывов: — "Абсолютно захватывающая", "Волнение и возбуждение охватывают читателя при чтении глав, вселяющих ужас... монументальное содержание и артистичность формы... это несомненно великий эпос Второй мировой войны", "Шедевр Мацкевича", "Не было такой книги, равной этой, после второй мировой войны... Этот — самый лучший труд И. Мацкевича из доселе написанных, читается в один присест...", "Это не только повесть, но и политический трактат", "Хорошо сделал Мацкевич, что написал этот роман не ожидая, когда эта тема улежится, затуманится полуправдами, полулегендами, обрстет ложью... Прелестные описания природы, живые и волнующие события

на исторической сцене...”

Что можно прибавить к этим оценкам? С ними можно только согласиться.

И. Г.

АНАТОЛИЙ ФЕДОСЕЕВ. "О НОВОЙ РОССИИ. АЛЬТЕРНАТИВА". Overseas Publications Interchange Ltd., London, 1980 (335 стр.).

В книге несколько планов политический, экономический, философский, и две основные темы: критика либерализма, ведущего к социализму на Западе, и разоблачение советского социализма. Автор критикует западную экономическую систему, в которой, по его мнению, преобладают монополии и где он видит вопиющие "блага" социализма. Разоблачения советской системы основаны на его личном исключительном опыте человека с большим положением в СССР.

Первую часть книги можно назвать "Критика социализма (Англия и СССР) и опасность монополий на Западе", вторую — "Проект конституции новой России" и третью — "Проект перехода от социализма к новой России". Все три представляют исключительный интерес. Особенно ценна третья часть — "Проект перехода". О переходе к новой России в эмиграции в последние годы пишут мало под влиянием кажущейся прочности советской власти. Поэтому новый и реальный подход к вопросу о смене советской власти, о перевороте, представляет интерес особенно потому, что автор — выдающийся человек, стоявший близко к советским верхам.

В главной части книги "Критика социализма и опасность монополий" автор разбирает вопрос о свободе человека. Чем дальше человечество уходило от состояния пещерного человека и чем больше приближалось к уровню современной индустриальной цивилизации, тем больше человеку становилось необходимым иметь всё больше свободы для развития творческих способностей. Автор говорит: "Развитие творческих возможностей человека не только требует расширения свободы, но и позволяет ему ее расширить, не поступаясь правилами общежития. Суть состоит именно в том, чтобы ограничиваться правилами общежития, не предписывая людям, как им жить и действовать, даже если вы думаете, что это в их интересах". "Свобода не есть только личное благо и удовольствие человека, а есть абсолютная необходимость для всего рода человеческого". "Ограничение нашей свободы, создаваемое в наше время слишком сильным государством, проф-

союзами, банковскими и промышленными монополиями, ведет к выключению миллионов людей из полезных процессов, к деградации материальной и духовной культуры". "Таким образом совершенное общество социализма ведет, в конечном итоге, к атрофии разума и к возвращению в мир шимпанзе". Объединяя вместе сильное государство, профсоюзы и монополии (корпорации и банки), автор как будто объединяет и английский социализм с советским. Но процессы эти — в Англии и в СССР — совсем иные. Едва ли в Англии он может привести в мир шимпанзе, в Советском же Союзе процесс этот идет ускоренно и необратимо именно к миру полной умственной деградации и демографическому вырождению.

В плане экономическом трудно согласиться с автором, что три "монополии" в свободных западных странах: государство, профсоюзы и корпорации, включая банки, приводят к ограничению деятельности людей и тормозят прогресс. Профсоюзы — одна из основ демократического общества. Они приносят вред, когда их захватывает политическая партия. Но законы в демократическом обществе непрерывно меняются и ограничение власти профсоюзов может наступить, когда законодатели сочтут, что профсоюз опасен. Ограничить же или уничтожить профсоюзы — значит ограничить свободу тех же людей, которые хотят объединиться в профессиональные союзы. Конечно, деятельность профсоюзов должна быть ограничена законами. Совсем нельзя согласиться с автором, что корпорации, включая банки, подавляют свободу. В современном индустриальном обществе, особенно в тяжелой промышленности, корпорации необходимы по чисто техническим, технологическим причинам: производство на высоком техническом уровне должно быть достаточно крупным: разделение функций, конвейерное производство и автоматизация — составные элементы современного производства. Такова автомобильная промышленность, сталелитейная, нефтяная, если упомянуть только три. Корпорации в Америке: Форд, Дженерал Моторс и Крайслер, корпорации-гиганты успешно конкурируют между собой. Если бы три автомобильных гиганта пожелали объединиться в одну сверхгигантскую корпорацию, закон о корпорациях в США такому объединению воспрепятствовал бы. В производстве стали: Юнайтед Стэйтс Стил имеет сильного конкурента в лице компании Бетлегем Корпорэйшн. Также и в нефтяной промышленности: гигантские корпорации конкурируют между собой и в то же время есть мелкие владельцы, у которых по две, три нефтяных

скважины.

Корпорации не всегда принадлежат так называемым капиталистам. Компания Форда — давно не собственность семьи изобретателя современного автомобиля; она была передана во владение Фордовского фонда, управляемого советом директоров, т. е. стала общественным безличным предприятием. Значительная доля нефтяных компаний не принадлежит их основателям, а является собственностью пенсионных фондов, обслуживающих граждан всей Америки, не имеющих отношения к самим нефтяным компаниям. Кроме того, все американские корпорации — акционерные общества, и акциями их владеет вся Америка. В этом заключается значительный элемент свободы, предоставляемый гражданам фактом существования больших акционерных корпораций, в которые граждане могут вкладывать свои сбережения и богатеть вместе с ростом корпораций. Те же корпорации дают право акционерам, даже самым мелким, голосовать при выборе совета директоров и иногда по вопросам управления корпорацией. Таким образом номинально акционер участвует в управлении делами, что также составляет элемент свободы.

Автор считает и банки составной частью "монополизма" и концентрации власти над людьми. Но много тысяч банков (преимущественно мелких, в Америке) с практической точки зрения способствуют свободе людей и свободе их хозяйственной деятельности. Через займы, даваемые банками, люди начинают новые предприятия, не говоря уже о покупке домов. Иногда человек для открытия нового дела может получить до 80 и даже 90% капитала, если у него своих только 20 или 10%, и если банк ему доверяет. Таким образом, в банковской деятельности есть элемент свободы людей в западных индустриальных демократиях, особенно в Америке.

Автор говорит о социализме во всех его неприглядных и опасных для будущего проявлениях в Англии и параллельно в Советской России в ее трагическом настоящем. Критика социализма убийственна и справедлива — примеры из жизни Англии убедительны. Советский социализм всем нам хорошо известен, но критика его автором добавляет новые доказательства и объяснения его устрашающей сути.

В плане политическом А. Федосеев во второй части книги предлагает свой "Проект конституции новой России", написанный столь же интересно и продуманно, как и главная часть книги о критике социализма (265 стр.). Каждому читателю будет интересно прочесть консти-

туцию Федосеева. Ее можно принять с известными изменениями и как основу политической деятельности эмиграции, направленной на помощь людям в СССР в их борьбе за новую свободную и демократическую Россию. Конституция состоит из 18 глав. Первая — Права и обязанности граждан; пятая — Государственное устройство; восьмая — Избирательная система — составляют основу конституции, остальные 15 глав устанавливают скорее правила, по которым живут люди и функционирует государство. Они не менее интересны, чем главы первая, пятая и восьмая.

В первой главе устанавливаются основные демократические свободы, но с некоторыми ограничениями: вводится цензура (не политическая), удостоверения личности и обязательность участия в выборах. В пятой главе признается Федеративное устройство государства — принцип, который разделяется русской политической мыслью, начиная со времени окончания второй мировой войны и также лежит в основе новой германской конституции, конституций Америки и Швейцарии.

Глава восьмая устанавливает избирательную систему — вполне демократическую, за исключением требования об обязательности голосования и об ограничении форм избирательной кампании. Можно согласиться, что эти ограничения рациональны, но едва ли стоит ограничивать демократические свободы, большого выигрыша от такого ограничения нет. И здесь политические партии не упоминаются. Но без них едва ли может функционировать демократия: такого исторического опыта нет.

Из оставшихся 15 глав "Проекта конституции новой России" обращает на себя особое внимание вторая — о земле. Автор устанавливает новый принцип в социальной философии: "Земля не есть продукт человеческих рук, как и воздух. Поэтому она не может быть собственностью тех или иных конкретных людей" (из частного письма). Автор не признает частной собственности на землю. Автор пишет: "...гражданин имеет право на получение в бесплатную пожизненную и наследственную аренду" — участок земли. Никто не имеет права ни продать, ни купить землю, что вытекает из всего текста главы. Всякая воображаемая, нигде и никогда не существовавшая политическая или экономическая система, система умозрительная, название ей — утопия. Установление в жизни утопии требует насилия, т. к. утопия как раз и составляет такую систему, когда правительство (меньшинство) желает облагодетельствовать подчиненных (большинство), против чего так

горячо и справедливо выступает на всех страницах своей книги автор. Личная, частная собственность — это то, что хочет человек в силу его характера и свойств его от рождения. Собственность, и при том неограниченная на землю, — это первое, чего желает человек, — основа всех его других желаний на владение недвижимой собственностью. Пресечь его в этом стремлении законом — значит отнять у него или не дать ему самого главного, не дать земли. Аренда, даже "наследственная", по своей сути совершенно иное, чем собственность. Лишить человека земли — значит сохранить самый главный элемент социализма в России, против которого так сокрушительно и справедливо выступает автор. Земельные ограничения под видом "справедливости" — самое слабое место в "проекте", предложенном автором. России нужно новое устройство, основанное на реальностях, и первая из них — неограниченная частная собственность на землю и капитал.

Третья часть книги, "Проект перехода от социализма к новой России", с нашей точки зрения, заслуживает всяческих похвал. Автор подробно разбирает возможные способы начала переворота и дает им практическую оценку. Наиболее вероятный, — пишет он, — переворот сверху, когда новые, более образованные и, возможно, более умные члены советского так называемого "Политбюро" поймут, что СССР зашел в полный тупик. Но решиться на переворот эти люди могут только, имея какую-то политическую программу на будущее, — "альтернативу". Поэтому идейная программа Федосеева и практическое её выполнение в виде конституции ценны. К ценным высказываниям Федосеева относится и его строка: "Автор очень не хочет резни и хаоса в проектируемом ходе переворота".

Федосеев пишет о правителях СССР: "Все они, каждый по-своему, как и члены Политбюро, ищут выхода из положения и остро ощущают непрерывные провалы всё новых и новых экономических мероприятий". И дальше: "В таких условиях неизбежно появление в любых частях общества, и особенно на его верхних уровнях, групп единомышленников, ощущающих в себе больше способностей к правильным действиям, чем у Брежнева".

Полагаем, что книга А. П. Федосеева дойдет до членов "Политбюро" и, несомненно, будет в руках КГБ. И это уже хорошо. Умственная подготовка людей в СССР к неизбежности переворота и наступлению реальных реформ должна идти.

Б. Бровцын

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА

РОМАН ГУЛЬ

” Я У Н Е С Р О С С И Ю ”

АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

ТОМ I. ”РОССИЯ В ГЕРМАНИИ”

**Полный текст по сравнению с печатавшимся
в ”Новом Журнале”.**

В книге 365 стр., много фотографий. Цена — 10 долл.

Заказы направлять в ”Новый Журнал”:

**THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025**

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ
и
Е. Л. МАГЕРОВСКОГО

■
В 1981 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■
Подписная цена на 1981 год 24 доллара
(за 4 книги)

Цена одной книги — 7 долларов
Во Франции — 25 франков

■
ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и сре-
дам, от 10-ти до 12-ти час дня
